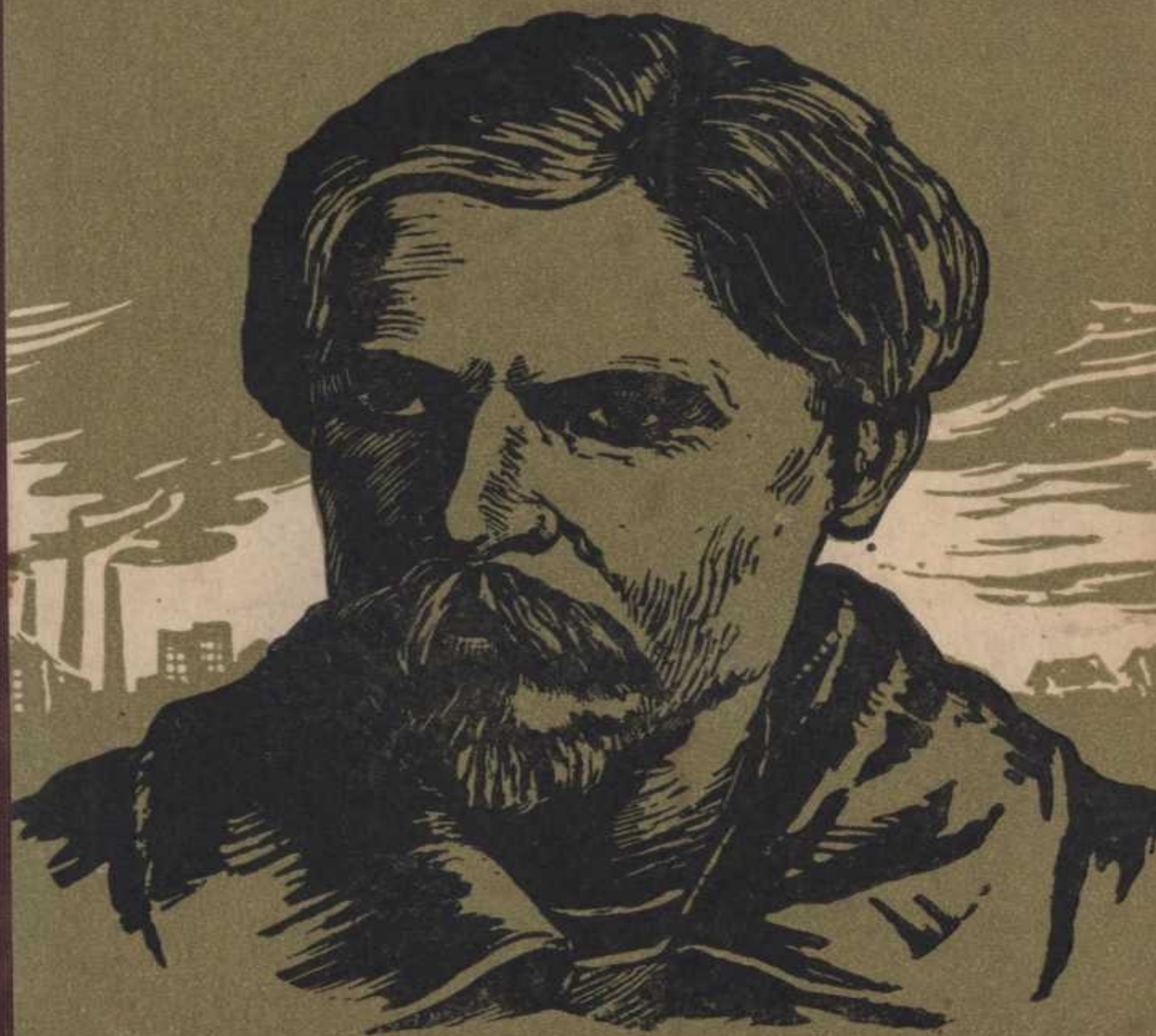


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



*В. Прокофьев*

**СТЕПАН ХАЛТУРИН**

## Annotation

В книге рассказывается о жизненном пути рабочего-революционера, организатора и руководителя «Северного союза русских рабочих» Степана Халтурина, осуществившего террористический акт в Зимнем дворце. Его деятельность неразрывно связана с первыми шагами пролетарской борьбы в России. Автор показывает, как развивались мировоззрение Степана Халтурина, его взаимоотношения с революционно-демократической интеллигенцией, раскрывает его роль в зарождении рабочего движения в России.

---

- [Прокофьев Вадим Александрович](#)
    - 
    - 
    - [ГЛАВА I](#)
    - [ГЛАВА II](#)
    - [ГЛАВА III](#)
    - [ГЛАВА IV](#)
    - [ГЛАВА V](#)
    - [ГЛАВА VI](#)
    - [ГЛАВА VII](#)
    - [ГЛАВА VIII](#)
    - [ГЛАВА IX](#)
    - [ГЛАВА X ПОСЛЕДНЕЕ СВЕРШЕНИЕ](#)
    - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. Н. ХАЛТУРИНА](#)
    - [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
-

# Прокофьев Вадим Александрович СТЕПАН ХАЛТУРИН



Вечером 24 марта 1882 года помощник одесского военного прокурора молодой правовец Прохоров в отвратительном настроении трясся на извозчике по булыжным мостовым, направляясь в тюремный замок. Комендант тюрьмы предупредил его, что имеются новые сведения об убийстве прокурора Стрельникова. Вот уже целую неделю Одесса обсуждала подробности убийства ненавистного палача. Два дня назад убийц повесили, а волнения не прекращались.

Прохоров достал из кармана листок бумаги, на котором четким писарским почерком были написаны стихи. «Вот извольте, уже и стихи появились». Он прочел:

Судьба изменчива, как карта,  
В игре ошибся генерал,  
И восемнадцатого марта  
Весь Юг России ликовал.  
В толпе я слышал голоса:  
«Убили бешеного пса!»

В тюремной канцелярии Прохорова поджидал комендант.

— Прошу прощения, господин прокурор, я потревожил вас по заявлению заключенного Биткина. Он кузнец, работал в Сормове, переехав в Одессу, связался с неблагонадежными, взят по распоряжению покойного генерала. По его словам, он имеет сделать важное признание.

— Введите его.

В комнату ввели рабочего лет двадцати пяти в арестантской одежде.

— Что вы имеете сообщить следственным властям?

— Только то, господин прокурор, что один из казненных вами двадцать второго марта убийц прокурора Стрельникова был не кто иной, как Степан Николаевич Халтурин, не только взорвавший Зимний дворец, но создавший рабочий союз, руководивший стачками в Петербурге, тот, кого вы так долго искали.

Помощник прокурора позеленел, вскочил и, казалось, готов был броситься с кулаками на узника.

— Почему вы не признали его, когда вам его показывали? — завизжал он. — Как вы смели тогда промолчать?

Заключенный задорно сверкнул глазами и спокойно ответил:

— Очень рад, господин прокурор, что мое открытие так взбесило вас. Если бы вы знали, что пойманный вами — Халтурин, то, прежде чем повесить его, замучили бы. Теперь я спокоен — как мог, так и отомстил вам за смерть Халтурина.

— Вас должны были скоро выпустить, — прошипел помощник прокурора, перелистывая дело арестанта, — не так ли?

— Да, кажется, так.

— Ну, а теперь в Сибирь пойдете.

— За Халтурина?! Хоть на виселицу!

## ГЛАВА I

# ДВУЛИКАЯ ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ

Из Вятки в Америку можно проехать разными путями, но «в России все дороги ведут в Москву». Город приближался все быстрее и быстрее, заслоня собой и прошлое и Америку. Где-то в глубине сознания теплился образ Вятки, знакомые лица, дорожные впечатления. Но все это меркло перед ликом Москвы, она уже целиком поглотила внимание, приковала к себе все мысли Степана Халтурина и его друзей. Осеннее утро 1875 года озаряло взволнованные лица восемнадцатилетних путешественников.

Халтурин представлял себе Москву, так сказать, исторически, покрытую легендарной дымкой прошлого России. Внешний ее облик сложился у него под влиянием проникновенных рассказов чудаковатого, но такого милого в своей влюбленности в «белокаменну» учителя Песковского. «Человек 40-х годов», Песковский доживал свой век в Вятке, согреваясь огнем энтузиазма юных мечтателей из Вятской школы сельскохозяйственных и технических знаний. Песковский вырос в Москве, детство его протекало где-то за Садовым кольцом, а юность пронеслась между домом на Каланчевском поле и университетом на Моховой.

Бывало, в Вятке, под вечер, когда на улице угасал последний отблеск синеватого морозного дня, между собравшимися потолковать о политике учениками вспыхивали задушевные беседы, неизменным участником которых всегда бывал Песковский. Погружаясь в воспоминания своей богатой событиями жизни, он любой рассказ обычно начинал с облика Москвы... Вот и сейчас, когда за окном вагона замелькали предместья столицы, Халтуруину слышался голос учителя: «Да, на Каланчевском поле жутковато бывало брести зимними вечерами с затянувшихся собраний студенческих. Своего рыдвана у меня не было, а московского «ваньку» к нам в Ольховцы никаким калачом не заманишь. Пошаливали. Да в кустарниках, росших вокруг складов, и волки голодные сиживали. Ну, а летом в болотах, поближе к Красным прудам, лягушек тьма бывала, так и квакают, так и квакают... А ведь это тоже Москвой считалось! Домов здесь было немного, и жили в них все больше дворяне. По-домостроевски жили. Обширные дворы, поросшие травой, сады и огороды при усадьбах, много лошадей в конюшнях, коровы, домашняя птица и многолюдные дворни

сильно напоминали деревню. А улицы, улицы! Длинные, порой они суживались до проулков, потом растекались грязью и ближе к Сокольническому ополью исчезали в порослях куги и алуя».

Так, слово за словом, словно кистью по холсту, рисовал старый учитель свою родную Москву. Рассказывал он и о студенческих сходках, о Герцене, но сейчас, въезжая в первопрестольную, Халтурин вспомнил тот облик Москвы, который сложился у него из рассказов Песковского. Казалось, что Москва — большая-большая деревня. И хотя Степан знал, что это не так, он все же жадно искал те черты, которые когда-то подсказала ему фантазия крестьянского сына. Тогда все было просто, Москва — это большое село, больше родных Верхних Журавлей, даже больше Вятки, и избы в этом селе — хоромы, а крестьяне в нем — дворяне.

И вот Каланчевское поле. Да, грязи много на булыжной мостовой, но вместо кустарника, где сиживали волки, — поросли складов, среди которых высятся громады трех вокзалов... Если и сохранились лягушки в болотной топи, оставшейся от Красных прудов, то их голоса тонут в громахании поездов, катящих поперек площади с Николаевского вокзала на Курский. Приволье сельской тишины исчезло в гомоне сотен людей, зазывных выкриках извозчиков, тарахтении телег. Дорога на Сокольники напоминала узкий коридор, обставленный сундуками домов.

Московскую «околицу» осваивал новый хозяин — капитал. Он скупал и строил, разрушал старозаветные гнезда дворянских особняков и возводил фабричные корпуса. Вчерашних богачей-помещиков он превращал в нищих и одевал в визитку и фрак бывшего крепостного. Он душил сотни тысяч рабов, приставленных к машинам, загнанных под землю, лишенных облика человеческих существ.

\*

Халтурин был оглушен Москвой. И только вечером, найдя приют в небольшом деревянном домике рабочей окраины, он пытался разобраться в увиденном и услышанном. Когда все улеглось, Степан прислушался: Наташа уснула, Амосов ворочался с боку на бок, кряхтел. «Не спит», — решил Степан и тихо окликнул приятеля:

- Николай!
- Чего тебе?
- Не спишь?

— Разве уснешь?

— Мне, брат, не верится, что мы уже в Москве, давно ль я губернатора Тройницкого о паспортах просил, ан они в кармане.

— А жаль все же, что нам вместо Америки проезд в Германию дали. В Америке есть где развернуться, коммуноу сколотить.

— Ничего, дай срок, паспорта у нас на полгода, еще и в Америке побываем, лишь бы денег хватило.

— У меня Наташины еще в целости, не касался до них, на твои пока разъезжаем.

Халтурин, его друг по училищу Николай Амосов, Наташа, жена Амосова, Смольянинов и Селантин, бывшие вместе со Степаном в одном студенческом кружке, покинув Вятку, училище, движимые одной целью — создать коммунистическую артель, ехали за границу, уверенные в успехе своего предприятия.

Чтобы вырвать Наташу из-под опеки дяди, Амосов фиктивно женился на ней. Наташа обрела свободу, а будущие коммунары пополнили общую кассу ее наследством.

— Меня мысль одна донимает. Как в Германии да в Америке с людьми разговаривать будем, языков-то не знаем?

— Да, нас им не учили.

— Нас, брат, ничему, кроме ремесла, не учили, что знаем, все сами в книгах вычитали. А чудно! Отец мой, Николай Никифорович, в извозе работал, шерсть и холст перепродавал, мельницу имел, сорок тыщ наследства оставил. Бога боялся, даже в Иерусалим пешком ходил, а я, его младший, в Германию да Америку еду, коммуноу основать.

— А как мать-то отпустила?

— Убивалась, да старшие братья отговаривали, сестры же причитали. Хорошо, брат Павка поддержал. «Пусть, — говорит, — едет, он всегда непоседой был, в отца, может, и правда коммуноу создаст, тогда и мы к нему махнем».

— Павел ведь тоже в кружке состоял. Понимает, что к чему.

— Да, мужик он крепкий, побольше нашего читает. Они с Башкировым Николаем и меня к книгам приохотили, когда я еще в Орловском поселянском училище азбуку осваивал.

Халтурин встал, зажег лампу и вытащил книгу.

— Степан, ты никак уже и в Москве успел купить книгу?

Степан загадочно улыбнулся и показал Амосову обложку книги.

— Постой, постой, да никак это та книга, что сегодня в трактире студенты читали?

— Она самая.

— Где ж ты успел купить ее, ведь это, наверное, нелегальщина?

— Нет, почему же, смотри: «Разрешено цензурой». Только я ее не покупал. Помнишь, в трактир пристав ввалился? Студенты сразу за стойку сбежали, а книжку на столе оставили. Я тоже подумал, что нелегальщина, ну и спрятал, а оказалось — «Статистический атлас», Московская городская управа издает. Но, наверное, в нем что-то есть, уж больно студенты внимательно его читали и все время спорили.

— Вот оно что! А интересные вещи они рассказывали, только о таком в трактирах у нас в Вятке не говорят.

— У нас в Вятке мы перед домом губернатора «Дубинушку» да «Долго нас помещики душили» распевали, и ничего. «Сам» на балкон выходил и слушал. А в Москве, мне Песковский рассказывал, в трактирах не только закусывают и пьянствуют, но заходят сюда и с друзьями поговорить, купец тут и сделки заключает. В трактирах всякое услышишь, особенно в Москве. На то она, брат, и Москва.

Халтурин был прав. Трактиры играли особую роль в жизни москвичей. Они были не только харчевнями, где можно найти еду по любому достатку, но и выполняли роль своеобразных клубов, особенно для тех, кто не имел доступа в Английский, Купеческий, Коммерческий и другие привилегированные собрания. Трактиры заменяли биржу, здесь кутили и босяки и миллионеры.

Московские трактиры различались не только по преysкуранту цен, но прежде всего их облик характеризовала публика. Были трактиры извозчичьи, где уставший, голодный извозчик и питался и грелся зимой; были трактиры писательские, вроде того, который приютился на Никольской; театральные, где артисты искали себе ангажемент на предстоящий сезон; много было трактиров студенческих, не говоря уже о знаменитом Тестове, Яре, трактирах Бубнова и Дубровина, куда съезжались богатые помещики и московские воротилы.

В один из таких трактиров и забрели в первый день своего пребывания в Москве путешественники из Вятки. Свободный столик оказался в углу у самой стойки. За соседним столом сидели двое студентов. Перед ними лежала небольшая брошюрка, оба собеседника изредка заглядывали в нее и горячо спорили, размахивая руками и невольно обращая на себя внимание присутствующих. В трактирном гомоне трудно было разобрать отдельные слова, но по обрывкам фраз Халтурин понял, что студенты спорили о положении фабричных рабочих. Тема была знакомая, не раз Степану приходилось слушать от своих друзей, политических ссыльных в Вятке,



разговоры о месте рабочего в революционной борьбе народа. Рабочий вопрос давно уже интересовал Степана, он многое успел прочесть и прежде всего книгу Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России». Теперь же, в Москве, представлялась редкая возможность самому понаблюдать, запастись новыми впечатлениями, которые пригодятся и за границей.

Поездка за границу была задумана Халтуриным не случайно. Во-первых, ему хотелось познакомиться с революционным движением Западной Европы, а если удастся, то побрататься и в Америку, где, как он слышал, русские политэмигранты собираются организовывать коммуну. Во-вторых, Халтурин спешил с отъездом из Вятки, так как атмосфера там сгущалась. В мае 1875 года полиция произвела обыск у Николая Башкирова, близкого друга Степана, в июне начался разгром кружков, организованных политическими ссыльными. Халтурин уцелел только чудом, многие его товарищи по училищу были арестованы. Теперь это уже все позади, впереди Германия, а потом и Америка.

Прислушиваясь к спору студентов и забыв о еде, Халтурин с удивлением отмечал, что его очень волнует положение именно русского народа, его будущее, хотя, казалось, с Россией ему остается только распрощаться.

Вдруг в трактире внезапно воцарилась тишина и отчетливо прозвучал голос одного из студентов:

— ...Эти цифры говорят убедительнее, нежели все ваши кумиры из женеvского заповедника.

Но собеседник уже не слушал, схватив товарища за руку, он потянул его за стойку. Через минуту студентов в трактире не было.

Степан оглянулся, у входа стоял полицейский пристав, рядом с ним двое штатских в котелках. Они внимательно оглядывали сидящих за столами. Вот сейчас их взгляд упадет на пустой столик рядом с тем, где сидит Халтурин, а на столе одиноко лежит книга, забытая впопыхах студентами. Степан быстро протянул руку, схватил книгу и спрятал под полу.

Теперь, вечером, он мог целиком отдаться чтению. Амосов пристроился рядом.

Читали молча, глотая страницы, пропуская рассуждения. И перед Халтуриным все яснее, все ярче вставал облик Москвы рабочей, вскрывались «язвы пролетарства».

Оказывается, в дворянско-купеческой Москве из 500 тысяч жителей только в крупной промышленности было занято 70 тысяч человек. Это

столько же, сколько проживало в ней крупных «хозяев» и мелких «хозяйчиков»-собственников, вместе взятых. А сколько же их было на других предприятиях? Рабочих, относящихся к легкой промышленности, служивших при московских торговых заведениях? Число их было огромно: 5 500 в пищевой промышленности, 3 тысячи рабочих силикатных заводов, 2 500 кожевников, 8 600 легковых и ломовых извозчиков, работающих «от хозяина», 428 машинистов, 260 кочегаров, 907 сторожей и т. д.

А ведь работала по найму и эксплуатировалась не менее жестоко, нежели рабочие, всевозможная прислуга. В Москве ее было 91 тысяча, причем 85 500 — это домашняя прислуга, самая бесправная, забитая, и среди нее 58 500 женщин.

Эти цифры поразили Халтурина и Амосова. Им, выросшим в деревне и вступившим в самостоятельную жизнь в губернском городе, Вятка казалась огромной. Но в Вятке жило около 25 тысяч человек. Значит, в Москве было вдвое больше только женской прислуги, чем всех жителей в Вятке. Цифры вызывали удивление. Но где же жили эти 70 тысяч рабочих крупных предприятий, как они работали, сколько получали? Атлас только отчасти мог удовлетворить острый интерес Степана. Жили рабочие в условиях, в которых всегда живут они в периоды «первого расцвета» промышленного капитализма, когда буржуазия празднует свою «весну». Весной в России мокро и холодно; грязь и слякоть русской промышленной весны доставались, конечно, прежде всего на долю пролетария. Только наиболее ценные для хозяина, наиболее квалифицированные рабочие имели возможность снимать отдельные полуподвальные каморки.

В Москве в 70-х годах подвальные квартиры составляли 10 процентов всех жилых помещений, и ютилось в них 59 тысяч человек. Чем хуже было подвальное помещение, тем гуще оно было заселено. На глубине трех аршин от поверхности земли в одной комнате в среднем проживало четыре жильца, а глубже в землю, в кротиных норах на одну комнату их приходилось уже пять.

Как-то еще в Вятке Песковский рассказывал Степану: «Мне в голову пришла мысль пройтись по московским подвальным катакомбам. Представь себе, побывав в 196 таких, с позволения сказать, квартирах, я пришел к выводам, что средний объем квартир немного более 13 кубических сажений, а живет в такой квартире более 10 человек. И кто же они? Чернорабочие, поденщики, мелкие ремесленники, прислуга, среди них 1/6 часть составляют дети. Ужасно!»

Халтурин невольно оглянулся. Комната, которую они заняли после утомительных блужданий по Москве, очень напоминала те, о которых

говорил учитель. Она была при портновской мастерской. «Хозяйчик» с подмастерьями ушли гулять на свадьбу, иначе спать им было бы негде. Тонкая перегородка разделяла комнату. В передней ее части с большой русской печью находилось рабочее помещение, там, наверное, и жили подмастерья, а в другой половине, где поместились Халтурин и Амосов с женой, жил хозяин с семьей.

Душно было в этой комнате, и хотя на дворе уже стояла осень, вторых рам не было, их, вероятно, не вставляли до самых лютых морозов. Халтурин прошел в рабочее помещение, там стояли портновские верстаки, а на них лежали постели: невероятно грязные, сбитые от времени матрацы, вместо подушек лохмотья изношенного верхнего платья.

Амосов позвал Степана, он дочитал страницу и ждал, когда Халтурин вновь сядет за книгу. И снова цифры оживали картинами рабочей Москвы.

На московских ткацких фабриках ткачи почти всегда спали в мастерских, на своих ткацких станках. На таком станке, два с половиной аршина в длину и два в ширину, спала целая семья. А Степан знал о таких хозяевах, которые бессовестно уверяли, что рабочие любят так жить и что в отдельную спальню рабочего и не заманишь. А сколько блох было среди пыли ткацких цехов! Даже терпеливый русский человек не выдерживал и летом убежал спать во двор.

Амосов уснул. Степан потушил лампу и тоже лег в своем углу. Но разве заснешь...

«А как живут рабочие Америки?» Теперь уже Халтурин не мог отрешиться от мысли о жизни тех, кто все создавал, ничего сам не имея. Коммуна — мечта, которая привела сегодня его в Москву, завтра умчит в Германию, а потом причалит к берегам Нового Света. Но в мечту врывается действительность, она давила своей неприглядностью, вызывала бурю негодования, острое желание бороться. Но как? Вместе с кем?

И снова, ворочаясь без сна на своем жестком ложе, Халтурин вспоминал все, что он читал, слышал от друзей и товарищей о тех, кто борется здесь, в России, борется с царем и царизмом.

И впервые в голову закралась мысль: «А может быть, и не нужно ехать за границу, не бегство ли это? Ведь я русский, и русскому человеку хочу счастье добыть».

Наутро, оставив товарищей спящими, Халтурин выбрался из дома с твердым намерением увидеть своими глазами все, о чем он прочел вчера. Вдумчивый и пытливый характер не давал Степану засиживаться на одном месте и бесплодно мечтать. В России вновь назревало что-то. Но что? Привычным для Халтурина было слышать «крамольные», революционные речи от интеллигентов-разночинцев. Их рассуждения о роли крестьянства в грядущей революции также не вызвали, казалось, возражений. Но Халтурин еще в Вятке, в училище, готовился стать рабочим-столяром. И все, что касалось рабочих, интересовало и волновало его, заставляло искать место рабочего в революционной борьбе. И эти думы находили отклик и среди его друзей. Задумывались над рабочим вопросом и такие мыслители, как Берви-Флеровский, а за границей уже прямо заявляли, что человек будущего — пролетарий. Это было необычно, требовало проверки. Халтурин знал, что человек осознает свое материальное и социальное положение только в сравнениях. Об этом писал еще Лавров, «Исторические письма» которого с таким увлечением читались в кружке, в Вятке. И не было в России другого такого города, как Москва, где бы эти сравнения, эти контрасты так отчетливо бросались бы в глаза в 70-х годах XIX века.

Москва — дворянский заповедник — одно, там свои нравы, обычаи; Москва купеческая — другое, здесь уже и быт и нравы другие, и, наконец, Москва рабочих людей, крестьян-поденщиков — совершенно не похожая на два первых облика первопрестольной столицы. Там Английский клуб, Пашковские и Румянцевские особняки, лукулловы пиры у Тестова, а здесь хижины и фабричные бараки, кабаки и продуктовые лавки; там барчуки с боннами и болонками на Тверском бульваре, а здесь грязь и пыль Преображенского поля с маленькими оборвышами, выискивающими в помойках куски съедобного.

«Именно об этом писал Берви-Флеровский, об этом говорят и цифры Атласа», — подумал Степан, подводя итог увиденного за эти сутки.

Целый день Халтурин бродил по Москве. Не зная города, шел наудачу, впитывал в себя новые впечатления.

Попадая впервые в белокаменную, люди всегда почему-то ищут сравнений, видимо сразу стремясь понять «истину» этого города. Еще в XVI веке иностранцы дивились величине русской столицы и сравнивали ее с Венецией, а уже в XVII веке Москва выдерживала сравнения даже с Лондоном. Но для русского человека, приехавшего в этот город из ссыльной глуши, она была несравненной, оглушающей, поражающей не только своей величиной, богатством, но и контрастами. Они были виднее всего, и их не замечали только те, кто не хотел ничего видеть вокруг. Это

чередование темных и светлых мазков на лице первопрестольной не укладывалось в границы городских районов, выпирало острыми углами и на дворянской Большой Дмитровке, арбатских и Никитских переулках, и рядом с Хитровкой, и на далекой Калужской заставе. Чем ближе к центру, театрам, клубам, присутственным местам, учреждениям, тем шире светлые полосы, а дальше, к окраинам, все утопает в зловонной тьме. Это внешний вид города. А его социальное нутро в 70-е годы XIX века было еще более разительно.

Двуглавые орлы Кремля и после падения крепостничества были, казалось, недосыгаемыми вершинами монархической власти и господства дворянско-помещичьей диктатуры, но под их сенью в старом городе шла уже переоценка ценностей. За древний дворянский герб нельзя было получить наличными и полушки, роскошные дворцы Долгоруких и Шаховских, Щербатовых и Урусовых покупались с молотка вчерашними крепостными и сегодняшними миллионерами Цыплаковыми, Шеллапутиными, Ляпиными, Хлудовыми, Солодовниковыми.

Именно в 60—70-е годы прошлого столетия Москва из дворянского заповедника превращалась в буржуазный город. Но не только менялись вывески домовладельцев и старинные геральдические львы уступали место изображению весов и телег с откровенными надписями: «Не обманешь — не продашь», «Тише едешь — дальше будешь». На московской окраине вырастали мрачные кирпичные здания, вместо уютных садиков за железной оградой высились штабеля балок, дрова, лежали кучи мусора. Длинные трубы выбрасывали тучи дыма, как опахалом застилавшие солнечный свет в оконцах жалких лачуг и бараков, лепившихся вокруг.

\*

Халтурин забрел на фабрику Цинделя. Был обеденный перерыв. Примостившись на штабелях дров или забравшись в укромный уголок, за кучей ржавого хлама, на свежем воздухе заводского двора усталые люди с жадностью поедали ту скудную пищу, которую поднесли им жены, матери или дети. Не было слышно оживленных разговоров: не до них было валившимся с ног труженикам. Многие от усталости тут же засыпали, не замечая осеннего холода и неудобства поз. Халтурин подсел к пожилому рабочему, который уже кончил есть и скручивал козью ножку. Что-то было в Степане, что привлекало к нему симпатии людей, вызывало на

откровенность. Вскоре Халтурин уже слушал горькую повесть рабочего, отец которого еще до отмены крепостного права также работал по найму на этой же фабрике.

— Заводик у нас порядочный, триста шестьдесят человек на нем работает, два паровых котла имеется. Но если ты, парень, к нам на работу наниматься пришел, то мой тебе совет — уходи обратно. Мне уйти некуда, а то сбежал бы без оглядки... Одно слово, собачья жизнь, — продолжал рабочий, — а иной раз и собаке дворовой позавидуешь. Вон, видишь, люди спят? Им сон больше еды нужен, ведь работа на нашей каторге начинается в пять утра. Сейчас двенадцать часов, кончим мы в семь вечера. Вот и посчитай! Бывало, идешь домой и на ходу засыпаешь, а как с фонарным столбом или тумбой какой поцелуешься— проснешься. Со мной вот какой случай был. У нас в цехе стоят две машины с зубчатками, а проход между ними три четверти аршина. И в день раз десять по этому «проходу» пробежишь. Вот я раз оскользнулся на стружке и попал рукой в машину.

Ну, палец и отвис. Меня в больницу свезли, на стол положили, операцию делают, а я как лег, так и заснул, а когда проснулся, пальца уже и не было... А там вон барак, видишь, в нем столовая для нашего брата, а зайти в нее и голодному часто не вмоготу, уж очень грязно. Ты, парень, зайди в нее, интересно! Небось не видел, как за одним столом в два ряда обедают? А у нас это в обычай — у самого стола, сидя, едят взрослые, а сзади них, стоя, дети. Я домом живу, у меня жена да трое ребятишек, один уж тут на фабрике работает. А дома что — вяленая вобла да солонина или «гусак», едал такое? Нет? Ну ничего, еще поешь эти бычьи внутренности, коли рабочим стать собираешься...

Халтурин поинтересовался, сколько же за такой каторжный труд рабочие получают.

— И не говори, милай, у нас мастера и те не более тридцати пяти — сорока рублей зарабатывают, а мы восемь-десять. Вон мой сынишка домой зелененькую принесет, и то радость.

— Как, три рубля! — воскликнул Халтурин.

— А ты думал — тридцать? Да и эти деньги задерживают, а ведь жрать каждый день нужно. Поэтому в долг в фабричной продуктовой лавке берем. А уж там дерут с нас три шкуры. Ты на Сухаревке не был? Если будешь, приценись, почем там ржаная мука. Копеек семьдесят-восемьдесят пуд. Ну, а у нас рубль двадцать копеек. И соль у нас по восемьдесят копеек за пуд, а вон рядом, в колониальной лавке, сорок пять копеек, да там на наличные продают, а где их взять? Что и говорить, словами разве нашу жизнь обскажешь. Чтобы ее понять, горюшка много нужно хлебнуть в

рабочей шкуре.

Гудок возвестил об окончании обеденного перерыва. Просыпались уснувшие, ошалело стряхивая с себя дурман непосильной дремы. Двор опустел, из открытых дверей рабочей столовой клубами валил едкий пар.

Халтурин двинулся дальше.

В хождениях по Москве обретались знания, но исчезали иллюзии и меркла мечта об Америке. Степана все настойчивее преследовала мысль о том, что он не имеет права ехать туда.

Халтурин очень смутно представлял себе этот «обетованный» Новый Свет. Он слышал, что туда уехали энтузиасты коммунизма. Но они не вернулись назад. Из-за океана не доносилось вестей, вселявших надежды на успех предприятия. А между тем в Москве Халтурин узнал, что старший его товарищ по Вятскому училищу Зот Сычугов организовал коммуну в Саратове. Москва была наполнена неясными, но тревожными слухами о тех, кто "бросил города, университеты и ушел в деревню с тем, чтобы поднимать крестьян на бунты во главе крестьянской массы, уничтожать помещиков, делить их землю.

Они не бежали из родной России, они не мечтали, а действовали. «Действовать, а не ждать» — этот девиз уже давно руководил всеми поступками Халтурина. Ведь недаром ему удалось в Вятке так ловко получить паспорт у Тройницкого, убедив его, что едет за границу, чтобы познакомиться с постановкой хозяйства на германских фермах. Степан тогда действовал, и сомнения его не тревожили. А теперь?

Не было паспорта у руководителя будущей коммуны Селантина. Собственно, вся эта поездка через Москву была затеяна с целью достать для него паспорт. Еще по дороге из Вятки в Москву был составлен план действий: Селантин заявил, что из Москвы он отправится к своим родственникам, которые, по его словам, жили в Рязанской губернии и «кое-что могли сделать». При их помощи добывается паспорт, берутся займы деньги, а остальные члены коммуны дожидаются в Москве, готовясь к путешествию.

Но вот на исходе и второй день, проведенный в Москве, а Селантин не торопится. Уходит время, тают деньги, которых и так мало. Селантин поселился в Москве отдельно от товарищей. Решили пойти к нему в каморку, тем более, что ночевать в мастерской больше было уже нельзя. Степан, обуреваемый нетерпением, желанием действовать, действовать как можно скорее, прямо поставил перед Селантиным вопрос: «Почему он медлит, почему не едет в Рязань?»

Ответ был неожиданным. Селантин сказал, что, все трезво обдумав, он

решил, что в Рязанскую губернию ему самому ехать не стоит, так как его хорошо знают в лицо полицейские власти и могут схватить. Это звучало убедительно.

Селантин предложил написать письмо с тем, чтобы Степан, поехав вместо него, передал его родным, и они сделают все, что нужно. На том и порешили. Пока он писал, Халтурин быстро собрался. Наташа вспорола подкладку его тужурки и стала зашивать в нее мешочек с деньгами — около тысячи рублей, оставшихся от тех полутора тысяч, которые Степан выручил в результате продажи своей доли отцовского наследства братьям.

Селантин, дописавший письмо и наблюдавший за этой операцией, вдруг предложил:

— Послушай, Степан, а не лучше ли тебе оставить деньги и паспорт у нас? В дороге, знаешь, всякое может случиться. Украдут — второй раз не добудешь.

— А как же я без паспорта поеду?

— А кто его у тебя спрашивать будет? А если и спросят, скажешь, что боялся потерять, оставил в Москве. Ведь паспорт-то у тебя есть? Ну, в случае чего, проверят — весь разговор. И меня выручишь, а то я сижу тут в своей «полусветской» дыре и носу на улицу не кажу, с твоим же паспортом попробую кое с кем повидаться и узнать о наших в Германии.

Амосов поддержал Селантина, и Степан, сочтя совет благоразумным, оставил паспорт и деньги и в ту же ночь уехал в Рязань.

Мог ли Халтурин не верить Селантину, когда тот рассказывал членам кружка, им же организованного, о своей близости к участникам «казанского заговора», о ссылке. Мог ли Степан предполагать, что Селантин не политический ссыльный, а осужденный за двоеженство, но сумевший выдать себя за «политика» в вятской глуши.

Быть может, Халтурин и должен был кое-что заметить, ведь не случайно же старший брат Павел неодобрительно отзывался о нем. Но тогда, в Вятке, дело было не в Селантине, а в кружке, в тех увлекательных чтениях и беседах, горячих спорах и волнующих мечтаниях...

Теперь Степан расплачивался за это, и расплачивался дорогой ценой. Никаких родственников в Рязанской губернии, в местечке, указанном Селантиным, не оказалось. Да и были ли вообще на свете эти мифические родственники? Не найдя их, Халтурин поспешил обратно, в Москву. Нужно было искать другие пути для получения паспорта.

И вот снова Москва. Но где же Селантин? В его каморке со светом в пол-окна живет какой-то незнакомый мужчина. Нет ни Амосова с Наташей, ни Смольянинова. В портняжную они больше не заходили, а хозяин



«полусветской» комнаты ничего не знает, но повторяет, что «ему заплатили».

Где искать друзей, паспорт, деньги? Москва велика, знакомых в ней нет. Тревожные мысли сменяют одна другую в голове Степана. Он не верит, не хочет верить, что его обманули, вероломно бросили на произвол судьбы, без денег, без паспорта.

И никогда не узнает Степан, как удалось Селантину убедить Амосова, Наташу, Смольянинова в том, что Степана по дороге схватили и им нужно скорей уезжать за границу.

\*

День клонился к вечеру, когда Халтурин, оставив напрасные поиски, устало присел на скамейке бульвара. Широкоплечий, с маленькими тонкими усиками, с одухотворенным лицом интеллигента, в приличном пальто, он обращал на себя внимание празднующейся публики.

Но до нее ли было ему!..

«Что делать?» Этот вопрос сверлил мозг. Каждую минуту им мог заинтересоваться пристав, потребовать документы. Бежать? Но куда? Возвращаться в Вятку? Не хватит денег. И опять-таки паспорт...

Быстро темнело, на улице зажигались газовые рожки, куда-то исчезли няни с детьми. Надвигалась холодная осенняя ночь. Только в полночь Степан нашел приют в ночлежке, под нарами, кое-как пристроившись на боку между двумя мертвецки спавшими пьяницами. Духота, вонь, храп и мысли, мысли, не дающие уснуть. «Где Амосов? Попался? Но за что? Паспорт у него в порядке. Может быть, узнали Селантина? Но и это невероятно, а с моим паспортом он может быть спокоен, хоть я и моложе его лет на десять. Значит, уехали внезапно, не оставив о себе вестей... Но почему, почему?..»

На это ответа не было.

Застыв в неудобной позе с открытыми в темноте глазами, Халтурин снова вспоминал Вятку, кружок, поездку в Москву. Москва... Теперь она надвигалась на него в зловонном смраде ночлежки своим страшным, неумолимым ликом.

Фабрики-тюрьмы, каморки-гробы, гнилые объедки в мисках фабричной столовой, мелькание зубцов машин, оторванные пальцы, руки и тысячи глаз, усталых, с чахоточным блеском безнадежности...

Да, выход был один — идти работать. Ведь он столяр, краснодеревщик, его полировкой восхищались старые, опытные мастера. Но во имя чего работать? Ведь недаром Халтурин так страстно стремился за границу. Там бы он работал, чтобы цвела их коммуна, привлекая наглядным примером сотни, да что сотни — тысячи, десятки тысяч таких, как он, столяров, слесарей, работный люд всего света.

Работать же здесь, в Москве, чтобы иметь возможность коротать ночи в бараках, воюя с клопами и грязью, до одури склоняться над верстаком, чтобы мечтать о сне, заражаться чахоткой и в тридцать лет умереть?

Это был обычный жизненный путь рабочего капиталистической фабрики, и иного у Халтурина не было, но в глубине души еще теплилась надежда на встречу с товарищами, и Степан твердо решил добраться до Петербурга, откуда они должны были выезжать за границу. Денег осталось только на дорогу да на первые дни жизни в новом, незнакомом городе.

## ГЛАВА II

# В СТОЛИЦЕ „КРИТИЧЕСКИ МЫСЛЯЩИХ ЛИЧНОСТЕЙ“

И вот снова дорога, вагон, а за окном бесконечное мелькание полей, лесов, урочищ, покосившихся хибарок и беловатых призраков помещичьих усадеб. Степан купил билет в вагон первого класса, хотя и дорого, зато без паспорта надежнее. Кондуктор, стоявший у площадки вагона, сначала перепугал Халтурина: на нем была военная форма и каска. Свиристый взгляд, которым он окинул пассажира, не предвещал ничего утешительного. Но длинный лоскут бумаги с обозначением класса и станции назначения произвел магическое действие. Кондуктор осклабился и с поклоном пропустил Степана. Двадцать шесть часов пути, долгие стоянки, крики обер-кондуктора «готово», свистки и рывки локомотива — все осталось позади...

Халтурин стоял на Знаменской площади, не зная, куда идти, где искать приюта, потерянных друзей, как жить дальше. Только теперь он понял, что поездка эта — необдуманный, а может быть, и просто глупый поступок. Где их сыщешь в этом огромном холодном Петербурге?

Халтурин бродил по столице наудачу. Пока оставались деньги, ночевал в ночлежках, что-то ел и искал, искал без устали. Деньги кончились, нужно было искать уже не друзей, а работу. Но без паспорта не устроишься на завод или в мастерскую, приходилось заниматься чем попало. На вокзале подтаскивал окованные сундуки купчих, на рынках сгибался под тяжестью мешков с картофелем, капустой, мукой. Ломило спину, пальто изодралось, сапоги охотно пропускали воду, которая, казалось, никогда не просыхает на панелях и мостовых осеннего Питера. Выручала молодость да богатырское здоровье.

Близилась зима. По ночам замерзали лужи, изо рта прохожих поднимался пар, вода в Неве стала густой, черной. Халтурин по-прежнему жил случайным заработком, не имея паспорта и собственного угла. Ему, правда, удалось устроиться перевозчиком на Неве. Нелегкая это была работа. Плоскодонная лодка неуклюже пересекала реку, быстрое течение сносило ее, и Степан выбивался из сил, работая слишком короткими, но тяжелыми веслами. Еще куда ни шло, когда пассажиры ехали без груза,

тогда их везли в легком ялике, но обычно перевозом пользовались для переброски тяжестей. На Неве никогда не затихал пронизывающий ветер, и Халтурин все время зяб. Вспотев от усилий, он сразу остывал на берегу, напрасно кутаясь в свою легкую, изорванную одежду. Только вечерами наступала передышка, поток пассажиров убывал, а грузов и вовсе не было. В эти часы Степан отсиживался в будке перевозчика и с интересом наблюдал за жизнью набережной. Перевоз стоял за Литейным мостом, связывая центральную, деловую часть столицы с Выборгской стороной.

Там, на Выборгской набережной, разместились Артиллерийская академия, клиники, немного поодаль, на Нижегородской улице, недалеко от вокзала Финляндской железной дороги, — Медико-хирургическая академия. Дальше по Симбирской к Полюстрову шли пустыри, бродили цыгане я высился великолепный дом графа Кушелева-Безбородко. Халтурина особо интересовала Медико-хирургическая академия. Недаром она считалась наряду с Горным институтом и университетом «рассадником крамолы и антиправительственных идей».

Нередко, именно вечерами, к перевозу подходили странно одетые люди. Длинные волосы, пенсне или очки выдавали разночинцев-интеллигентов. Большой частью их костюм представлял какую-то невероятную смесь щегольства и нигилистического презрения к нему. Пледы или клетчатые пальто, обязательная манишка с галстуком или бабочкой, а на ногах все, что угодно, вплоть до стоптанных сапог. Степан удивлялся, почему эти запоздалые прохожие предпочитают перевоз мосту, ведь по мосту проход бесплатный, за перевоз же нужно платить. Степан от природы был очень любопытным, вернее любознательным человеком, но скромным и застенчивым. Он редко заговаривал со своими пассажирами, а эти, в пледах, обычно молчали.

И только случайно узнал Халтурин причину пристрастия «нигилистов» к перевозу. Однажды ему пришлось переправлять компанию студентов, человек шесть. Все были немного навеселе, хохотали, перебрасывались шутками. Когда лодка отошла от берега, пассажиры, сидевшие на корме, попытались затянуть песню, но взрыв хохота с носа лодки потушил ее. Маленький, щуплый студент, одетый не в пример другим опрятно и элегантно, весело рассказывал анекдоты.

Когда лодка приблизилась к противоположному берегу, компания стала серьезной. Щуплый студент, наклонившись к своему соседу, тихо проговорил:

— Будешь возвращаться из академии, не забудь «очиститься водою», я потому и настаивал, чтобы сейчас на лодке переезжали — тебе перевоз

показать, а то ты новенький в городе, заблудишься.

Халтурин расслышал эти слова. «Вот оно что, — подумал Степан, — теперь-то я уразумел, почему «эти» лодочкой пользуются, «водою очищаются», значит, чтобы всякие там соглядатаи отстали». С тех пор Степан стал внимательнее приглядываться к своим пассажирам, особенно студентам, жадно вслушиваясь в каждое слово, оброненное ими.

\*

Но и эта работа, тяжелая, неблагодарная, скоро должна была кончиться. Станет Нева, закроется перевоз до весны... Но поздней осенью из Вятки брат Павел прислал Степану годичный паспорт и немного денег. Халтурин воспрянул духом. Хотя брат и мать звали его домой, Халтурин твердо решил не уезжать из Петербурга. О поездке за границу он уже не думал. Степан понемногу сживался с Петербургом и, изучая его, искал артерии, по которым на всю Россию растекалась алая кровь революционной мысли.

\*

В 1812 году император французов Наполеон, готовясь к походу на Россию, говорил, что если он возьмет Киев, то схватит Россию за ноги, овладеет Москвой — поразит ее в сердце, займет Петербург — нанесет удар в голову.

Да, Петербург это голова России, ее мозг. Отсюда по всей стране разносились приказания, здесь рождались мысли и идеи, волновавшие жителей империи. Именно в этом городе сосредоточивалось все лучшее, талантливое, выдающееся, чем когда-либо после Петра гордилась Россия. Город императоров, сенаторов, генералов и в то же время город Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Белинского, Брюллова, Сеченова, Чернышевского, город, где впервые родилась революционная мысль декабристов и уже не умирала, таясь в эзоповском подполье «Современника», разбредаясь по России рукописными прокламациями и подцензурными изданиями.

Петербург внешне сер, строг, официален, но за тяжелыми шторами окон редакций, в холодной роскоши министерских кабинетов или в тесных,

прокуренных студенческих каморках рождаются идеи, они полны или злобной трусости, или свободолюбия. Контрасты внешне здесь сменились внутренней противоречивостью, борьбой идей, столкновением мировоззрений.

60-е годы насторожили Россию. Ее организм перерождался, старое, крепостническое, феодальное — отмирало, новое, капиталистическое — нарождалось. Бурно, болезненно, но неуклонно. Об этом новом не у кого было спросить, оставалось только спорить. Спорили на торжественных заседаниях сената, говоря полунамеками, вполголоса, страшась слов; спорили в литературных салонах до хрипоты, до крика, спорили в Медико-хирургической академии, в редакциях журналов и на конспиративных квартирах революционного подполья.

Да и как не спорить? В 1861 году царизм под напором революционных сил страны, спасая свое существование, отменил сверху крепостное право. Реформа казалась отдушиной, в которую удастся выпустить революционные пары, накопившиеся в русском обществе. Верхи ждали благодетельного успокоения, но его не наступило, крестьянское движение разрасталось вширь, заливая страну. Эти бунты вселяли надежды в сердца лучших людей России, звали их на борьбу, на подвиг. Они верили в крестьянина, в нем старались отыскать черты будущего человека, который, пробудившись от многовековой спячки, скинув с плеч ярмо крепостничества, скажет свое новое слово, создаст новые, справедливые, социалистические отношения, так и не побывав в капиталистическом аду.

Это была утопия, но ее стремились воплотить в действительность. Твердо знали, что справедливый социальный и общественный строй создается руками угнетенных, а в России, в этой колоссальной аграрной стране, угнетен крестьянин, 100 миллионов бесправных сельских тружеников — это ли не сила?

В крестьянском общежитии искали зародыши будущего социалистического строя. Искали и находили. Крестьянская поземельная община с ее круговой порукой, с переделами земли, с коллективным разумом мира казалась откровением и залогом успеха в борьбе за социализм. Об этом писал Герцен из Лондона, об этом говорил Чернышевский, а на Западе ту же идею пропагандировали Прудон, Лассаль и многие, многие другие теоретики утопического социализма. Казалось, призрак социализма бродил по России, одетый в лапти, суконный армяк и драный полушубок.

После бурного 1861 года царизм, перейдя в наступление, залил кровью очаги крестьянских восстаний, бросил в тюрьмы Чернышевского,

Писарева, Шелгунова, умертвил Добролюбова, но не мог одолеть свобододлюбивых идей. Их не сгноишь на каторге, через тюремные решетки они рвутся на волю и находят все новых и новых приверженцев.

Не оправдались надежды шестидесятников на крестьянскую революцию, но на смену им шли семидесятники. Они уже не хотели ждать. Действовать, шевелить крестьянина, этого «истинного социалиста», «революционера», стало их девизом. Так рождалось новое движение народников, социалистов-утопистов, последователей замечательных революционеров-демократов 40 — 60-х годов. Возникнув в отсталой, «крестьянской стране», народничество «не могло, как общественное течение, отмежеваться от либерализма справа и от анархизма слева»<sup>1</sup>.

Всякое учение имеет своих апостолов. В конце 60-х и начале 70-х годов появились и апостолы народничества. Они не были оригинальны в своих отправных теоретических построениях. Крестьянин-социалист, крестьянская община — зародыш социалистического общества, капитализм в сравнении с феодализмом — регресс и несчастье — эти мысли еще раньше высказывали и Герцен и Чернышевский. Теоретики народничества Лавров, Бакунин, Ткачев только односторонне развили их, усугубив заблуждения великих русских демократов-революционеров. И беда этих теоретиков заключалась в том, что они не хотели поглядеть вокруг себя, а оглядывались назад, на своих духовных учителей. Но Чернышевский и Герцен заблуждались, идеализируя крестьянина потому, что в 50 — 60-х годах в России не было еще промышленного капитализма, не было и промышленного пролетариата. В 70-х же годах Россия развивалась как буржуазная страна, а нарождавшийся рабочий класс уже заявил о своем существовании первыми стачками и забастовками. Народники закрывали глаза перед видением капитализма. «Нет, — твердили они, — России уготовлен иной путь, нежели западным капиталистическим странам. Пусть она отстала, но отсталость счастье России». «Лучше отсталость, чем капиталистический прогресс». Отсталость сохранила России общину, а из общины вырастет социализм. Осматриваясь вокруг, народники замечали только то, что им хотелось видеть, — покосившиеся крестьянские хибарки, клочки надельной земли, первобытную соху. Фабричные же трубы, железные дороги, вывески промышленных банков, акционерных обществ не попадали в поле зрения этих людей.

«У нас под самым Петербургом, — писал Михайловский, — существуют деревни, жители которых живут на своей земле, жгут свой лес, едят свой хлеб, одеваются в армяки и тулупы своей работы, из шерсти

своих овец. Гарантируйте им прочно это свое, и русский рабочий вопрос решен». Даже в общине, которой народники уделяли столько внимания, они не замечали никого, кроме этого «чудесного, душевного социалиста-крестьянина»; от кулака-мироеда народники отворачивались, его игнорировали как «нехарактерное», как «диссонанс» в стройной симфонии крестьянского социализма.

Тысячи молодых, ищущих, искренних в своих устремлениях людей, вырвавшихся из душных горниц поповских домов, затхлых помещичьих заповедников, чиновничьих квартир, крестьянских изб, зачитывались Чернышевским и Добролюбовым, восторгались Лавровым и Михайловским, благоговели перед Бакуниным. Они жаждали дела, они любили свою страну, свой несчастный народ — во имя ее, во имя него они готовы были на подвиг, на борьбу, на смерть. Этих людей называли разночинцами. Они получили образование, но жили за счет своего труда, не эксплуатируя чужой. Им казалось, что они в долгу у народа и должны вернуть ему свой долг. Но как? Лавров подсказал им в своих «Исторических письмах»: вы интеллигенты, вышедшие из разных классов, значит вы стоите вне классов, не связаны с политическими учреждениями страны. Так вырабатывайте общественные идеалы, основанные не на классовых предрассудках, а на принципах разума и справедливости, несите их в народ. Народ без вас — толпа с «наклонностью к подражанию и повиновению»; он масса, которая «любит без толку и ненавидит без причины и слепо движется в том или другом направлении, данным каким-нибудь ей самой непонятным толчком».

Этими новыми идеями вы, «критически мыслящие личности», расплатитесь с народом за то, что, когда вы учились, народ вас кормил, одевал, когда вы думаете, он работает; за то, что вы получили знания, лишив этих знаний народ.

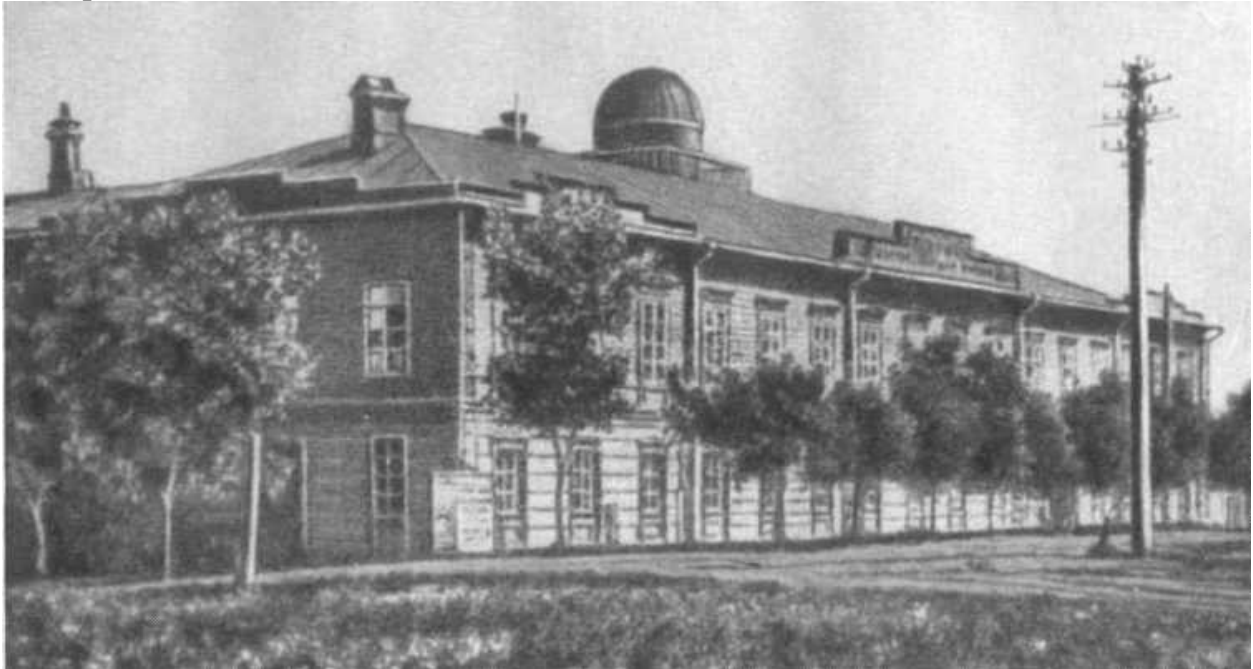
С восторгом подхватили юноши этот призыв, — они герои, они двигатели и рычаги истории, они оплатят «неоплатный долг» народу, сольются с ним, поднимут «крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества»<sup>[1]</sup>.

Все эти мысли, пламенные, свободолюбивые, рождались в холодной утробе Петербурга и бурными потоками растекались по России. Никто не организовывал тогда партии, ведь партия — авангард класса, а разночинцы считали себя вне классов. Но без партии нельзя основать настоящего революционного движения. Об этом не думали. Движение было — движение молодых, пламенных сердец.

Спорили не об организации, а о тактике. Бакунин занимал мысли этих



«homo sapiens». О его раскольнических действиях в I Интернационале еще не знали, да к тому же Интернационал — организация пролетариев, а рабочие — это будущее Европы. В России человек будущего — крестьянин. Бакунин же звал идти в народ, к крестьянину. Нечего крестьян учить социализму, они сами кого угодно ему обучат. Нечего ждать, готовиться, пропагандировать идеи революции, нужно прийти в деревню и агитировать крестьян подниматься на бунт. «А русский крестьянин, — заявлял Бакунин, — всегда готов к восстанию, как пушкинский Онегин к дуэли». Поднимутся сначала отдельные бунты, затем они перерастут во всероссийский. Как просто! А главное — можно действовать. Это подкупало молодость, революционная интеллигенция готова была взять на себя роль «коллективного Стеньки Разина».



Вятское земское училище.



«Вечеринка». С картины художника В. Е. Маковского.

Но были у Бакунина и оппоненты по вопросам тактики. Лавров, все тот же «властитель дум» Лавров, горячо отговаривал от поспешных действий. Нет, никакой политической борьбы, никакого бунтарства, только подготовка революции путем пропаганды социализма в народе. С каждым днем, часом число пропагандистов будет расти в геометрической прогрессии, пока их не станет большинство, а тогда социализм победит. Селитесь в народе, пропагандируйте...

Но разве можно так долго ждать? Ткачев скептически пожимал плечами, он не верил в народ, не верил, что тот на что-либо способен. Нет, говорил Ткачев, не народ, а инициативная группа людей должна действовать, должна захватить власть. Ведь это так легко в России. Именно в России, утверждал Ткачев, не классы породили государство, а государство создало классы, значит оно не имеет опоры ни в одном из них, висит на ниточке в виде всевозможных государственных институтов. Обрубите эту ниточку, и государство рухнет, власть будет в ваших руках. Для этого не нужна народная революция, достаточно группы

революционеров.

Так рождалась народническая теория, так создавались тактические группировки среди революционеров-демократов 70-х годов.

Не сразу началось движение в народ и к народу. В начале 70-х годов народничество переживало кружковой период, период, так сказать, «культурнической» деятельности.

И опять Петербург задавал тон всей остальной России. Этот город поистине делался «столицей критически мыслящих личностей».

В Петербурге были сосредоточены основные учебные заведения России, здесь собрались со всех концов страны студенты. Жили бедно, но полнокровно. Бедность не порок, ведь из нее рождались артельные начала студенческого общежития: землячества, кассы взаимопомощи, всевозможные ассоциации переводчиков, переплетчиков, репетиторов. Эти артели объединяли разночинцев-студентов.

Их волновало буквально все, но более всего бесправие и нужда русского народа. Землячества и ассоциации порождают кружки, в которых студенты занимаются самообразованием, совместно читают книги, закупают литературу, рассылая ее друзьям в провинцию.

Разночинец по природе своей тяготеет к народу, но в Петербурге крестьяне бывают изредка, в столице народ представлен рабочими фабрик и заводов. Разночинец ищет связей с рабочим людом и находит их. Его интересует не заводской пролетарий, а фабричный рабочий — ткач, прядильщик, но не металлист. А почему? Да потому, что металлист лучше зарабатывает, сытнее ест, он порвал с деревней, его туда не тянет. А фабричные? «Хотя все эти ткачи были фабричные рабочие, — писал народник С. С. Синегуб, — но, в сущности, это были ткачи-крестьяне, пришедшие из деревень в город на заработки, причем большинство из них, проработав осень, зиму и часть весны до начала пахоты и посева, старались ко времени полевых работ вернуться обратно в деревню... Весь этот люд был тесно связан с деревней, спал и видел, как бы получше устроить житье свое в деревне; все горести и радости деревни считал своими родными горестями и радостями».

Для похода в народ нужны кадры пропагандистов, близкие по духу, даже поговору своему к крестьянам. Народники справедливо сомневались, что им самим удастся заговорить с крестьянином на понятном для него языке, они боялись, что крестьяне отнесутся недоверчиво к чужому для них человеку, не поверят его словам, «а проповедь его примут за новый подвох бар». «Другое дело — рабочий, — восторженно доказывал народник М. Фроленко, — в деревне он свой человек, его там знают и, конечно, станут

слушать, он сможет заговорить понятно и сможет затронуть самые существенные вопросы. Ему скорее поверят. Следовательно, надо обратить прежде внимание на рабочих, подучить их, развить, сделать из них себе главных помощников».

Так родилась идея сблизиться с рабочими, но сблизиться не потому, что рабочие самый передовой, самый революционный класс. Нет! Этого народники не понимали, они, отрицая будущее за капитализмом в России, отрицали тем самым и возможность самостоятельного, действительно революционного движения русского пролетариата. Рабочий в глазах народников лишь вспомогательная сила, посредник, при помощи которого они, «критически мыслящие люди», найдут общий язык с истинным социалистом — крестьянином.

В 1872–1873 годах в том же Петербурге создан кружок чайковцев (назывался так по имени одного из основателей кружка Николая Васильевича Чайковского). Чайковцы первыми среди революционеров-демократов завязали связи с фабричными. Среди чайковцев были одаренные пропагандисты, люди, впоследствии составившие ядро народнических партий, как «Земли и воли», так и «Народной воли», — князь Петр Кропоткин, Михаил Синегуб, Софья Перовская, Дмитрий Рогачев, Сергей Кравчинский, Леонид Попов, Василий Стаховский и другие.

Сначала связались с рабочими фабрики Мальцева (Сампсониевская мануфактура), затем с работающими у Чешера, привлекли к занятиям текстильщиков. Первый успех окрылил кружковцев. Синегуб и Чарушин снимают на Сампсониевском проспекте домик и разворачивают пропаганду в Выборгском районе. Кружки растут, из Выборгского района они перебрасываются за Невскую заставу, втягивают в свою орбиту передовых рабочих Спасской и Петровской мануфактур, работников фабрики Торнтон.

Чем только не занимались в этих кружках! Арифметикой и физикой, начатками естественной истории по Дарвину и историей России, географией и физиологией. Мешанина была страшная, но на первых порах успех был колоссальный. Народ валом валил к пропагандистам. А их было мало, приходилось переходить из одной рабочей артели в другую, от ткачей к каменщикам, от каменщиков к плотникам. Особой популярностью пользовались Синегуб, Кравчинский и Кропоткин. И не случайно. Кравчинский был замечательным рассказчиком, уже тогда в нем чувствовались задатки будущего писателя. Помогало и другое — Кравчинский и Кропоткин недавно побывали за границей и могли многое

рассказать о рабочем движении передовых капиталистических стран Европы.

Их товарищи по кружку ограничивались чтением рабочим «Хитрой механики» или рассказами о Разине и Пугачеве, Кравчинский же излагал экономическое содержание «Капитала» Маркса. Кропоткин проникновенно и страстно рассказывал о Парижской коммуне. На беседы Кравчинского и Кропоткина фабричные сходились целыми артелями, слушали затаив дыхание.

Но первый порыв увлечения скоро прошел. Рабочие охотно слушали рассказы, с благодарностью воспринимали стремления «студентов» подучить их, но к идее хождения в народ оставались глухи. Чайковцы же считали, что нет никакой надобности в длительной пропаганде, в организации масс, — ведь они готовы к революции, пора, пора ее начинать. Увы, рабочие не шли за ними.

Не пошли они и за лавристами, хотя и предпочитали их бунтарям-бакунистам.

Не только чайковцы-бунтари вели пропаганду среди рабочих. Лавристы Ивановский, Рождественский, Базаров, Воскресенский, Карпов еще летом 1873 года обосновались под Шлиссельбургом, недалеко от немецкой колонии Екатериндорф. На мызе «Резвое» была приобретена дачка, где открылась настоящая школа для рабочих. По преимуществу это были рабочие с фабрики Торнтон. Учителями здесь также выступали студенты.

Занятия велись три раза в неделю, их посещало более 50 человек рабочих, среди них был, впоследствии прославившийся своей речью на суде, ткач Петр Алексеев. Алексеев к этому времени уже успел, прочесть Лассаля, был знаком с политической экономией Милля и примечаниями Чернышевского к ней, основательно проштудировал сочинения Лаврова. Другой рабочий, ставший потом организатором первых рабочих кружков в Петербурге, Иван Смирнов, вообще отличался жадностью к книгам.

В 1874 году начинается поход бунтарей-бакунистов в народ.

Затихли споры в народнических кружках, замерла и просветительская деятельность среди рабочих. Да и о чем спорить? Нужно идти в народ, всякая отсрочка — даже с целью просвещения и подготовки фабричных — преступна и лишена смысла. Можно обойтись наличными силами интеллигентов — поднимать бунты среди крестьян. Чайковцы были увлечены этим «походом» в народ, и не кто иной, как Кравчинский, прокладывал дорогу. А в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове спешно открывались мастерские и курсы, в которых будущие пропагандисты

обучались ремеслам. И обучались не ради спасения своих интеллигентных душ, а с целью конспирации, чтобы не выделяться в крестьянской среде. К сапогам прилаживались двойные подметки, в них закладывались паспорта и деньги, молодые девушки с восторгом шили косоворотки, шаровары, рукавицы.

Об организации этой стихии революционного бунтарства никто не думал. Даже наоборот, ее отрицали, так как боялись всякого централизма и «генеральства».

Пошли в народ весной 1874 года стихийно, мало зная друг друга, не выработав единых форм пропаганды, не намечая сроков народного восстания. «Народ готов к бунту» — дело казалось легким. А революция? Ну, она вспыхнет еще до наступления осени. Тысячи восторженных юношей и девушек, опаленных видением народного счастья, шли одиночками, двигались группами и даже целыми кружками. Волны движения разлились по всей России. По деревням и селам разъезжали бутафорские крестьяне в новеньких, с иголочки, полушубках, заячьих треухах, валенках. Как будто вся прилизанная гардеробная Мариинского театра вдруг обрела плоть и кровь и в образе крестьян из драм Кукольника и Озерова ворвалась в грязную, оборванную русскую деревню.

«Водевильные крестьяне» не понимали крестьянина реального. Тщетны были их поиски социалистических начал в замызанной деревне. Крестьяне охотно слушали пропагандистов, готовы были идти за агитатором, но лишь до ближайшего помещичьего имения; стоило пропагандистам завести речь о том, что волю и землю можно добыть, только начав с царя, свергнув его с престола, как картина резко менялась.

В царя крестьянин верил, имя его произносил с почтением и слышать не хотел о свержении «освободителя». Крестьянин раскрывался перед народниками в облики мелкого собственника, цариста, жаждущего земли и вовсе не помышляющего о социалистических началах общежития.

Полиция очень скоро приспособилась ловить пропагандистов, хотя крестьяне редко выдавали их, а если такое и случалось, то вина в этом целиком падала или на грубых, или попросту неосторожных народников.

К 1875 году были выловлены тысячи пропагандистов в тридцати семи губерниях Российской империи. Правительство сначала хотело подготовить грандиозный процесс, но потом отказалось от этой мысли — все же это тысячи людей, среди которых большинство имело высшее образование, а некоторые были хорошо известны не только в России, но и за границей. Стали высылать административно, отдавать на поруки, до суда было доведено только 193 человека»

## ГЛАВА III

### ПЕРВЫЕ ШАГИ

Движение народнической молодежи было близко Халтурину своим боевым духом, революционной страстностью, самоотвержением, но в самом начале оно не захватило Степана в свой водоворот. Халтурин по приезду в Петербург в первое время оказался в стороне от практической революционной деятельности народников. Степану трудно было разобраться в сумбуре народнических идей, его смущала беззаветная вера интеллигентов в крестьянина. Даже перед самим собой остерегался Степан критиковать эту влюбленность народников в крестьян. Он считал, что его собственный жизненный опыт и запас знаний недостаточен для того, чтобы противоречить таким вождям, как Лавров, Бакунин. Но знакомство с вятской деревней, с крестьянами настраивало Степана скептически. Он верил в рабочего, но на первых порах эта вера основывалась на интуиции, а не на твердом знании, хотя книги сделали свое дело, и чем больше Степан читал о положении рабочих в России и за границей, тем больше проникался убеждением, что рабочий еще скажет свое слово в революционной борьбе.

Осень 1875 года была для Степана порой колебаний, порой настойчивых исканий, радостных открытий и разочарований. Случайный, временный характер работы Халтурина не позволял ему завязать тесные знакомства, найти людей, которые могли бы ответить на те «тысячи вопросов», которые роились в голове. Оставались книги. Но как трудно было их доставать! В библиотеки не проберешься, они не для таких, как Степан. А если даже и сумеешь проникнуть в какую-либо, то разве достанешь там нелегальные издания? А легальная русская пресса или молчит по поводу социальных и политических проблем, или отделяется либеральной жвачкой, вегетарианской жижицей звучных и ничего не значащих слов. Приходилось обращаться к букинистам.

Букинистические книжные лавки рознятся друг от друга, как политические идеи. На Невском они пестрят шикарными витражами античной мифологии, французскими романами для вечернего чтения воспитанниц Смольного, иллюстрированными изданиями. Мало у Халтурина денег, живет впроголодь, но он уже знаком с книготорговцами

университетской набережной, знают его букинисты, торгующие прямо на тротуарах с рогожки на Выборгской стороне. Здесь покупатель попроще, а продавец похитрей, он знает, что молодежь интересуется нелегальными изданиями. И они всегда имеются в запасе у книжных барышников.

Каждое воскресенье кипит книжная биржа. Здесь встречаются книги Флеровского, Лаврова, заграничные издания народников, Чернышевский, Герцен, Михайловский. Часами роется Халтурин в печатной ветоши, выискивая нужную ему книгу. Букинисты заметили этого плечистого, красивого рабочего с тонким, одухотворенным липом интеллигента. Их не удивляло, что рабочий покупает книгу, они привыкли к этому. Среди петербургского пролетариата было немало страстных любителей чтения. В Халтурине книгопродавцов поражало другое — его удивительное умение читать. Таким умением обладали немногие. Очень скоро Степану перестали предлагать сочинения по естественным наукам, они его не трогали, хотя букинисты знали пристрастие к этим наукам у многих рабочих. Не интересовало Халтурина и легкое чтение. Зато исторические работы, книги по общественно-политическим вопросам им покупались охотно. Когда не было денег, Степан приходил в убогие книжные лавочки, чтобы хоть посмотреть нужную ему книгу. Ему и в долг доверяли, а то давали почитать напрокат, за пятак в день. Залога не брали, верили — книга не пропадет.

Пока не наладились связи с рабочим миром столицы, Халтурин читал запоем, усваивал новые факты, обогащался новыми мыслями. Иногда, усевшись на стопку книг, Степан подолгу беседовал о прочитанном с продавцами или словоохотливыми студентами, роившимися вокруг книжных лавок. И обычно собеседники Халтурина поражались ясности суждений Степана, умению в простых, доходчивых словах изложить самые, казалось бы, запутанные теории. Халтурин не был краснобаем, не обладал он и даром оратора: окая по-вятски, делая паузы для подыскания наиболее выразительных слов, Халтурин все же держал собеседника в напряжении, часто радуя его неожиданной игрой мысли, взлетами фантазии.

Была и еще одна особенность в этом «особенном рабочем» — его целеустремленность. О чем бы ни зашла речь — будь то история Французской революции 1789 года или конституционное устройство западных стран, — Халтурин в конце концов сводил разговор к положению русского рабочего, его нуждам, его будущему. Он умел мечтать, мечтать вслух, и картины, нарисованные его фантазией, поражали своей реальностью, казались достижимыми. Особенно охотно на эту тему беседовали рабочие Василеостровского патронного завода.



К зиме меньше стало рогожек с книгами — холодно. Только на Литейном по воскресеньям шла бойкая торговля. Букинисты с Литейного величали себя антикварами, были развязны с покупателями, умели с первого взгляда отличить любителя книги от «празднолистающего страницы». Предлагали одно, продавали другое, цену назначали в зависимости от того, какая была погода и насколько внешность покупателя импонировала продавцу. Халтурина тут не знали. но «по одежке» принимали за разночинца-студента «из кутейников».

Именно здесь и произошла случайная, но знаменательная для Степана встреча с учителем, наставником и другом вятской молодежи, настроенной пореволюционному.

Степан купил «по случаю» Лассалья и торопился на перевоз — посидеть, почитать, ведь в такой холодный день вряд ли кто захочет переправляться через Неву на лодке, значит свободного времени будет достаточно. Спрятав книгу, Халтурин зашагал к набережной. Когда его кто-то окликнул, он сперва решил, что ослышался, «кому бы меня знать-то в Питере». Но вот опять сзади знакомый голос позвал:

— Халтурин! Степан! Обожди, не могу за тобой угнаться.

Степан обернулся и бросился навстречу пожилому человеку, сутуловатому от многолетней привычки долго сидеть за столом. С разбегу Халтурин схватил его в объятия, да так сжал, что тот взмолился.

— Пусти! Ты никак с ума сошел, да разве ж можно так ребра ломать старому человеку?

— Дорогой, вот уж радость-то, вот не чаял вас встретить здесь!

— А это почему-с, молодой человек? Почему не чаяли встретить, а?

— Да как же, вы же в Вятке были.

— А ты что же, всю жизнь в Петербурге прожил?

Степан засмеялся. «Все такой же Котельников, шутит, шутит да шуточками правду говорит».

\*

С Котельниковым Степана связывала давняя, теплая дружба. Василий Григорьевич преподавал в Вятском земском училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний основные предметы: сельское хозяйство и технические науки. Это был человек самых разносторонних знаний, прекрасный педагог и, что главное, отзывчивый товарищ учащихся.

Ему было чуждо высокомерное отношение учителя к ученику, наставника к подопечному.

Именно такие, как Котельников, Песковский, Постников и некоторые другие учителя, удерживали в Вятском училище учеников. Вообще же попечением начальства режим училища был настолько строгий, а придирки властей до того раздражали, что многие ученики теряли интерес к занятиям, покидали училище. Степан Халтурин, попав в училище, сначала с рвением взялся за изучение всех предметов, но постепенно пыл пропал и у него. По русскому языку, закону божьему Халтурин не вылезал из двоек. Только по столярному ремеслу он один из немногих имел круглые пятерки, и его прозвали «Степан — золотые руки».

Халтурин уже и тогда много читал. Это заметил Котельников и стал неприметно (чтобы не обидеть самолюбивого юношу) руководить чтением Степана, а также друживших с ним Амосова и Башкирова. Учитель помог им устроиться в городские библиотеки, которых в Вятке было всего три: одна частная, затем публичная и епархиальная. Частную «Библиотеку для чтения» открыл Александр Александрович Красовский. Халтурин с благоговением относился к Красовскому, ведь это был единомышленник и последователь Чернышевского, за что он подвергся аресту и высылке.

В библиотеке Красовского Халтурин вместе с Башкировым и братом своим Павлом прочел «Очерки фабричной жизни», «Огюст Конт и положительная философия», «Политическая история нового времени», «Шаг за шагом», «Политическое движение русского народа», «Работник Сибири» и многие другие книги, указанные Котельниковым.

\*

В этот день Халтурин не вернулся на перевоз, не пришел и на следующий. Котельников активно вмешался в судьбу своего ученика. Несколько дней Степан жил у него, с наслаждением вытягиваясь на чистой постели, вкушая домашние обеды. В душевных беседах они вспоминали Вятку, товарищей. Котельников ушел из Вятского училища, так как полицейский надзор за учителями и учениками стал просто невыносим.

Однажды, сидя за столом и неторопливо попивая чай, Халтурин пожаловался учителю, что в Петербурге очень тяжело сходиться с людьми, все какие-то замкнутые, сторонятся друг друга. Сколько раз он пытался завязать знакомства со студентами Хирургической академии или рабочими

патронного завода, но те отшучивались и больше не пользовались его лодкой.

Василий Григорьевич, хитровато улыбаясь, поглядывал на Халтурина. Он откровенно любовался его молодостью, пылом, той страстностью, с которой Степан рвался к практической революционной деятельности.

Но сам Котельников сочувствовал лавристам и поэтому скептически относился к проявлениям бунтарства со стороны его знакомых в мире революционной интеллигенции. От лавристов Котельников перенял и принципы строгой конспиративности. «Безумное лето» 1874 года попросту напугало его, и теперь он колебался — стоит ли сводить своего ученика с петербургскими революционными кружками. Ведь Халтурин человек действия, об этом свидетельствовало хотя бы и то, что он организовал поездку за границу, добился паспортов. Котельников решил немного охладить пыл Степана, внушить ему необходимую осторожность, а затем уже вводить в среду революционеров.

— А знаешь, Степан, какое мнение о тебе и тебе подобных учениках нашего училища составило начальство, причем начальство из полиции. Ты, конечно, Селенгина из банка помнишь?

— А как же, Василий Григорьевич. Ведь у него на квартире собирались, чтобы потолковать о книгах да с политическими повстречаться.

— Ну так вот, Селенгин через своего родственника раздобыл копию рапорта вятского полицмейстера.

— Михайлова, что ли?

— Его. Сейчас я тебе прочту, сохранил на память о Вятке и об училище.

Котельников достал из стола папку, полистал ее и вытащил большой лист бумаги, сложенный вдвое.

— Вот послушай: «...ученики Вятского земского училища для распространения сельскохозяйственных знаний и приготовления учителей, проживающие на своих квартирах...», а ведь ты, кажется, на своей жил?

— Своя да не своя. Жили мы с Николаем Котлецовым в доме Кошкаревой на Семеновской улице.

— Во всяком случае, не в казеннокоштном общежитии. Так о вас-то Михайлов и пишет: «Ведут себя не как бы следовало по правилам, утвержденным Советом училища, или как требуется для воспитанников учебного заведения, а напротив... служат заразой для учеников других учебных заведений. Они собираются в кружки и проводят время в пьянстве и картежной игре».

— Врет, Василий Григорьевич, врет эта шкура полицейская! Никогда мы не пьянствовали, а в карты я и по сей день играть-то не умею.

— Знаю, что врет, да ведь поверят ему, если вдруг кто-либо из начальства запрос о тебе сделает. Но слушай дальше: «10 мая в квартире на Владимирской улице в доме Родыгиной у учеников Платона Глазырина, Феофана Попова и Павла Зверева было сборище...» Постой, тут опять о пьянке. Вот, нашел: «На всех сказанных собраниях, кроме пьянства и картежной игры, проявляются между ними стремления к распространению противоправительственных идей. Приобретая разными путями книги противоправительственного содержания, они передают их для чтения из рук в руки, стараясь не только посеять преступную мысль в среде своих товарищей, но и домогаются проникнуть в народ». Так-то, брат, Степан!

— И тоже брехня, Василий Григорьевич, насчет книжек и антиправительственных идей — верно, слов нет, распространяли, а в народ не ходили, там нам делать нечего.

— Вот сюда смотри — список видишь? А ну, погляди № 69, чья фамилия? «Степан Халтурин». А вот и дружок твой, Николай Котлецов. Молодо, да зелено, шуму много, а пользы никакой. Зачем, спрашивается, вы с Башкировым песни революционные распевали на улице или вслух рассуждали о революции при незнакомых людях? Вот такие, как ты, Амосов, Башкиров, ринулись в семьдесят четвертом году в деревню, ну и нарубили дров, а теперь в предвариловке сидят.

Степана задело за живое. О хождении в народ он не только слышал, даже знал кое-кого, кто сам побывал в деревне пропагандистом, но считал, что начинать нужно было не с этого. Хотя спроси Степана тогда, с чего начинать, он бы не сумел ответить, но был уверен, что «ходить» не следовало. Между тем Котельников рассказал Степану о лавристах.

«Странные были это люди, лавристы, — писал позднее С. Кравчинский. — Им нельзя было отказать ни в добрых намерениях, ни в широте теоретических взглядов. Но они были сухие и холодные доктринеры, без энтузиазма, который сообщал такое обаяние пропагандистам-бунтарям. В них соединялись крайние политические и социальные теории с нерешительностью, со страхом перед малейшим рискованным шагом, с органическим отвращением ко всему, что нарушало методический порядок их мерных занятий. Постепенно из них вырабатывались революционеры-мумии, бесплодные» зачастую комичные, а в конечном итоге бестелесные поборники невинного либерализма».

Слушая Котельникова, Халтурин двоился; с одной стороны, жажда знаний влекла Степана к этим людям, которые, по словам его учителя,

очень много знали, но с другой — темперамент бойца отталкивал его от праздных мечтателей, увлекал на сторону тех, кто активно боролся.

Через несколько дней Котельников познакомил Степана с лавристами. В Петербурге у лавристов был свой кружок — человек двадцать. Во главе кружка стояли Л. С. Гинзбург и А. Ф. Таксис, а членами его были В. В. Варзар, автор популярной и нашумевшей брошюры «Хитрая механика», А. С. Семяновский, Н. Г. Кулябко-Корецкий, Мурашкинцев и другие.

Петербургские лавристы являлись главной литературной и финансовой опорой издаваемой за границей газеты «Вперед», редактором которой был сам Лавров. В отличие от бакунистов-бунтарей лавристы на первое место в своей пропаганде ставили не крестьянина, а городского рабочего, хотя и видели в рабочем только распространителя социалистических идей «в народе». В рабочей среде лавристы вели пропаганду этих идей и, естественно, в большей мере, чем бунтари, могли удовлетворить потребность передовых рабочих в знаниях, в знакомстве с западноевропейским рабочим движением.

Халтурин стал усердно посещать собрания кружка лавристов, читал их сборники «Вперед». Начиная с первого тома в этих сборниках печаталась капитальная работа Лаврова «Очерк развития Международной ассоциации рабочих». Халтурин жадно впитывал в себя факты деятельности I Интернационала, о которых сообщал Лавров, изучал выдержки из газеты «Voksstaat», в которой сотрудничали Маркс, Энгельс, Либкнехт. Именно в первом томе сборника натолкнулся Степан на Эйзенахскую программу германской социал-демократической партии, сыгравшую в дальнейшем такую большую роль в формировании политических взглядов Халтурина.

Лавристы дали Степану много, и он всем сердцем привязался к этим «добродушным мечтателям».

Петербургский кружок лавристов имел неплохую библиотеку, хранившуюся у Мурашкинцева. Купеческий сын Мурашкинцев был легальным, в его обширной квартире было достаточно места для того, чтобы спрятать книги. Именно с Мурашкинцевым Халтурин сошелся ближе всего, аккуратно посещая библиотеку. Здесь, на квартире Мурашкинцева, бывали и другие петербургские рабочие. Библиотека лавристов была чисто интеллигентским предприятием, рабочие хотя и пользовались ею, но не имели никакого касательства к ее работе.

У Мурашкинцева познакомился Халтурин с Лукой Ивановичем Абраменковым. Лука Иванович был на четыре года старше Степана и уже шесть лет работал ткачом на различных фабриках Петербурга. В последние годы Абраменков отошел от лавристов, но продолжал пользоваться их

библиотекой, так же как и его друг Василий Иванович Мясников, рабочий-столяр с Семянниковского завода. Вероятно, через Мясникова и Абраменкова Халтурин сошелся с Дмитрием Николаевичем Смирновым. Это был выдающийся рабочий, ко времени знакомства с Халтуриным ему было уже двадцать восемь лет. Хороший слесарь, Смирнов с 1873 года слесарил в инструментальном отделе Трубочного (патронного) завода. На патронном заводе существовал рабочий кружок, в который входило человек сорок, имелась и своя библиотека.

Чаще всего Халтурин и Смирнов встречались где-либо в трактире на рабочей окраине. Заказывали чай или бутылку портера, кое-какую закуску и беседовали. Смирнов был своего рода живой летописью рабочего движения начала 70-х годов в Петербурге. Халтурин слушал его молча, с горящими глазами.

— Да, Степан, не много лет прошло с тех пор, как я свел знакомство с интеллигентами из свободомыслящих, а сколько воды утекло, скольких людей узнал — и не счесть. Я еще в семьдесят втором году стал посещать занятия кружка студента Медико-хирургической академии Низовкина. Собирались у него на квартире на Астраханской улице. Народ подобрался выдающийся, приходил Виктор Обнорский, слышал о таком?

Халтурин кивнул головой. Конечно, слышал. Многие знали одного из организаторов Южнороссийского рабочего союза в Одессе. Степану даже удалось прочитать программу этого союза. Она произвела на него неизгладимое впечатление, провозглашая создание самостоятельной рабочей организации, с отличными от народников задачами и целями.

— Вот и Мясников, твой дружок, тоже начинал в этом кружке. Но больше всего было нашего брата, с патронного: Алексей Петерсон, Графов, Виноградов, Семен Волков, — этих ты еще не знаешь, дай срок, познакомишься, народ стоящий. Сходки устраивали в трактире «Петушок». Там бильярдная есть, так мы из нее свой клуб сделали. Бывало, соберется человек двадцать, двое играют да нарочно погромче кричат: «Туза направо в угол!», — а один вполголоса листовку читает или о политике толкует. Там, над трактиром, один наш рабочий жил, так в апреле 73-го года у него человек тридцать сошлось, вот я тогда предложил свою библиотеку и кассу самопомощи основать. Согласились. По рублю с человека ежемесячно стали собирать, а меня кассиром избрали. Библиотека наша славилась на весь рабочий Питер. Ее сначала на квартире Низовкина держали, а как он в семьдесят третьем же году отъехал из города, роздали по районам: в Василеостровский, Выборгский, Колпинский, Невский. Большое дело начиналось. Ведь как бы своя рабочая организация нарождалась. Бунтари

нами заинтересовались, Кравчинский да Чайковский лекции читали, князюшка Кропоткин приходил. А других мы не пускали, уж очень ребята неодобрительно смотрели на их проповеди в народ идти. Тут есть один рабочий, Иван Бачин, прелюбопытнейший мужик. Интеллигентов не любит, страсть. Князя Кропоткина прямо-таки травил, а нам заявлял, что «от студентов следует брать книги, а если они будут учить вздору, то их за это надо бить». Но это зря, конечно.

Халтурин жадно слушал. Теперь для него прояснялось прошлое рабочего движения Петербурга. И что поражало Степана, так это стремление рабочих и здесь, в столице, и на юге создать свою рабочую организацию, отличную от народников.

А народники только-только стали задумываться, что им нужна своя партия.

Постепенно в голове Степана стал складываться план действий. Пока это даже и планом назвать было трудно — мечты. Халтурин уже мечтал создать свою рабочую организацию, свой союз, объединить в нем как можно больше членов, весь рабочий люд столицы — вот тогда они сила. Но Степан понимал, что до этого еще далеко. Самому Халтурину нужно было еще как следует войти в рабочую среду, к людям приглядеться, познакомиться с такими, как Смирнов, Мясников, о программе поговорить. Работы непочатый край, но Халтурин работы не боялся.

Однажды Мясников повел Халтурина на Выборгскую сторону в трактир «Петушок».

«Петушок» ничем не отличался от других, подобных ему трактиров. Полуподвальное помещение, хотя и просторное, несколько комнат, где стоят столы для обедающих. Никаких скатертей — клеенки, пахнет кислыми щами, водкой, душно и шумно. Из окон видна мостовая, по которой громяют телеги. Из бильярдной валят клубы табачного дыма, раздаются взрывы хохота, заглушающие щелканье шаров.

Когда Степан и Мясников разделись и вошли в трактир, первый, кто им бросился в глаза, был Смирнов, сидевший за столиком с каким-то молодым человеком, судя по внешности — студентом. Их окружал добрый десяток рабочих. Смирнов был сдержан, зато студент горячился.

— Кто это? — тихо спросил Халтурин у Мясникова.

— Повезло тебе, брат, это Михаил Родионович Попов, бывший студент Хирургической академии, он из Ростова проездом. Не смотри, что молод, а толковый малый, говорит интересно, давай послушаем.

Между тем Попов разошелся:

— Вы говорите — рабочий, ему будущее принадлежит. А где этот ваш

рабочий? В России восемьсот тысяч промышленных рабочих и сто миллионов крестьян. Кто же, по-вашему, будущее российское сотворит? Оно, брат, в навозе деревенском золотом просвечивает, а не стелется по небу дымом из фабричных труб! Так-то!

И не успел его собеседник возразить, как Попов замахал руками, затряс головой, схватил Смирнова за лацкан пиджака и с неожиданной силой повернул к окну.

— Вы посмотрите, толкуете, что Питер купцом завоеван, фабричными стенами от мира отгородился, как тюремными кордонами, а много ли вы увидите рабочих через эти окна? А ведь мы на рабочей окраине.

Халтурин и Мясников невольно повернули головы к окну и сначала ничего не поняли: в окна были видны только ноги людей, проходящих мимо. Приглядевшись, Халтурин заметил, что редко-редко перед окном мелькал сапог мастерового или какая-нибудь более изящная обувь. Зато как часто заслоняли скудный свет, проникавший в окно, простые деревенские лапти. И, как бы подтверждая это наблюдение, Попов воскликнул:

— Видите, видите лапти! Нет, нет, вы смотрите, смотрите на эти лапти! Они Русь олицетворяют, и прошлое ее и будущее.

— Да погодите, Михаил Родионович, — откликнулся до сей поры молчавший Смирнов. — Лапти-то пол-России носит, это верно, да только наполовину верно, в отношении прошлого, а вот насчет будущего я с вами не согласен. Вы лучше ответьте мне на вопрос, зачем это сермяжному лапотнику в Питер понадобилось, Питер не деревня, на Невском огорохов не разведешь, а на Садовой не посеешь хлебушка. Лапотник сюда пришел, чтоб на работы наняться, издалека пришел. Вон, видите, прошел в лаптях, на туфли похожих, это чуни-опорки, в них белая кора березки с ярко-зеленой чередуются вдоль и поперек, ковер напоминают. Это тамбовские. А вот вам и другие пожаловали. Эти сделаны поосновательней, подошва в них, видишь, подковырена в три лыка, слой на слое туго, а кроме того, еще слой — самый нижний — из крепко скрученных кудельных или крапивных веревок, чтоб век износа не было. Эти лапти повсюду встретить можно. Тут по лаптям все российские губернии познаешь. Вон, видите, лапти с кочетами — это мордовские, их в воскресенье в церковь надевают. А вот на будущий год эти самые лапти сапогами обернутся, и ваш крестьянин хваленый рабочим на фабрике делается. Вот и выходит, что хоть крестьян на Руси-то и много, да уменьшается их сословие, а число рабочих день ото дня растет и все за счет того же лапотника.

— Вы, Михаил Родионович, не глядите, что мы меньше вашего прочли, а все же читали, и не одни ряженые брошюры, мы и



Чернышевского знаем, Лассаля с Прудоном тоже почитывали. И все же не верится как-то, что сельский житель социалист да, как вы изволите говорить, человек будущего. Мы, рабочие, на себя больше надежды имеем. Ваш брат, интеллигент, вон в народ ходил, а что выходил — крестьяне-то не взбунтовались. Да о чем толковать, сами знаете. А поглядите, что в это время в городах, на фабриках и заводах делается? Обо всей России мне неизвестно, да вот в одном Питере в семьдесят четвертом году было десять стачек, да в этом году на Семянниковском заводе две с половиной тысячи рабочих бастовало, а в январе волнения были на Максвелле, и это после того как многих рабочих, кто был связан с вами, арестовали, выслали на родину.

Степан сидел на кончике стула, внимательно слушая собеседников, поглядывая на них исподлобья умными глазами, в которых по временам появлялось выражение добродушной насмешки.

— Михаил Родионович, в прошлый раз, когда мы виделись с вами, вы собирались в Мелитополь в народе агитировать. Как сходить-то удалось? — В словах Смирнова была скрытая ирония, он собирался продолжить спор с Поповым и подзадоривал его.

Но к удивлению слушателей, Михаил Родионович расхохотался, невольно заражая весельем рабочих.

— И не говорите, вот «сходили» так «сходили», едва ноги унесли. Я-то еще ничего, к деревне привычный, а у меня дружок один, в Павловском училище на офицера готовился, потом утопил свой мундир в Неве да и подался с товарищем за Дон, на рыбную ловлю наниматься. А надо вам заметить, происходит он из богатой дворянской семьи и делать толком ничего не умеет. Пожил он этак недельку в рабочем бараке и нашел на своей рубахе вшей. Удивился.

«Первый раз, — говорит, — белых блох вижу», Ну, конечно, рабочие его на смех...

Трактир так и грохнул хохотом, из бильярдной выскочили игроки послушать, что рассказывает студент. А Попов продолжал:

— Застал я его на берегу Дона, где мы должны были встретиться. Смотрю, что за чертовщина, бегают два здоровенных детины друг за дружкой, один визжит, а другой, ровно как гусак какой, гогочет. Пригляделся, вижу в руках у одного змея, мертвая, конечно, и вот он старается змею эту за шиворот моему другу засунуть. А тот бледный и удирает во все лопатки. Окликнул их, спрашиваю: «Что это вы делаете?» А тот, кто змею держал, и отвечает: «А вот подготавливаю его в народ. Боится змеи, что за народник из него!»

Хохот в трактире заглушил последние слова Попова, стекла и посуда жалобно звенели.

Халтурин, смеясь со всеми, никак не мог понять, почему Попов, убежденный пропагандист, ходивший в народ, чуть ли не издевается над неприспособленностью и незнанием народа со стороны своих товарищей.

Между тем это было не случайно. Из «большого похода в народ» в 1874–1875 годах народники возвратились обескураженные, значительно растеряв свои ряды в результате правительственных репрессий. Крестьянин не поднялся на бунт и не внял социалистической пропаганде. Это вселяло уныние и растерянность. Кое-кто пытался себя утешить: «де-мол, крестьяне нас не поняли», но большинство пропагандистов честно признались, что не знают крестьянина, не понимают его. Народники, обращаясь к крестьянам, проповедовали им бунт во имя социализма, а крестьянина интересовала земля. Ему мерещилась и воля, но деревня ее понимала по-своему. Вольные — значит свободные от тягостных выкупных платежей, невыносимого состояния «временнообязанных», все еще гнущих спину на помещичьей запашке. Вольные от помещичьей кабалы — дальше этого крестьянин и не заглядывал. Такие неутешительные выводы требовали перестройки всей работы с народом, изменения тактики.

Пересматривая тактику, решили, что нужно вместо пропаганды социализма и анархии вести агитацию на основе «народных требований» сегодняшнего дня. Крестьянин мечтал о земле и воле от помещика — это было его требование, оно должно было стать требованием народников, их программой. Второй вывод напрашивался сам: нельзя расшевелить крестьянина на бунт «кавалерийским наскоком», «летучей», «бродячей» пропагандой. С «истинным социалистом» необходимо длительно работать, общаться ежедневно, ежечасно. А потому не хождение в народ, а поселение в народе — вот новая тактика, новый способ действия.

Теперь, как бы опомнившись, народники заговорили о необходимости крепкой централизованной организации, которая направляла бы деятельность поселенцев, помогала бы им деньгами, литературой, охраняла бы от репрессий правительства. В 1876 году началось создание такой организации, которая позже, с появлением журнала «Земля и воля», получила то же название. Создателями народнической партии были Марк Натансон, Александр Михайлов, Дмитрий Лизогуб, Георгий Плеханов, Валериан Осинский, немного позже к ним присоединились Вера Фигнер, Юрий Богданович и многие другие.

Но «хождение в народ» оставило неприятный осадок в умах этих людей. Поколебалась вера в народ, в крестьянина, появилось смутное

сознание своей оторванности от народа. И, как бы страхуя себя и будущее революционное движение от «инертности масс», землевольцы резервировали в своей новой программе пункт, говорящий о «дезорганизаторской деятельности» против правительства, пока еще стыдливо скрывая за этими словами допустимость и необходимость борьбы террористической, борьбы с отдельными представителями царской администрации, но не террора во имя завоевания политической власти. Об этом пока еще не думали. «Террор был заговором интеллигентских групп. Террор был совершенно не связан ни с каким настроением масс. Террор не подготовлял никаких боевых руководителей масс. Террор был результатом — а так же симптомом и спутником — неверия в восстание, отсутствия условий для восстания»<sup>[2]</sup>. Так наметился теоретический отход народников от народа, практически же это означало ослабление их деятельности прежде всего в среде городского пролетариата.

\*

В конце 1875 года Халтурин при помощи все того же Котельникова устроился на работу в мастерскую наглядных пособий, организованную нечаевцами Л. и П. Топорковыми. Но эта работа совсем не удовлетворяла Степана. Проводя целый день в мастерской, где трудилось еще несколько распропагандированных нечаевцами рабочих и бывших студентов, Халтурин чувствовал себя одиноким, оторванным от рабочего мира фабрик и заводов Петербурга. А он уже не мог быть вне рабочей среды. Период ученичества в революционном пролетарском движении для Степана заканчивался. Халтурин сознавал, что он может быть полезен этому движению и искал более широкого поля деятельности. Поэтому в марте 1876 года Степан переходит работать столяром на Александровский механический завод Главного общества российских железных дорог.

Первый раз в своей жизни Халтурин очутился на большом предприятии, где работало более тысячи человек. Столяр из Степана был отличный, и среди рабочих его скоро признали и как мастера своего дела и как душевного, хорошего человека. Халтурин всегда был готов помочь товарищам. Лишних денег у Степана никогда не водилось, но, видя нужду многосемейных, он всегда делился с ними последней копейкой, помогал в работе.

Александровский завод привлек внимание Халтурина еще до его

поступления туда. Рабочие этого завода как бы открыли счет стачкам 1876 года. В январе они бурно протестовали против новых правил, введенных управляющим заводом американцем Проттом.

Халтурин, освоившись на заводе, стал разыскивать людей, которые, как он был уверен, подготовили выступление 7 января.

Как-то раз, засидевшись в трактире с рабочим Алексеем Агафоновым, Халтурин с удивлением узнал, что тот недавно вернулся из тюрьмы и с трудом был принят снова на завод.

— А за что же тебя в тюрьму-то посадили?

— Как за что? Иль ты новенький на заводе?

— То-то и оно, что новенький, в начале марта нанялся.

— Ну, а о бунте нашем, январском, слыхал, конечно?

— Слыхал, но ты расскажи по порядку.

— Да дело обычное. Протт отличился, как всегда. Этот американец только тем и живет, что нашего брата прижать норовит посильнее. Новые правила ввел, это уже третьи с тех пор, как я на заводе. Если кто теперь во время работы какое увечье получит и в больницу поляжет, так тому денег не платят, а ранее мы половину жалованья получали. Потом, значит, даровой проезд по железке для нас отменил, а сам знаешь, чего билет стоит. Но главное, ныне все на жалованье, а раньше поштучно задельную получали... Ну вот, седьмого января рабочие, как по сговору, на работу не пошли. Собралось нас с тыщу у ворот и «кошачью свадьбу» управляющему учинили. Свистели, выли, матерщиной его обкладывали, а я громче всех. Часа в три нас разогнали, а я, Мишка Евстигнеев, Федька Дроздов, Василий Петров да Сашка Тимофеев заарестованы были.

— Эх вы, «кошачья свадьба»! Нужно было сговориться-то раньше промеж себя да стоять потом за один. Требования начальству на стол выложить и не расходиться.

— Э, малый, да ты, как я погляжу, дока бузу тереть. Только смотри, народишко у нас на заводе темный, начальников страх как боится, за свою рубаху держится, с такими не сговоришься.

— Ну, это ты напрасно, народ у нас такой же, как и на других заводах, а что темный, так сами виноваты. Много есть книг, где о нас, о рабочих, писано, вот и почитали бы!

— Какое там «почитали»! Небось половина рабочих наших «аз» да «буки» через пень колоду складывают, не то чтобы книги мудреные читать. Деревенских много, и все неграмотные.

— А ты бы взял и почитал. Читать-то умеешь?

— Плохо.

— Хочешь, я тебе сейчас сказку одну прочту, написал ее золотой человек, он за народ всей душой стоит, народу глаза на правду открывает.

— А ну, давай. Эй, ребята! — закричал Агафонов рабочим, закусываящим за столиками. — Слушай сюда, да не гомоните.

Рабочие замолчали, с интересом ожидая, что будет дальше.

Халтурин немного смутился, ведь это было его первое «публичное выступление» среди настоящих рабочих людей. Рабочие ждали, Агафонов подпер ладонями подбородок и смотрел Степану в рот.

Халтурин достал из кармана тетрадку, где была переписана «Сказка о копейке», сочиненная Сергеем Кравчинским. Начал читать, голос от волнения прерывался, иногда глох или внезапно звучал звонкими, чистыми нотами;

— «...Стал черт думать крепкую думу: как бы ему испортить род человеческий. Семь лет думал черт, не ел, не пил, не спал... и выдумал попа. Потом еще семь лет думал и выдумал барина. Потом еще семь лет думал и выдумал купца. Тошно тебе жить от помещиков, попов и начальства всякого, а от купцов да мироедов и того тошней. Содрал с тебя поп поросенка, а купец уже тут как тут: один содрал с тебя улей меду, а другой так и портки с тебя снял. Заставил тебя барин плотину чинить, а купец уже тут как тут — сруби ему избу. Поп сдерет блин, купец — каравай. Барин сдерет сноп, купец копну...»

— Вот я и говорю, под помещиком да попом легче живется, чем под купцом! — воскликнул, не дослушав до конца сказки, здоровенный детина в лаптях, черной косоворотке, подстриженный в кружок. В нем все выдавало вчерашнего крестьянина, еще не освоившегося с жизнью в городе, с работой на заводе.

— По сказке выходит так... — растерянно протянул Агафонов и недоумевающе посмотрел на Степана.

В первый момент Степан даже растерялся, он никак не ожидал такого вывода из сказки. Для него самого вывод был ясен, хотя автор и не сформулировал его. Но через секунду Халтурин понял, что эти рабочие, недавно пришедшие на завод из деревни, никогда ничего не читали, не задумывались над будущим, ни о чем не мечтали, кроме как бы землицы побольше приобрести да податей уплачивать поменьше. Жизни же без барина, без попа они себе просто не представляли.

Между тем в трактире воцарилась настороженная тишина. Если б Степан не был так взволнован, то, наверное, заметил бы, как несколько пожилых рабочих прятали в усы добродушные улыбки, с хитроватым любопытством поглядывая на Халтурина — как он вывернется. Но Степан

видел только растерянный, недоумевающий взгляд Агафонова, а в ушах звучали его безнадежные слова: «выходит так...»

— Да нет же, не выходит, ужели ты не понял, это же так просто. Никто с тебя ни поросся, ни караваев, ни копен брать не будет, когда всех попов, бар да купцов в шею прогонят. А кому гнать-то, дяде? Нет, брат, если ты, я, все мы за них не возьмемся, сами они не уйдут.

— А может, и без нас выгонят, студенты да земцы всякие, они грамотные, знают, как за бар браться? — Степан обернулся на голос. Перед ним оказался плотный стройный рабочий. Высокий лоб закрывала копна белокурых спутанных волос, рубаха на груди была расстегнута, глаза смотрели с откровенной насмешкой.

Степан взорвался. При всем его уважении к интеллигентам, революционерам-народникам Халтурин не верил, что они могут обойтись без народа и прежде всего без рабочих. По этому поводу Степан не раз спорил с Котельниковым. Тот прямо обвинял Степана, что он «недолюбливает интеллигентов». Но это было не так. Халтурин умел отличать модный революционизм от искренних революционных убеждений. И если у Халтурина была известная настороженность к интеллигенции, то это было просто недоверие рабочего к представителям угнетающего класса, а не революционера к товарищу по борьбе.

Халтурин хотел было отчитать белобрысого рабочего, но, еще раз взглянув на него, вдруг понял, что перед ним типичный недоучившийся студент из числа тех, кто бросил учебные заведения и ушел в народ, работая на фабриках, в мастерских, засев писарями в волостных правлениях. В Халтурине заговорил молодой задор, он чувствовал, что может помериться силами с этим переодетым студентом.

— Ваш брат, студент, играет в революцию, устраивает вспышки, пока в университете учится, а как добьется диплома, то и забывает о том, что проповедовал в студенческие годы-то.

Рабочие сочувственно загудели, им явно понравился этот молодой задорный мальчик, так ловко осадивший переодетого студента. Между тем белокурый не обиделся, а весело хлопнув Степана по плечу, подсел к его столу.

— Давай-ка, брат, поближе знакомство сведем, я тут всех знаю, а вот тебя приметил впервой. Как звать-то?

— Халтурин, Степан.

— Ну, а меня Андреем. Ты, брат Степан, не то место выбрал, чтобы сказочки такие читать. Это тебе не про попа и балду, тут недолго и самому без головы остаться. Заходи-ка ко мне, побеседуем.

Халтурин с интересом рассматривал нового знакомого. Теперь он уже не сомневался, что перед ним студент, разночинец, и даже его нарочито простоватая речь не могла обмануть Степана.

— А где ты работаешь?

— У Голубева, слесарем.

— А учился где?

Андрей опять засмеялся. Ему нравилась настойчивость нового знакомого, его верный глаз на интеллигента.

— Так и быть, скажу. Из студентов я, учился сперва в Гатчинской учительской семинарии, а потом в Петербургском учительском институте. Только не доучился, с первого курса на завод ушел.

Халтурин понимающе кивнул головой. Ведь и он не окончил Вятское училище, ушел, чтобы заниматься насаждением революционных, а не сельскохозяйственных и технических знаний, к чему его готовили.

Так произошло знакомство с Пресняковым, а уже через несколько дней Степан сделался членом общества друзей, куда входили наиболее передовые и влиятельные рабочие столицы.

На квартире Андрея Корнеевича Преснякова, жившего на Выборгской стороне, Степан познакомился с рабочими. Здесь бывал Степан Андреевич Шмидт, слесарь с Балтийского завода. Халтурин любил с ним разговаривать. Степан Андреевич, бесспорно, был одним из самых образованных рабочих своего времени. Он не только много читал, но охотно делился приобретенными знаниями. Одним из первых среди рабочей «интеллигенции» Шмидт прочел первый том «Капитала» Маркса и стал пропагандировать его экономические идеи. Среди членов общества друзей оказался Дмитрий Смирнов, а также Алексей Петерсон с патронного завода, токарь с завода Макферсона Василий Шкалов, слесарь с Балтийского Александр Фореман, Николай Обручников и другие. Среди этих передовых рабочих окрепли и проявились во всем блеске скрытые до поры до времени способности Халтурина. Степан не любил «душевных излияний», близко сойтись с ним можно было только на деле. В этом отношении Халтурин ничем не отличался от большинства рабочих, которым вообще некогда вдаваться в те бесконечные собеседования, которыми любит услаждаться «за чаем» «интеллигентная» публика, выворачивая наизнанку душу. Это не значило вовсе, что Халтурин не любил побеседовать, нет, но никогда в разговоре Степан не изображал из себя парня «душа нараспашку». Более того, Халтурина можно было назвать человеком сдержанным. Даже среди рабочих во время кружковых собраний Степан выступал редко и неохотно. Но если дело не клеилось или когда

собравшиеся говорили что-нибудь несообразное, уклонялись от предмета обсуждения, Халтурина прорывало. Без лишних слов, просто, толково, но горячо, он как бы резюмировал выступление, и, как правило, после него говорить уже было не о чем.

Мало-помалу кружковцы привыкли к тому, что речью Халтурина завершаются прения. Вначале, когда еще Степан только знакомился с членами рабочих кружков на Балтийском заводе, Василеостровском патронном, Семянниковском, товарищи, впервые слушавшие Степана, удивлялись — ведь и среди них были люди, знавшие не менее, чем Халтурин, некоторые и за границей побывали, а вот, поди же, никто не может так хорошо уловить общее настроение, так отчетливо сформулировать практические задачи. И дело было не только в исключительности Халтурина, хотя, познакомившись с ним, землевольцы Кравчинский, Попов, Натансон считали Степана личностью выдающейся. Тайна огромного влияния, которое Халтурин вскоре приобрел в рабочей среде, заключалась в том неутомимом внимании, которое проявлял он ко всякому делу. Если предстояла сходка, то задолго до нее Халтурин не ленился обойти участников, где бы они и как бы далеко ни жили, переговорить со всеми, настроения выяснить, потом самому все обдумать. В результате Степан всегда оказывался лучше всех подготовленным, выражая не только свое личное мнение, но и общие настроения. Халтурин был человек скромный и даже застенчивый, но уже к лету 1876 года его влияние в рабочей среде стало исключительным. Связанные с рабочими землевольцы стали в шутку называть Степана «диктатором».

Как-то само собой получилось, что молодой, девятнадцатилетний рабочий был признан старшими товарищами руководителем. Те же, кто вступал в рабочие кружки заново, знакомясь с Халтуриным, и не предполагали, что Степан сам недавно был в положении «ученика».

Перед Халтуриным раскрылась вся сеть рабочих кружков, существовавших в столице. Их было несколько в различных районах города и на отдельных заводах. Все эти кружки связывались друг с другом посредством центрального кружка, в который входили рабочие, ведущие пропагандистскую деятельность с 1872–1874 годов, люди с революционным опытом и закалкой.

Обычно центральный кружок собирался по воскресеньям на квартире рабочего Балтийского завода Антона Карпова, проживавшего на 15-й линии Васильевского острова в доме № 20. В конце мая 1876 года на одном из таких собраний была основана библиотека, подобная той, которую раньше создали Смирнов и Низовкин, но пока еще только для членов центрального



кружка. Решено было собирать с рабочих по рублю в месяц на покупку книг. Кассирами библиотеки избрали того же Дмитрия Смирнова и только что выпущенного из тюрьмы без права выезда из Петербурга Семена Волкова.

Семен Волков до своего ареста работал слесарем в инструментальной мастерской Василеостровского патронного завода и называл своих приятелей по заводскому кружку «наша аристократия». Аристократы с патронного, такие, как Алексей Петерсон, Дмитрий Чуркин, Савельев, Карл Иванайнен, Антон Городничий, Игнатий Бачин, были люди начитанные и в революционном движении уже не новички. Их хорошо знали чайковцы, через них поддерживалась связь с «Землей и волей». На квартире Волкова иногда ночевал Кравчинский. Нелегальный с 1873 года Сергей Михайлович после участия в Герцеговинском восстании и волнениях в Италии не мог, конечно, рассчитывать на снисхождение русских властей. Приходилось чуть ли не каждый день менять места ночевки, но Кравчинский не унывал. Когда Халтурин сошелся с ним поближе, Сергей Михайлович с большим юмором рассказывал Степану свои приключения:

— Вы, Степан Николаевич, меня за неосторожность корите, оно, может, и правильно, да не вы первый. Еще в семьдесят третьем году князюшка Кропоткин прозвал меня младенцем за то, что я о своей безопасности думаю мало. А когда о ней думать? Иногда мне кажется, что чем больше о спасении собственной шкуры печешься, тем скорее в лапы полиции угодишь. Помню, такой случай. Я на сходку опаздывал, а идти далеко было, если темными переулками пробираться. Свернул на Литейный, а там народищу на тротуарах — не протолкнешься. Выскочил я тогда на середину улицы и марш-марш галопом. Смотрю, на меня озираться стали, даже останавливаются. Что, думаю, удивительного в том, что человек опаздывает, а потому бежит. Вдруг слышу: «Гляньте, вор, ей-богу, вор, только под мужика наряжен». Мать честная, ну, решаю, влип Сергей Михайлович, ведь забыл о том, что на мне полушубок, валенки да шапка-ушанка. Вот тут я припустил, уж не помню, как до дому добрался...

Халтурин смеялся, но продолжал дружески журить Кравчинского. И не случайно заговорили они о безопасности тех, кто занимался революционной деятельностью. Летом 1876 года участились аресты, коснулись они и некоторых членов центрального кружка. Так, полиция арестовала Луку Ивановича Абраменкова за распространение нелегальной литературы. Дмитрий Смирнов заметил, что за ним усилена слежка. Сначала Халтурин никак не мог понять, каким образом полиция пронюхала о собраниях на квартире Карпова, но потом, сопоставив факты, пришел к

выводу, что полицию навели на след кружка землевольцы, ведущие занятия с рабочими.

Подготавливая «большой процесс» над народниками, правительство выпустило некоторых из них на поруки, без права выезда. Этим «либеральным жестом» царизм хотел привлечь на свою сторону симпатии общества, а заодно, установив слежку за очутившимися на свободе революционерами, выявить их связи, нащупать организацию, чтобы потом одним ударом расправиться с ней.

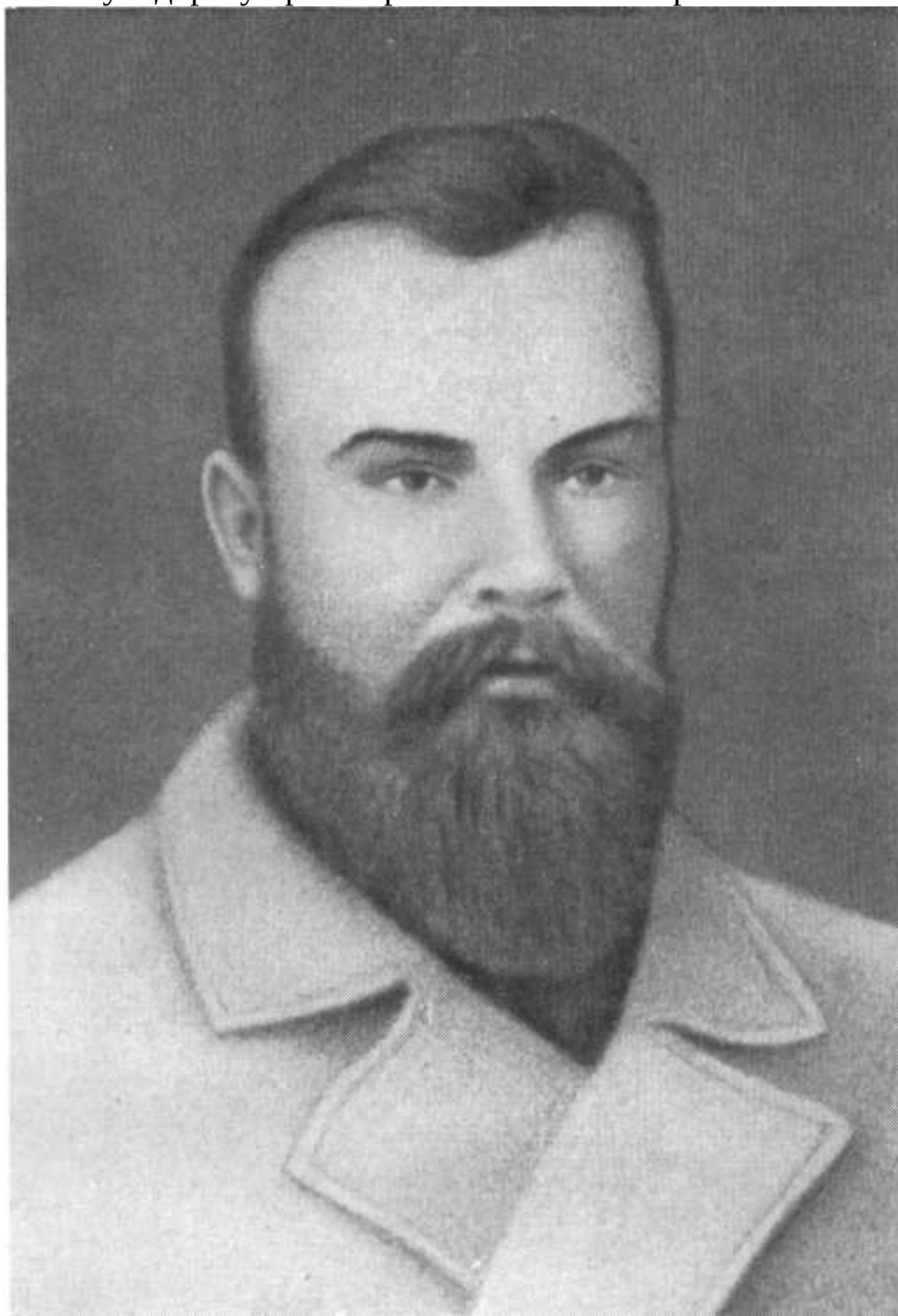
Вырвавшиеся из тюремных застенков народники вновь с головой окунулись в революционную работу. Некоторые перешли на нелегальное положение, жили по фальшивым паспортам в Петербурге или тайком покидали столицу, чтобы поселиться в деревне, ведя длительную, настойчивую пропаганду среди крестьян.

Центральный кружок рабочих, создавшийся без помощи и участия землевольцев, только использовал народников в качестве лекторов-беседчиков. Далеко не все землевольцы знали о существовании кружка. Здесь бывали «Очки», как прозвали рабочие Марка Натансона; «Дед», под этим прозвищем среди рабочих был известен Николай Николаевич Хазов, имевший действительно роскошную черную бороду; своим человеком был и Кравчинский, хотя Сергей Михайлович захаживал на собрания реже других.

Натансона уважали, но недолюбливали. Марк Андреевич все еще считал рабочих темными, невежественными людьми, которых нужно просвещать, и по-прежнему стремился соблазнить их поездкой на поселение в деревни, даже деньги на этот случай обещал. Натансон читал «Хитрую механику», «Пугачева», а рабочие подсмеивались над ним и с нетерпением ожидали Деда.

Хазов же действительно пользовался любовью этих передовых пролетариев столицы. Он всегда рассказывал что-то новое, обычно черпая материал из иностранной прессы, обобщая опыт пролетарского движения на западе. Николай Николаевич подчеркивал, что только открытая борьба пролетариата Англии и Франции позволила им добиться улучшения своего благосостояния, уменьшения рабочего дня и т. д. Иногда Натансон и Хазов приходили вместе, и один, слушая другого, не выдерживал, начинал возражать, завязывалась дискуссия, в которую втягивались и рабочие. Эти дискуссии лишней раз показывали Халтурину и другим кружковцам, что им не по пути с бунтарями-землевольцами. Но, с другой стороны, Халтурин и его товарищи чувствовали себя еще недостаточно сильными, сплоченными, чтобы вырваться из объятий народников, выйти на

самостоятельную дорогу пролетарской классовой борьбы.



В П. Обнорский.



П. А. Моисеенко.

К лету 1876 года Халтурин пришел к выводу, что пора сливать все кружки Петербурга в одну организацию, в рабочий союз. Эту мысль одобрили члены кружка. У Халтурина не было еще четкого плана создания союза, не хватало и опыта. И то и другое было в запасе у замечательного деятеля рабочего движения России 70-х годов Виктора Обнорского.

О Викторе Павловиче Обнорском знали почти все члены различных кружков пролетарского Питера, но мало кто из них мог бы при случае описать его внешность или похвалиться, что в такой-то день и час разговаривал или встречался с ним.

Обнорский вел очень замкнутый образ жизни, Целиком посвятив себя революционной деятельности. Если Виктор Павлович устраивался на завод или фабрику, то не потому, что не мог жить без работы, а чтобы завязать связи с рабочими, создать кружки. У Обнорского не было тех организаторских способностей, которые отличали Халтурина, зато он обладал более глубокими теоретическими познаниями, имел широкие и разнообразные связи с русскими и иностранными деятелями революционного движения. В 1873–1874 годах Обнорский побывал за границей, познакомился там с Лавровым, вошел в контакт с эмигрантскими кругами русских революционеров. В 1875 году, вернувшись в Россию, Обнорский принимал участие в создании Южнороссийского рабочего союза, хотя практически в нем не работал, уехав за границу. В 1876 году Обнорский несколько месяцев жил в Петербурге, принимая участие в деятельности рабочих кружков.

Обнорский долго приглядывался к Халтуруину, некоторое время не выдавая себя. Он привык к конспирации, с людьми сходил только после всестороннего изучения человека. Но обаяние Степана, его порывистость и энтузиазм революционера очень скоро преодолели осторожность Виктора Обнорского, и Халтурин с удивлением и восхищением узнал, что под именем скромного рабочего Козлова скрывается Обнорский. Теперь Степан знал, к кому обращаться за советом и поддержкой. План создания рабочего союза обрел ощутимые формы.

Виктор Павлович подсказал Халтуруину и его товарищам по центральному кружку организационные формы сплочения пролетарских сил не только столицы, но и других промышленных центров страны. Создать в России организацию наподобие I Интернационала было еще невозможно, поэтому Обнорский считал, что организационные формы Южнороссийского союза будут наилучшими и для других городов.

Степан Халтурин деятельно принялся за сколачивание этой

организации. Центральный кружок вскоре превратился в руководящий центр, направляющий всю работу местных, районных и заводских кружков. Каждый местный кружок по мере сил своих и возможностей вовлекал новых членов, приобщал их к пропагандистской деятельности, но не связывал с центральной, руководящей группой. Только это ядро организации знало все кружки и их членов.

Халтурин ревниво оберегал независимость возникшей рабочей организации от землевольцев. Правда, интеллигенция особо не вмешивалась в дела местных кружков, она лишь доставляла рабочим книги, помогала подыскивать конспиративные квартиры для заседаний, выступала в качестве лекторов.

У землевольцев своих дел было по горло, они только-только приступили к организации поселений, особенно на Дону среди казаков, а также между старообрядцами. Народники по-прежнему игнорировали рабочих как революционную силу, в этом они были последовательны, и потому снова и снова пытались «раскачать» крестьянина. Только небольшая группа землевольцев, которая так и называлась «рабочей», продолжала поддерживать связи с фабричным людом, по-прежнему стараясь склонить его поехать на поселение. Но теперь среди рабочих было еще меньше охотников слушать эти призывы. Они связывали свои надежды на будущее с растущим, оплачивающим свои ряды рабочим союзом.

Даже те из рабочих, которые недавно пришли из деревни, после нескольких лет работы в городе на заводе неохотно возвращались домой.

В конце 1876 года, как всегда в воскресенье, на квартире Карпова собралась руководящая группа центрального кружка. Ждали Натансона, он предупредил, что сообщит важные новости. Пока Очки запаздывал, Халтурин, не теряя времени, расспрашивал товарищей о работе районных кружков. В комнате было жарко, накурено, тесно.

Натансон, появившись и не успев даже поздороваться, закричал, размахивая каким-то письмом:

— Вот слушайте, несколько дней назад из Саратова наши написали, что уехавшие с ними на поселение рабочие с Семянниковского завода устроились кузнецами и уже ведут агитацию. Их слушают куда охотнее интеллигентов. Я же вам говорил, что только среди крестьян вы найдете тучную почву, на которой взойдет революционная нива.

В этот момент дверь в комнату широко отворилась и показался Игнатий Антонович Бачин. Он слышал последние слова Натансона и, не обращая внимания на шумные приветствия товарищей, направился прямо к нему. Натансон невольно попятился. Кто-кто, а он знал Бачина еще по

семьдесят третьему году и, надо сказать, побаивался его. Бачина только в июле 1876 года выпустили из тюрьмы, где он просидел полтора года за ведение «пропаганды в империи». Выйдя из тюрьмы, Игнатий Антонович отправился к себе на родину в Петергофский уезд, чтобы выправить новый паспорт. Появление Бачина у Карпова было для кружковцев неожиданным.

Между тем Бачин, загнав Натансона в угол, встал перед ним в позу бойца кулачного боя и начал отчитывать:

— Нива, говорите, революционная в деревне взойдет, нас сеятелями туда зовете. Старые песенки, слышали их в семьдесят третьем и семьдесят четвертом годах, да не подпевали. А я вот вчерась из деревни своей приехал, так едва ноги от ваших революционеров навозных унес.

Халтурин не знал Бачина, хотя слышал о нем, слышал, что тот люто не любит интеллигентов и всегда старается их задеть. Опасаясь, что Бачин может наскандалить и окончательно испортить взаимоотношения с интеллигентами, что вовсе не входило в планы рабочей организации, Халтурин подошел к Бачину сзади, схватил за плечи и могучим движением обернул к себе.

— Вот ты каков, забияка, а ну, расскажи, что у тебя там в деревне сотряслось-то?

Бачин с удивлением смотрел на молодого красивого человека с одухотворенным интеллигентным лицом. «Откуда он взялся, словно хозяин какой распоряжается, на студента похож, да больно лапы здоровые». Вид у Бачина был такой озадаченный, что рабочие рассмеялись и даже порядком напуганный Натансон не выдержал. На Бачина посыпались колкие реплики;

— Давай, давай, Игната, выкладывай все беды свои, а Марка Андреевича не трожь, а то ты как что, так в кулаки лезешь.

— Ему, видно, самому всыпали, недели дома не высидел.

Наконец Бачин, махнув рукой, расхохотался вместе со всеми.

— Вам хорошо тут ржать, а мне не до смешков было, как в деревню свою притопал. Только это я до хаты, с отцом-матерью поздороваться успел, гостинцы поднес, вдруг, глядь, в избу староста лезет, а с ним «старички». Ну, и пошла писать губерния, слово за слово, распалились, на крик перешли. Они с меня «недоимки по платежам» спрашивают, я же им толкую, что из мира давно вышел, никаких податей не плачу и за прошлое платить не собираюсь. А «старички» навалились на меня, враз скрутили руки да в «холодную». А вечером объявили, что стегать при всем народе будут. Ну, тут я им показал. «С ума, — говорю, — вы сошли. Да попробуйте только тронуть меня, я и деревню-то всю сожгу, да и вы-то голов не

сносите: сам пропаду, да уж и вы пожалеете, что связались со мной». Испугались, решили, что я в тюрьме совсем ошалел, выпустили. Ну, я оттуда дал тягу. Нет, я по-прежнему готов заниматься пропагандой среди рабочих, но в деревню никогда и ни за что не пойду.

Натансон приуныл, вновь убедившись, что пропаганда идеи поселения в народе не находит отклика, народники все более и более отдаляются от рабочих.

Рабочие, выискивая свои собственные пути в революционном движении, не понимали еще, что крестьянин должен стать союзником рабочего класса. Рабочее движение не могло еще тогда выделиться из общего потока народничества, хотя уже и противостояло ему. Стараясь освободиться от народнической опеки, рабочие отвергли самую суть народнического учения, центральный пункт доктрины «крестьянского социализма». Это и определило в то время отношение рабочих к крестьянину.

Когда к осени 1876 года рабочая организация Петербурга окрепла, Халтурин поставил перед центральным кружком вопрос о необходимости открыто заявить о своих правах. Пока не была выработана программа союза, только открытое выступление, «политическое действие» показало бы пролетарию столицы, что у них есть своя организация. Это, несомненно, привлекло бы в ряды союза новых членов.

Опыт народнического движения подсказал формы этого открытого выступления. Такой формой могла быть демонстрация с речами, со знаменем. Еще в марте 1876 года народники устроили торжественные похороны студента П. Чернышева, просидевшего около двух лет в тюрьме и умершего от чахотки.

Демонстрация эта, речь на могиле, произнесенная студентом Викторовым, произвели большое впечатление не только на учащуюся молодежь, но и на рабочих. Халтурин и его товарищи хорошо понимали, что если выбрать момент, то своя рабочая демонстрация привлечет пролетариев, будет способствовать их сплочению.

Поздней осенью такой момент наступил. В Петербурге, на заводах и фабриках, началось сокращение производства, хозяева пачками выбрасывали рабочих на улицу, устроиться на работу стало почти невозможно. Рабочие были возмущены — самое время заявить о своем недовольстве открыто, посредством демонстрации.

Центральный кружок деятельно взялся за подготовку демонстрации. Особенно активно агитировал среди рабочих Петр Анисимович Моисеенко. Моисеенко почти одновременно с Халтуриным приехал в Петербург из



Орехово-Зуева, где принимал участие в работе кружков, и сразу же вошел в кружок Халтурина, вскоре по праву заняв свое место среди руководителей рабочего движения столицы. Небольшого роста, белокурый, с рябинками на лице, Моисеенко поспевал всюду. Для того чтобы демонстрация состоялась, нужно было провести большую работу среди пролетариев. Центральный кружок с конца ноября целиком посвятил свои усилия организации демонстрации. Ее предварительно наметили на 6 декабря и решили провести как чисто рабочее предприятие. Придут народники — хорошо, нет — не надо, лишь оратора решено было пригласить из интеллигентов.

Вечером 4 декабря состоялось последнее совещание. Здесь решился вопрос, быть или нет демонстрации, о которой так много спорили.

Народу собралось порядочно, пришли и народники, все больше бунтари, так как лавристы были против демонстрации. Зато рабочие районы столицы представляли самые влиятельные люди, тут были Митрофанов, Моисеенко, Халтурин, Пресняков.

Кое-кто из бунтарей опасался, что на площадь интеллигенты не придут, так как уже не верят в демонстрацию после того, как несколько раз откладывали выступление у Исаакя.

Пресняков высказал мысль, общую для всех присутствующих на собрании рабочих:

— Пусть не приходят, демонстрация состоится и без них. Мы, рабочие, ее задумали, мы и проведем, если явятся хотя бы несколько сот человек.

Моисеенко, целыми днями бегавший из района в район для переговоров с руководителями рабочих кружков, был уверен, что придут не сотни, а тысячи рабочих. Халтурин немного охладил пыл своего товарища, но тоже был уверен, что народу хватит, нужно только позаботиться об ораторе.

Натансон обещал достать оратора. Халтурин предложил поднять над демонстрантами знамя.

— Со времен Стеньки Разина народ, поднявшийся против царей, осенял себя красным стягом, и мы должны поднять его.

Натансон не согласился:

— Наша задача — привлекать к борьбе с правительством все элементы общества, вплоть до офицеров армии, либеральной профессуры, деятелей земств. Красное же знамя подействует на них, как на испанского быка. Они только разъярятся, но после этого не тронутся с места, так как хорошо понимают, что за куском материи таится тореадор в образе Третьего отделения, он несет им гибель.

Халтурин возмутился:

— Мы знамя не для быков подымать хотим, а для людей, для рабочих, а быки могут рвать и метать сколько им угодно, и без них обойдемся.

Натансон только плечами пожал. В который раз он убеждался, что перлы красноречия не трогают рабочих, от ораторов они ждут не образа, а четкой, ясной мысли. Хотя надо признать, что сравнить трусливого либерала с боевым быком испанских коррид не совсем уж удачный ораторский прием.

Вопрос о красном знамени был решен. Но бунтари стали настаивать, чтобы на этом стяге были написаны слова: «Земля и воля». Рабочие протестовали.

— Как же так, — горячился модельщик Колпинского завода Вальпер, — земля-то это так, землю точно надо дать крестьянам, ну, а какую еще им волю-то, волю они в шестьдесят первом году получили?

Натансон опять не выдержал, стал горячо убеждать Вальпера, что крестьянин ждет социалистической воли.

Халтурин откровенно смеялся.

— Марк Андреевич, да ведь мы-то демонстрировать будем не в деревне, а по Питеру. Поэтому скорее слово «воля» будет понятно, ну, а земля уж совсем ни к чему, рабочему она не нужна, да и вам, бунтарям, в городе с этим кличем делать нечего.

Рабочие в конце концов уступили, они хотели, чтобы и народники пришли на помощь, а лозунг «Земля и воля» привлечет их. Пусть себе «Земля и воля», лишь бы знамя было красное, да своего заводского люда под ним побольше собралось.

5 декабря Халтурин, Моисеенко и другие обходили в последний раз кружки. Для рабочих, членов кружков, демонстрация имела смысл агитационной попытки, и было ясно, что они придут обязательно, но не затронутые еще пропагандой фабричные смотрели на нее по-иному. Для «деятельного» участия в демонстрации у них не было никакого повода, и ожидать, что эти люди придут 6-го на Казанскую площадь — было трудно. Разве что невиданное зрелище привлечет их туда.

Наконец настало утро 6 декабря. Было холодно. Прохожие зарывались носами в теплые воротники, шарфы, башлыки и спешили по домам. С паперти Казанского собора было видно, что в церкви почти нет молящихся. Прихожане в такой мороз предпочли взять грех на душу и отсиживались в тепле. Члены рабочих кружков подходили дружно, особенно из гаванских заводов. С патронного явилась целая инструментальная в составе 45 человек. Все это были знакомые друг с другом люди. Учащаяся молодежь,

студенты Медико-хирургической академии и Горного института также собирались большими стаями. Но сил было еще мало.

Рабочие разбрелись по ближайшим трактирам погреться немного, подождать, когда соберется народ. На площади у соборной паперти осталась только группа наблюдателей, студенты же зашли в собор. Между тем обедня в церкви кончилась, прихожане собирались разойтись по домам, как вдруг заметили наплыв необыкновенных богомольцев. Одетые кое-как, кто в пальто и шляпу, кто в полушубок и треух, с длинными волосами, многие в пенсне или очках, веселые, непринужденно разговаривающие, нарушая церковное благочиние, они заполнили почти всю церковь. Обеспокоенный староста поинтересовался:

— Что вам угодно, господа?

Кто-то из бунтарей, не задумываясь, ответил:

— А мы желаем отслужить панихиду.

Староста аж отшатнулся, услышав такое кощунство. День-то ведь царский, разве мыслимо в такой день панихиды служить. Разве что по усопшему императору Николаю Павловичу, отцу ныне здравствующего монарха.

— Нельзя, господа, никак нельзя сегодня служить панихиду, сами ведь знаете, что ноне царский день.

«Бунтари» чуть не прыснули со смеху, вот так угадали! Но староста был неумолим, а время необходимо было выиграть, не привлекая к себе внимания бесцельным шатанием по площади. Сентянин, земледелец, недавно приехавший в Петербург и выделенный народниками для работы среди рабочих, подошел к молодому студенту, державшемуся немного в стороне, поближе к рабочим, тоже забежавшим в собор.

— Я пойду закажу молебен, — шепнул он ему.

— Идите заплатите попам за наш постой, — рассмеялся студент и протянул Сентянину трехрублевую бумажку.

Сентянин нашел старосту, сунул ему в руки деньги и попросил отслужить молебен. Староста еще колебался и искал предлога, чтобы отказать этим необычайным богомольцам.

— С превеликим удовольствием бы исполнил вашу просьбу в другой день, да ведь я уж говорил вам, что панихиды сегодня служить нельзя, в царский день только поминают усопших государей.

— А молебен во здравие?

— Это можно, но во здравие ныне положено только тех поминать, кто наречен именем Николы.

— Вот и хорошо, отслужите во здравие Николая, сына Гаврилова.

Староста пожал плечами и не тронулся с места.

— Ну, что же вы стоите или мало руку позолотил?

— Да, надобно бы прибавить, служба-то уже закончилась, батюшка запросит.

Сентянин добавил еще трешку. Скоро церковь наполнилась гнусавым голосом священника. Из его речитатива можно было понять только слова о здравии и имя Николая Гавриловича.

«Бунтари» с трудом сдерживали улыбки. Халтурин прислушался и чуть не расхохотался. «А ведь ловко придумали, в царский день служить в соборе о здравии Чернышевского».

Когда молебен кончился, все вышли из храма и разместились вокруг, частью на площади, частью на портиках и ступенях паперти. Из соседних трактиров стали подходить рабочие, смешиваясь со все увеличивающейся толпой. В ней было много и просто праздных зевак.

Но пора действовать. К студенту, дававшему трешку, подошел рабочий Василий Яковлев:

— Георгий Валентинович, собралось народу не густо, рабочих двести-триста человек, студенты, ну и публика прохожая. Вы слово-то скажете?

— Скажу, Василий, предупреди только всех, чтобы держались потесней, а то полиция прорвется, и мне несдобровать.

— Сейчас Митрофанова кликну. — Яковлев нашел Митрофанова, и они вместе стали обходить группы рабочих, приглашая их образовать плотное кольцо вокруг студента.

Над толпой раздался звонкий голос:

— Друзья! Мы только что отслужили молебен за здравие Николая Гавриловича Чернышевского и других мучеников за народное дело. Вам, собравшимся здесь работникам, давно пора знать, кто был Чернышевский. Это был писатель, сосланный в 1864 году на каторгу за то, что волю, данную царем-освободителем, он назвал обманом. Не свободен тот народ, которому за дорогую цену дали пески и болота, невыгодные помещику; не свободен тот народ, который за эти болота отдает и царю и барину больше, чем сам зарабатывает, у которого высекают розгами эти страшно тяжелые подати, у которого продают последнюю корову, лошадь, избу, у которого забирают лучших работников в солдатскую службу.

Нельзя назвать вольным и работника, который, как вол, работает на хозяина, отдает ему все свои силы, здоровье, свой ум, свою плоть и кровь, а от него получает сырой и холодный угол да несколько грошей. За эту святую истину наш даровитый писатель сослан в каторгу и мучится в ней и до сих пор. Таких людей не один Чернышевский — их было и есть много:

декабристы, петрашевцы, каракозовцы, нечаевцы, долгушинцы и все наши мученики последних лет...

Они стояли и стоят за то же народное дело. Я говорю— народное, потому что оно начато было самим народом. Припомните Разина, Пугачева, Антона Петрова! Всем одна участь: казнь, каторга, тюрьма. Но чем больше они выстрадали, тем больше им слава. Да здравствуют мученики за народное дело! Друзья! Мы собрались, чтобы заявить здесь перед всем Петербургом, перед всей Россией нашу полную солидарность с этими людьми, наше знамя — их знамя; на нем написано: «Земля и воля крестьянину и работнику». Вот оно — да здравствует земля и воля!

Гром рукоплесканий, дружное «ура» приветствовали появление над толпой красного знамени, крики заглушили полицейские свистки.

К Халтурину подбежал Митрофанов:

— Ну, Степан, как речь-то?

— Хорошо, кто это говорил?

— А ты не знаешь?

— Нет.

— Так это Плеханов, студент Горного, он давно с нами связан, толковый малый.

— Ты вот что, поди к нему да присматривай, а то полиция зашевелилась.

Митрофанов побежал. Протолкавшись к Плеханову, сдернул с него шапку и напялил какую-то фуражку, затем башлыком закутил голову.

— Ну, вот так, пожалуй, не узнают, только теперь пойдем все вместе, иначе арестуют.

И действительно, полиция при помощи дворников пыталась пробиться к оратору и знаменосцу. Когда трижды повторенный натиск «представителей власти» был отбит рабочими и причем с заметным ущербом для полиции, городовые стали хватать тех, кто оказался в последних рядах. Над возбужденной толпой раздалась чья-то звонкая команда: «Стой! Наших берут». Демонстранты остановились, затем человеческая масса подалась назад и стала растекаться, в воздухе замелькали кулаки, по Невскому неслись глухие крики:

— Бей их! А-а-а... Гони... Так им! Чтоб не повадно было!

К демонстрантам присоединились прохожие, и порой уже было трудно разобрать, кого бьют. Полиция отступила, а потом побежала по Казанской улице, дворники юркнули в ворота своих домов, но, разгоряченные столкновением, гордые одержанной победой, рабочие увлеклись. Отбив арестованных, они бросились преследовать убегающих полицейских. В это

время новые наряды полиции и городских спешили и по той же Казанской и со стороны памятника Кутузову. Демонстрантов начали окружать. Прекратившаяся было схватка вспыхнула с новой силой, но теперь демонстранты отбивались от полиции, расчищая себе, дорогу к отступлению. Халтурин, Митрофанов, Василий Яковлев прикрывали Плеханова и знаменосца, молоденького семнадцатилетнего рабочего Якова Потапова, — он все еще крепко сжимал в руках древко знамени, вызывая ярость городских.

— Сверни знамя, а палку мне дай. — Митрофанов быстро сорвал полотнище, сунул его Потапову и, вооружившись древком, бросился на полицию. Халтурин прикрывал тыл их маленькой группы, работая кастетом. Рядом с ним дрался высокий стройный студент. Несмотря на мороз, он был без шапки, и его черные волосы растрепались, спадая на лоб длинными потными прядями, легкое пальто расстегнулось, косоворотка на груди была разорвана. Он наводил ужас на полицию и дворников. Зажав в обеих руках по кастету, студент разил направо и налево и скоро очистил себе дорогу в переулок. Следом за ним бросился Митрофанов, уводя Плеханова и Потапова. Халтурин остался среди сражающихся.

На место происшествия приехал петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов. Полиция уже успела захватить нескольких рабочих и интеллигентов, но Трепов, увидев, что число арестованных не превышает десятка, возмутился и набросился на полицейских:

— Хватайте, хватайте как можно больше!

— Так они же уже разбежавшись, ваше превосходительство.

— Идиоты, а это что, вон в очках и пледах — студенты, поляки, они бунтовщики... Взять!

И по Невскому пронесся слух: «Поляки бунтуют!», «Хватай кого попало!» Полиция набросилась на празднующих зевак, стала бить их, женщин хватали за волосы, в ход пошли обнаженные тесаки. Теперь уже завязалась драка между полицией и столичными обывателями, женщины озверело рвали полицейские шинели, кусались, царапались.

Полиция не могла похвалиться победами, в этот день ей удалось арестовать 32 человека, из которых только трое были действительно участниками демонстрации и лишь один Яков Потапов — активный ее организатор и знаменосец.

Потапов попался случайно. Выбравшись из свалки, он встретил Веру и Евгению Фигнер. Они пригласили его к себе обедать и, весело болтая, двинулись по Невскому к Садовой. Но на углу Большой Садовой на Потапова набросились выследившие его шпионы. Сестры Фигнер ничем не

могли ему помочь и, воспользовавшись суматохой, скрылись.

День 6 декабря клонился к вечеру, но в Петербурге только и было разговоров о демонстрации. Шепотом передавали друг другу слухи, как-то проникшие из полицейских застенков, что арестованных продолжают избивать в участках, бьют ногами, эфесами сабель, одну беременную женщину убили ударом сапога в живот.

От царя скрыли нерасторопность его полиции, зато дворников Третье отделение выдало за народ, и Трепов в своем докладе Александру II писал: «Народ, не успевший разойтись из собора, бросился на толпу производивших беспорядок и деятельно помогал в задержании их».

Император был доволен, на полях треповского донесения он пометил: «Весьма утешительный признак».

Зато лавристы да и некоторые бунтари были возмущены... но не зверствами полиции, а демонстрацией. Натансон и его друзья спешили оправдаться, заявляя, что они пошли на Казанскую площадь под давлением рабочих.

Халтурину было очень обидно встретить в своих друзьях-интеллигентах такое непонимание, даже враждебное отношение к политическим действиям рабочих, к требованиям политических прав для себя. Народники не признавали борьбы за политические права, а лавристы, у которых Степан прошел «начальную ступень обучения» социализму, отрицали даже какое-либо активное действие, кроме «тихой» пропаганды.

Через несколько дней Халтурин встретил Мурашкинцева. С таинственным видом тот сообщил Степану, что под Новый год на квартире одного студента состоится сходка. Будут бунтари, некоторые рабочие, Хазов и «кое-кто из старой гвардии».

Мурашкинцев любил иногда напустить на себя таинственность, а поэтому счел возможным только намекнуть, что «гвардеец» этот сбежал из-под полицейского надзора по месту жительства в городе Орле и прибыл в Петербург, когда до него дошла весть о подготовке Казанской демонстрации.

Халтурин был заинтригован. Зная, что Мурашкинцев человек влиятельный среди лавристов и хорошо информированный, Степан ожидал, что на сходке встретится чуть ли не с самим Лавровым, уж очень загадочно-непроницаемо было лицо Александра Андреевича. Обрадовала и предполагаемая встреча с Хазовым: после демонстрации тот скрывался. Николай Николаевич Хазов ближе других народников стоял к рабочим, лучше, чем многие из интеллигентов, понимал всю бесплодность попыток привлечь рабочего к крестьянскому социализму, а потому, задумываясь над

судьбами русского революционного движения, Хазов приходил к выводу, что революционный класс России не крестьяне, а рабочие.

31 декабря студенческая квартира была полна. На столе стояли бутылки водки, различная закуска и даже новогодний гусь. Алексей Петерсон, Моисеенко, Митрофанов, Пресняков чувствовали себя здесь как дома. Мурашкинцев суетился вокруг высокого плотного человека лет сорока пяти, с острым профилем и с пышной, прямо-таки могучей копной совершенно черных волос, выглядевшей немного странно по сравнению с окладистой седеющей бородой. Человек этот был страшно близорук, стеснялся своей близорукости и, пытаясь скрыть ее, смешно косил глазами из-под густых бровей. Это и был «представитель старой гвардии» — Петр Григорьевич Зайчневский. Его имя гремело по всей России, когда в ответ на крестьянскую реформу Петр Григорьевич выступил со страстными призывами к революции, уповая на войска и молодежь. «Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, красное знамя, на котором будет красоваться клич: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская», — писал Зайчневский в прокламации «Молодая Россия».

Халтурин подсел к Хазову. Николай Николаевич был задумчив и грустен. Он собирался уезжать в Москву и сегодня пришел попрощаться с друзьями. Плеханов спорил с Пресняковым и в пылу увлечения накручивал на указательный палец бородку.

Казалось, новогодняя вечеринка обещает быть самой непринужденной, в меру пьяной и достаточно веселой. Но Зайчневский все более и более хмурился, — поглядывая на Плеханова, Хазов весь ушел в свою огромную черную бороду, и только изредка его быстрый взгляд отмечал приход нового человека или удачно сказанное словцо из спора Плеханова с Пресняковым, которые совсем разгорячились.

Пора уже было провожать старый год, но никто так и не притронулся к водке и закускам.

Зайчневский, воспользовавшись тем, что Плеханов вышел в другую комнату, начал с возмущением говорить о Казанской демонстрации:

— Я внимательно слежу из своего орловского захолустья за тем, как разворачивается и организуется революционная работа. Не удивляйтесь, из провинции оно виднее, нежели на месте, в столице. Разворачивается хорошо, а организуется никуда не годно. Доказательством тому — эта злосчастная демонстрация, ради которой вы видите меня здесь. Кто ее организовал? Члены партии? Землевольцы? Тем хуже для них. Они плохие организаторы и несерьезные революционеры. К чему, спрашивается,



понадобился весь этот «крестовый поход под предводительством козы и гуся», как изволят выражаться господа из «Вестника Европы»? Вы что же, рассчитывали на активную поддержку народа? Безумие. Ужели многие десятилетия героических усилий одиночек не убедили вас в инертности нашего народа. Народ безмолвствовал, когда на Сенатской площади гремели орудия, посылая тучи картечи в декабристов, народ молчал, когда над Чернышевским ломали шпагу, народ отверг вас, когда вы пошли к нему, раскрыв объятия.

— Но, позвольте, — вскипел вернувшийся в столовую Плеханов, — демонстрация — не крестовый поход, а действенный способ политической агитации, и если мы, землевольцы, держимся иных взглядов, чем рабочие, участники демонстрации, на политическую агитацию, то это не значит, что интеллигенция не должна была принимать в ней участия.

Зайчневский с удивлением оглядел этого горячего молодого студента, усмехнулся и, обращаясь к Мурашкинцеву, спросил:

— Слышал я, что оратором на демонстрации выступал какой-то юнец, выступал экспромтом, в нарушение договоренности не выступать, если соберется мало народу.

— А разве вы принадлежите к числу организаторов демонстрации? — с нескрываемой иронией отпарировал Плеханов.

Прения принимали явно резкий характер. Халтурин и его рабочие-друзья едва сдерживались, чтобы не наговорить Зайчневскому и сочувствующим ему интеллигентам неприятных истин, когда вдруг раздался спокойный, убежденный голос Хазова:

— На Казанской площади собрались не крестоносцы, не гуси и козы, а рабочие, прежде всего рабочие, и собрались для того, чтобы заявить друг другу и тем, кто имеет уши, что дело народного освобождения, перейдя теперь в руки самого народа, становится на твердую почву. Да, да, в политической жизни России произошел новый сдвиг, в нее сознательно вмешался, начал сознательно участвовать русский рабочий класс. А те господа либералы, которые ныне негодуют, что сделали они для завоевания политических свобод? Самое большее, самое страшное их действие — это угрожающий кукиш в кармане. Посмотрите на их самодовольное подмигивание друг другу; «вот-де мы какую ведем с правительством тонкую политику и скоро, скоро, ох, как славно его проведем». Ерунда! Зайцу не провести волка! А наши друзья лавристы? Не поняли они внутреннего смысла события 6 декабря, как не поняли, к сожалению, и бунтари, участники демонстрации. Слушая их толки, невольно приходит на мысль Обломов. Лежит он на диване и презрительно улыбается: «Так это

такая-то ваша революция. Нет, моя не такова...» И начинает рисовать в своем воображении картины революции: тут все прекрасно организовано, все идет ладно и успешно, как представление в театре, — тут много, много публики, и все сочувствующие, тут народ, в лице дворников, лавочников и извозчиков, не кидается на собравшихся, нет, он сам готов броситься на полицию и даже на войско, но это ему не приходится совершить, потому что войско и полиция кричат «ура, социальная революция» и братаются с народом... И Обломов кричит: «Да, вот что я называю моей революцией». Успокойтесь, господа Обломовы, попомните, что галушки сами лезут в рот только в сказках, а в жизни они должны быть добыты трудом, упорным, тяжелым, среди постоянных помех, непредвиденных случайностей и собственной неопытности. Нет, господа, дело наше не так скоро делается и выигрывается, и для того, чтобы произвести подобную перемену в мозгу и привычках этого народа, нужно проделать не одно, а много таких собраний.

— Да, господа, — Хазов поднялся, — новая животворная сила встает, наконец, в России на ноги. Она еще не окрепла вполне, но роста ее не удержать никакими кулаками, судами, клеветами.

Хазов тяжело дышал, обтирая потный лоб. Халтурин смотрел на него как зачарованный. Пресняков, Карпов и другие рабочие дружно аплодировали. Зайчневский встал и вышел в переднюю, бунтари шумели и негодуяще потрясали кулаками.

Звездная новогодняя ночь спустилась над столицей, мягкий снег приятно скрипел под сапогами, пустынные проспекты убегали вдаль ровными рядами газовых фонарей. Степан шел, не замечая улиц. Новый, 1877 год начинался новыми мыслями, новыми исканиями.

## ГЛАВА IV

# БОРЬБА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ

Недалеко от Летнего сада, там, где берега Фонтанки соединяет висячий Цепной мост, высится зловещее здание «Третьего отделения собственной Его Императорского Величества тайной канцелярии». Со времен Николая I Третье отделение фактически управляло Россией, составляя истинное государство в государстве. Глава Третьего отделения был в то же время и шефом корпуса жандармов, его зачастую боялись больше, чем самого императора.

Даже царь, всемогущий и бесконтрольный деспот, находился под бдительным надзором «голубых шинелей», а шеф жандармов, хорошо осведомленный о секретных делах и делишках императорского дворца, играл роль наперсника правителей России в их наиболее интимных похождениях.

В Летнем саду у памятника Крылову весело резвились дети, взрослые же всяких чинов и званий хмурились и, проходя мимо дома у Цепного моста, прибавляли шагу. И днем и ночью в таинственном здании шла глухая суета. К воротам подкатывали «казенные кареты», в них доставляли на допрос арестованных, время от времени, по преимуществу ночью, настороженно озираясь по сторонам, ныряли в дом какие-то личности в гороховых пальто, выбегали курьеры. Ровно в 10 утра к парадным дверям подкатывал черный экипаж, и постовой жандарм спешил распахнуть дверцы перед самым шефом.

1877 год доставил много забот и волнений новому начальнику Третьего отделения, генералу Мезенцеву. Вот уже несколько лет подготавливалось два больших процесса над народниками. Готовились незримо, так как официально эти процессы должны были быть инсценированы министерством внутренних дел, прокуратурой, правительствующим сенатом. Но это простая формальность, министр внутренних дел только подписывал бумаги, даже не зная, что делает Потапов, а потом сменивший его Мезенцев.

Генерал был мстителен и жесток, никто не мог похвастаться его дружбой, и все боялись его смиренного благочестия. Это была слабость Мезенцева. Если он и задумывался о загробной жизни, то, будучи трезвым

человеком, понимал, что пути в рай ему давно заказаны. Но каждый день шеф жандармов совершал прогулку в часовню и усердно молился о прощении грехов своих, надеясь на «смягченный режим в аду».

Народники стали бельмом на глазу у генерала. Такой «дерзости» со стороны интеллигентов Россия еще не знала. Что ни день, то тайные осведомители сообщали Мезенцеву о новых поселениях в деревнях, пополняли списки людей, сочувствующих революционерам.

Генерал торопился. Шумный процесс и беспощадная расправа с пропагандистами «бредовых антиправительственных идей и настроений» отобьет охоту у молодежи к революционной фронде, а без прилива молодых сил народники зачахнут, и генералу останется только вымести этот «мусор» из блистательных чертогов Российской империи на свалку в Сибирь, Якутию.

В канцелярии тайной полиции папки с протоколами допросов вытеснили всю лишнюю мебель. И хотя улики почти нет, зато судьи подобраны, можно и начинать.

\*

Сначала открылся процесс пятидесяти московских пропагандистов. Мезенцев не мог отказать московским жандармам в прыти, они постарались, ну что же, ему уже перешла слава Потапова, пускай и московский Воейков поработает на него.

Впервые Россия услышала и увидела представителей широкого революционного движения, открыто аплодировала их речам, полным веры в народ и горячего энтузиазма. Софья Бардина сумела усыпить бдительность суда и развернула перед присутствующими в зале программу революционной деятельности, затем рабочий-ткач Петр Алексеев, как громом, сразил правящие круги России своими пророческими словами о будущем рабочего движения.

Народ валом валил в зал суда. Но билеты имели только избранные. Народники, понимая огромное, революционизирующее влияние процесса, были почти благодарны правительству. Валериан Осинский, Сергей Кравчинский и еще несколько землевольцев отпечатали поддельные билеты, и в зале суда некуда было яблоку упасть.

Жандармы спохватились только на второй день. Осинский попал в Дом предварительного заключения, Кравчинский исчез, но дело было сделано.

Выходя из зала заседания, одни в душевном умилении осеняли себя крестным знамением и говорили, что «времена апостольские возвращаются», другие же сжимали кулаки и верили, что в «России новая сила народилась».

Жестокий приговор только усилил симпатии к народникам, участники процесса обрели в глазах общества ореол мученичества.

Начальник Третьего жандармского отделения в первый раз растерялся. Кто бы мог подумать, что этот процесс вызовет не страх, а энтузиазм среди молодежи? Нет, он решительно отказывается понимать новое поколение. Вместо лавровых венков триумфатора Мезенцеву пришлось принимать упреки.

Светлейший князь Горчаков, министр и канцлер, недавно отпраздновал двадцатилетие своего пребывания на посту руководителя внешней политики Российской империи и семьдесят девять лет жизни. Мезенцев был уверен, что канцлер выжил из ума. Он даже намекнул кое-кому об этом. А этого не стоило делать. Горчаков был слишком язвителен и принадлежал к тем немногим, кто не боялся шефа жандармов. Встретившись с Мезенцевым и министром юстиции Паленом на приеме у императора, Горчаков, делая вид, что не замечает шефа жандармов, делился с Паленом впечатлениями о процессе 50-ти:

— Вы думали убедить наше общество и Европу, что это дело кучки недоучившихся мечтателей, мальчишек и девчонок и с ними нескольких пьяных мужиков, а между тем вы убедили всех, что это не дети и не пьяные мужики, а люди вполне зрелые умом и крупным самоотверженным характером, люди, которые знают, за что борются и куда идут. Теперь все видят, что враги правительства не так ничтожны, как вы это хотели показать.

Возразить князю было нечего, хотя Мезенцев пылал от негодования.

Император тоже был недоволен генералом. Недолюбливая Горчакова, Александр благосклонно улыбался его шуточкам в адрес Мезенцева.

Когда «шеф» вернулся в свой кабинет в доме у Цепного моста, подчиненные приумолкли, ожидая грозы. И она разразилась бы, не найдись громоотвод в лице тайного агента санкт-петербургской охранки Судейкина.

Карьера этого человека только начиналась, и, чтобы проложить себе дорогу к чинам, богатству и власти, Судейкин не брезгал ничем. О нем уже знали «мужи света», и их отношение к выскочке-сыщику было недружелюбно. Он и пугал их и внушал отвращение. Судейкин — плебей, хотя и происходил из дворянской семьи, но захудалой, обедневшей. Образование получил самое скудное, а воспитание и того хуже. Его

невежество, не прикрытое никаким светским лоском, его казарменные манеры, самый, наконец, род службы — все шокировало «высшие сферы».

Когда Мезенцеву доложили о приходе Судейкина, генерал обрадовался — вот на ком можно сорвать злобу и горечь колкостей Горчакова и императора.

— Входите, входите. Рад вас видеть!

— Здравия желаю, ваше высокопревосходительство.

— С чем пожаловали?

— Осмелюсь заметить, ваше превосходительство, что в последнее время министерство внутренних дел, тайная полиция и градоначальство Петербурга очень обеспокоены не столько интеллигентами, сколько фабричными, их действиями и настроениями. Зная, что ваше превосходительство было занято процессом «москочков», я не осмеливался беспокоить вас. Но теперь, когда этот процесс позади, смею обратить внимание вашего превосходительства на некоторые факты. Они должны заинтересовать вас.

— Простите, Георгий Порфирьевич, но вы, к сожалению, не состоите в моем подчинении, у вас есть свое начальство, вероятно, для него эти сведения не составляют секрета, и если бы оно сочло нужным, то сообщило бы их мне.

Судейкин хитровато улыбнулся и сделал рукой жест, который означал, что кое-что из сведений, которые он собирается сообщить шефу жандармов, не известно никому, кроме него, пронырливого и энергичного сыщика. Мезенцев понял. Его первоначальное намерение поиздеваться над Судейкиным сменилось желанием выведать от шпиона все, что тот знал, и использовать эти сведения, чтобы насолить министру юстиции и всем, кто теперь возлагает хулу на голову шефа жандармов.

— Я слушаю вас.

Судейкин раскрыл папку и, изредка заглядывая в нее, стал рассказывать о деятельности рабочей организации. Генерал слушал внимательно. Постепенно лицо его хмурилось. Сведения Судейкина были слишком важны, чтобы воспользоваться ими только как козырями, обвиняя в неосведомленности министра внутренних дел.

— Скажите, как бы вы посмотрели на то, чтобы служить у меня, в Третьем отделении, а?

— Был бы счастлив стать сотрудником Третьего отделения и работать под началом вашего превосходительства.

— Очень хорошо. Я это устрою. А теперь прошу вас оставить мне эти материалы, я познакомлюсь с ними более детально.

— Слушаюсь.

Судейкин вышел. Мезенцев раскрыл папку.

Но знакомство шефа жандармов с папкой Судейкина затянулось. Проходили дни, недели, месяцы, папка разбухла от новых донесений шпионов, были заведены еще сотни таких же папок, черных списков.

Мезенцев начинал терять голову. Нужно было открывать второй процесс над 193-мя народниками, между тем в Петербурге, среди рабочих, возникла и действовала сплоченная, крепкая организация. Мезенцева мучили сомнения. А вдруг он промахнулся, вдруг народники — это только вспышка, которая не предвещает пожар, между тем молодая революционная поросль заводов и фабрик разрастается в могучую дубраву открытого революционного движения.

Третье отделение неистовствовало. В апреле арестовали 82 человека, преимущественно рабочих. Но шпионы продолжали засыпать шефа жандармов сообщениями. Агент градоначальства Шарашкин доносил: «16 мая, днем — на Гаванском поле, в кустах собралась сходка рабочих. Человек двадцать. Натансон, как главный руководитель, говорил о необходимости подыскать безопасную квартиру в Коломне, около завода Берда. В ней же Натансон предлагал устроить род справочной конторы для участников по вопросам, касающимся революционного дела... Шла также речь об устройстве библиотеки для рабочих, на что требовался новый денежный сбор».

Мезенцев пометил в списке народников Натансона и приказал Шарашкину выследить его и арестовать. 3 июня Шарашкин указал жандармам Натансона, и Марк Андреевич попал в Дом предварительного заключения. Но на этом похождения «Николая-котельщика», как прозвали между собой рабочие тайного агента секретного отделения петербургского градоначальства Николая Афиногеновича Шарашкина, кончились. 19 июня он был убит рабочими из группы Преснякова. Опять начались аресты, провалы конспиративных квартир. Новые шпионы Третьего отделения выслеживали и передавали в руки жандармов «неблагонадежных» рабочих.

Общество друзей распалось, из старых кружковцев мало кто остался на свободе.

Пресняков, Шкалов, Шиханов, раздраженные наглой слежкой шпионов, их провокаторскими действиями, создали тайную организацию, которую Мезенцев тут же окрестил «Рабочим комитетом». Члены этого комитета взялись за оружие, чтобы уничтожить всех, кто препятствовал делу пропаганды. «Рабочий комитет» стал грозой шпионов.

Не прошло и дня после смерти Шарашкина, как агенты доставили

«шефу» две листовки, написанные от руки печатными буквами. Текст обеих листовок был одинаков, почерки разные:

«На днях убит в Петербурге шпион Третьего отделения Николай Финогенов (Рыжий), заявлявший себя прежде революционером. Он был рабочим (котельщиком) на Варшавской железной дороге. Он оказался достойным преемником Гориновича, Тевлева и других шпионов. Участь, его постигшая, ожидает и всех других изменников революционного дела».

Все чаще и чаще тайные агенты, засевавшие на различных заводах, упоминали в своих донесениях имя Халтурина. У шефа жандармов в глазах рябило: «Халтурин всюду. С ума они посходили все, что ли? Не может же один человек одновременно работать на Александровском, создавать кружки в Галерной гавани, выступать на патронном, носить книги за Нарвскую, организовывать сходки на Выборгской...»

«Немедленно арестовать этого Халтурина», — распорядился Мезенцев. У себя же в памятной книжке записал: «Расспросить Карпова о Халтурине».

Карпов был арестован в Москве вместе с Хазовым. И если Хазов молчал, то Карпов стал предателем, выдавая всех и вся.

Приказ об аресте Халтурина запоздал, Мезенцев отдал его в конце октября 1877 года, 7 же октября Степан Николаевич был уволен с Александровского завода Главного общества российских железных дорог, так как подошла его «рекрутская очередь». После этого Халтурин исчез, а 17 октября на Сампсониевский вагоностроительный завод нанялся бахмутский мещанин Степан Николаевич Королев.

Из «старых» членов центрального кружка на воле осталось немного. Пришли новые люди. Между своими Халтурин называл рабочие кружки союзом, стремился к их объединению, но с каждым днем работать становилось труднее. Халтурину поневоле приходилось совмещать в себе и библиотекаря, после ареста Смирнова, и пропагандиста, после провалов Натансона, Хазова и других, но, успевая всюду, Степан не упускал из виду главное — сколачивать организацию. Не в пример землевольцам он раньше их понял необходимость создания революционной организации. Создавая ее, Халтурин оберегал рабочее «детище» от интеллигентов, которые день ото дня теряли интерес к поселениям в деревне и с каждым днем все более и более увлекались дезорганизаторской деятельностью, стараясь привлечь к ней и некоторых рабочих.

Землевольцы еще не провозгласили террор методом агитации, они по-прежнему считали политические выступления ошибкой и стояли за пропаганду социализма в крестьянской среде. Но тщетность этой



пропаганды вновь заставляла наиболее темпераментных из них задумываться над вопросами тактики, искать себе применения в действиях смелых, предприятиях отчаянных. И чем ближе была связь рабочих с дезорганизаторами-бунтарями, тем большей опасности подвергался еще не окрепший союз рабочих.

В июне 1877 года в Доме предварительного заключения бывший кантонист, грубый солдафон, а ныне градоначальник петербургский, генерал Трепов сбил с осужденного на 15 лет каторги Архипа Петровича Емельянова, известного под псевдонимом «Боголюбов», шапку, в которой тот стоял на дворе перед высоким начальством.

Заключенные, наблюдавшие из окон эту возмутительную расправу, устроили Трепову «бенефис», на генерала посыпались оскорбления, двор огласился свистом. Трепов взбесился. Прекрасно зная, что по закону «политические» не подлежат публичному наказанию поркой, он распорядился выпороть Боголюбова. В предвариловке начался сущий ад. В камерах стоял истошный крик, звон разбиваемой посуды. Трепов прислал городских, чтобы усмирить «бунтовщиков». Городовые вваливались в камеры, избивали заключенных до потери сознания, таскали по полу и лестницам, запирали в карцеры.

Весть об этой «полицейской вакханалии» всколыхнула всю Россию. «Земля и воля» решила отомстить градоначальнику.

Вскоре из Киева, Одессы, Харькова съехались в Петербург экспансивные южане: Валериан Осинский (убежавший из тюрьмы), Попко, Фроленко, Волошенко. Они уже не хотят и слышать о поселении в деревне, их сердца пылают мезтью, руки тянутся к оружию, головы заняты выработкой планов убийства Трепова и широкой террористической борьбы с царскими министрами, генералами, губернаторами, царем и его наследником.

В такой обстановке всеобщего возбуждения открылся судебный процесс над 193-мя народниками.

Мезенцев готов был пожертвовать многим, чтобы этот процесс не состоялся, боясь, что он окажет революционизирующее воздействие на молодежь, но министр внутренних дел да и сам император настаивали. Шеф жандармов не появлялся в зале заседания, хотя на сей раз туда допускали действительно только избранных.

Да, Горчаков был прав, тысячу раз прав, хотя Мезенцев проклинал его за эту правоту. Если на процессе 50-ти фигурировали «лучезарные девушки», то теперь в зале суда на скамьях подсудимых сидели

монолитные фигуры закаленных борцов, блестящие ораторы, крупные характеры.

Каждый вечер специально выделенный офицер Третьего отделения доставлял шефу жандармов протоколы заседаний суда. Мезенцев прикасался к ним, как к ядовитой змее, динамитной бомбе, но читал взахлеб.

Однажды, в разгар процесса, тот же офицер привез записку от министра внутренних дел. Он удивлялся, что шеф жандармов не присутствует в зале заседаний, а заодно передавал, что и император не одобряет его поведения. Мезенцев вынужден был поехать на следующий же день на заседание «особого присутствия правительствующего сената», судившего «преступников». Но генералу опять не повезло. Надо же, чтоб в этот день слушалась речь Мышкина, того самого, который дерзнул на попытку освободить из каторги Чернышевского и только случайно не преуспел в этом предприятии.

Когда Мезенцев вошел в зал и уселся рядом со своим бывшим начальником Потаповым, «мягко отстраненным от должности с сохранением почестей и регалий», Мышкин успел уже изложить свои революционные взгляды и начал обличительную характеристику суда. Голос его гремел:

— Теперь я окончательно убедился в справедливости мнения моих товарищей, заранее отказавшихся от всяких объяснений на суде, — того мнения, что, несмотря на отсутствие гласности, нам не дадут возможности выяснить истинный характер дела. Теперь для всех очевидно, что здесь не может раздаваться правдивая речь, что здесь на каждом откровенном слове зажимают рот подсудимому. Теперь я могу, я имею полное право сказать, что это не суд, а пустая комедия. Или нечто худшее, более отвратительное... более позорное.

Первоприсутствующий сенатор Петерс вскочил и вне себя заорал:

— Уведите его!

Жандармский офицер бросился на Мышкина, но подсудимые загородили ему дорогу, началась свалка. В публике дамы подняли визг, некоторые упали в обморок. Жандарму удалось-таки схватить Мышкина и зажать ему рот рукой. Но тот продолжал глухим, задавленным голосом:

— Более позорное, чем дом терпимости, там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества.

Жандармы уволокли Мышкина, но с «голгофы», где сидели подсудимые, раздались негодующие крики:

— Вы не судьи — вы опричники!

— Шемякин суд!

— Иуды!

Заседание было сорвано. Мезенцев уехал домой совершенно разбитый и взбешенный. О! Если приговор будет слишком мягок, он будет требовать суровой кары. Пять лет мудрили над этим процессом, ведь некоторые его участники сидят с семьдесят третьего года, «отечество спасали», а получился процесс-монстр. Он этого не допустит.

Процесс, издевательства над Мышкиным подлили масла в огонь. Даже некоторые лавристы стали отрекаться от своих взглядов на борьбу политическую и пылали чувствами мести к царским опричникам.

Рабочий Петербург волновался. Халтурин не зря спешил с организацией союза, каждую минуту в столице могли вспыхнуть беспорядки на фабриках и заводах, нужно быть готовым к ним, руководить забастовочной борьбой и открыто заявить стачечникам, что они не одиноки, за ними стоит рабочий союз, их опора, их надежда.

\*

В декабре 1877 года ударили морозы, да такие, что и столичные старожилы не припомнят. Снега было мало, и от этого стужа казалась еще сильнее. Даже в душных мастерских Василеостровского патронного завода рабочие никак не могли согреться. Посиневшие руки едва удерживали инструмент, яловые сапоги плохо согревали ноги на сквозняке, всегда гуляющем по полу.

— Скорей бы уж полдник был, совсем закоченеешь тут! — прокричал сквозь шум молодой рабочий, совсем мальчик, недавно принятый учеником слесаря по обточке прессованного пороха для запальных трубок. Перерыва ждали все.

Наконец послышалось глухое шипение пара, затем раздался тоненький голосок заводского гудка. Постепенно он крепчал и уныло расползлся хрипыми октавами по Васильевскому острову, замирая близ Дворцовой набережной и на подступах к Невскому. Остановились трансмиссии, умолк шум станков, и в наступившей тишине отчетливо стали слышны голоса рабочих, суетливо толпившихся у единственной лестницы, ведущей со

второго этажа мастерской во двор. Каждый спешил скорее выскочить за ворота проходной, где рабочих дожидались жены с обедом. На завод их не пускали, приходилось мерзнуть на улице. Сегодня никто не поел горячего, борщ остыл, а черная каша, положенная прямо в него, плавала мерзлыми островками. Рабочие сокрушались, наперебой ругая зиму. Вчера ведь получили месячный расчет, хозяйки постарались, и вот тебе... а не каждый день бывает борщ и каша, чаще приходится пробавляться хлебом с кипятком да сахаром вприглядку.

Ели молча, примостившись на станках. Старательно облизывали ложки, подбирали крошки хлеба, не спеша отправляя их в рот.

— Опять моя старуха соль переводит, ведь сколько раз твердил ей — не соли, не соли мне щи, и без соли солоно, — нарушил молчание ворчливый бас пожилого рабочего.

— А у тебя дома как — один ты обедаешь, а другим не надобно?

Рабочий сердито обернулся на задорный голос ученика.

— Ты, паря, без году неделя в мастерских, порошу еще не нюхал, а мы им по горло сыты, наелись аж на всю жизнь. На том свете пред святыми угодничками предстанем тоже начиненные им, что твои бомбы.

По мастерской прокатился легкий смешок, на мгновение заглушая стук ложек.

— Да, в мастерских Татаренки попасть в гости к святым можно запросто, это тебе не в кабак зайти, тут к богу в рай задарма отправляют.

— Эх, испить бы сейчас студеной водицы из колодезя, — мечтательно проговорил ученик, — а то в ведре-то рассол какой-то, так все внутренности и выворачивает.

Обед подходил к концу, в котельной травили пар перед пуском машины; из конторы бегом, пересекая двор, куда-то пробежал нарядчик.

— А что-то не видать, братцы, чтобы хозяин собирался в мастерской вторую лестницу возводить? Значит, в случае чего, изжаримся здесь за милую душу.

В мастерской стало тихо, все головы разом повернулись к говорившему рабочему с копной буйных рыжих волос, на которых выделялись серые впадины от прилипшей пороховой пыли. Рабочего этого хорошо знали на заводе. У начальства Алексей Николаевич Петерсон был на плохом счету, поговаривали о том, что он водится с «бунтарями» и полиция с него глаз не спускает.

— А почему изжаримся? — с испугом, широко открыв глаза, спросил ученик.

Никто не ответил мальчику. Многие отвернулись, чтобы не встречаться

с его вопрошающим взглядом.

— Эх, молод ты, парень, — заговорил Петерсон, — да раз попал в это пекло, то и тебе надобно знать, чего стоит здесь жизнь рабочего. Небось, когда нанимался, позарился на лишний полтинник, а умом и не раскинул, куда идешь. Ты вот, к примеру, прессованный порох для трубок обтачиваешь, ну и приглядишься, сколько с той обточки пыли пороховой получается. А как искра какая, сам небось знаешь, как пыль та возгореться может. Теперь гляди сюда, — Петерсон указал рукой на дверь, — что там под лестницей?

— Не знаю, — неуверенно, но уже с интересом ответил ученик.

— То-то и оно, что не знаешь. Чулан там видел? Так в нем запасы прессованного пороха хранятся, да и трубки запальные туда сваливают. А ну, как искра попадет — тогда вот и не выскочишь, лестница первая к чертям взлетит, а мы изжаримся как пить дать.

Рабочие зашумели, заговорили разом:

— В гранатном рвануло, четырех зараз как не бывало!

— Держи карман, сделают, лестница денег стоит...

— Жалобу надобно до губернатора.

— А он тебя, жалобщика, в холодную.

В мастерскую вбежал мастер:

— Чего разорались? Не на базаре. А ну, по местам, сейчас машину пускать будут.

— Когда лестницу, скажи, сделают? — выкрикнуло сразу несколько голосов.

— Ишь ты, а лифту не захотели? Вы что же, на второй этаж на крыльях вспархиваете иль по канату влезаете? — Мастер был зол, ему и так попало за то, что он доложил директору просьбу рабочих о постройке второй лестницы. Теперь он готов был пустить в ход кулаки, но угрожающие лица рабочих охладили его пыл.

Петерсон подошел к мастеру. Тот невольно сделал шаг назад, Петерсон криво улыбнулся и подчеркнуто вежливо спросил:

— Прошу прощения, господин мастер, рабочие любопытствуют, узнать хотят, когда хозяин начнет лестницу строить? Мы бы пособили, ведь для себя же стараться будем.

— Да и вы, господин мастер, одним миром с нами мазаны, — вдруг вмешался пожилой рабочий, — если не дай бог что произойдет, и вам не миновать царствия небесного.

Мастер рассвирепел. Оттолкнув Петерсона, он подскочил к пожилому рабочему и, задыхаясь от бешенства, прошипел:

— А ну, сдавай инструмент, старая кляча, хватит... натерпелся за таких вот! Марш в контору расчет получать!

Испуганный рабочий торопливо стал собирать резцы и напильники. Руки у него дрожали. Остаться без работы в его возрасте — означало почти верную смерть от голода: стариков нигде не принимали.

— Не трожь его, он правду сказал, — Петерсон отстранил мастера, — смотри, как бы тебя свои не накрыли, костей не соберешь, почище, чем бомбами отделают! — последние слова Петерсон произнес почти шепотом на ухо мастеру. Тот позеленел.

В это время заревел гудок, возвещая о конце перерыва, мастерская наполнилась гулом заработавших станков. Погрозив кулаком и выкрикивая какие-то ругательства, расслышать которые было уже нельзя, мастер исчез. Рабочие встали к станкам, в воздухе вновь появилась мельчайшая пороховая пыль. Она разъедала глаза, проникала в нос, горло, оседая там солоновато-горьким налетом. Рабочие были возбуждены. У многих еще тряслись руки, поэтому то там, то здесь слышались взвизгивания резцов, случайно соприкоснувшихся с точильными камнями, вспыхивали искры.

— Так не пойдет, ребята, взлетим на воздух, ежели осторожности блюсти не будете! — прокричал, перекрывая шум, Петерсон.

Работа на минуту приостановилась.

— Совсем с ума спятили, черти, ну разве ж можно резцами по камню шебуршить? И вот еще что, в мастерской характеров боле проявлять не след, лучше вечером после смены в трактире поговорим.

Прошла неделя. 7 декабря стужа была такой лютой, что рабочие то и дело дули на руки, стараясь согреть их дыханием. Резцы срывались.

— Беда... а... а, братцы... — Голос оборвался. Никто не успел заметить, как шипящая, обдающая черным дымом, красноватая молния взметнулась от станка, скользнула по потолку к двери и разразилась взрывом. Из чулана под лестницей пахнуло нестерпимым жаром. Упругая волна горячего воздуха выбила окна, разметала станки, расшвыряла людей. Помещение мастерской осветилось фейерверком пороховых костров. Трансмиссия вырвалась из своих гнезд и покатила по полу, придавливая и калеча людей. Со всех сторон слышались вопли о помощи, стоны раненых и зловещий треск разгорающегося пожара.

Завыл заводской гудок. Из мастерских завода бежали рабочие. Заводские пожарные на руках катили телегу с бочкой, прилаживая к ней на ходу насос.

Лестницу затушили быстро, пожар же в самой мастерской потух еще раньше, как только выгорела пороховая пыль. Из разбитых окон валил

черный дым. Закрывая лицо руками, в мастерскую устремились рабочие и стали выносить из нее пострадавших.

Четверо рабочих были убиты, трупы их страшно обгорели. Двое с обожженными лицами, в дымящейся одежде еще стонали. Мальчика-ученика вынесли на руках, сорвавшаяся трансмиссия сломала ему ноги. Некоторые рабочие выходили сами, других вели под руки. Алексей Петерсон отделался синяками, но его рыжая шевелюра закоптилась до черноты.

На заводском дворе стояла зловещая тишина, никто не кричал, не возмущался, но угрюмые лица рабочих заставляли администрацию жаться поближе к конторе. Директор послал за полицией. Толпа не расходилась.

Вдруг Петерсон, успевший немного прийти в себя, отстранил двух рабочих, поддерживающих его под руки, и быстро пошел к проходной. Невольно рабочие обернулись вслед ему. В дверях проходной стоял Халтурин, запыхавшийся от быстрой ходьбы. Рядом с ним, утирая потное лицо картузом, тяжело привалился к двери его друг и соратник Хохлов. Халтурина на патронном знали хорошо, он часто бывал здесь, принимал участие в работе заводского кружка.

Халтурин подошел к трупам рабочих, лежавшим на снегу, снял шапку и молча поклонился. Кто-то всхлипнул, кто-то сквозь стиснутые зубы выругался. Степан надел шапку, оглядел рабочих и тихо сказал:

— Раненых в больницу снести надобно, чего стоите?

Теперь заговорили разом. Гул голосов сливался воедино, нарастал, у проходной уже собрались женщины, слышался плач, причитания. В это время раздались полицейские свистки. Хохлов подскочил к Халтуру и потянул за рукав пальто, но Степан отмахнулся, помогая укладывать на растянутый брезент раненого. Ворота фабрики распахнулись, рабочие, неся товарищей, высыпали на улицу и направились к Мариинской больнице.

Халтурин, Хохлов, Петерсон шли впереди, полицейские разгоняли любопытных прохожих. Появились «гороховые пальто».

— Степан Николаевич, — негромко сказал Хохлов, — шел бы ты до дома, смотри, сколько «подметок» понабежало.

Халтурин не ответил, как будто не расслышал слов Хохлова.

В больнице суетились санитары, дежурный врач, поминутно теряя пенсне, плохо державшееся на носу, пискливым голосом отдавал какие-то распоряжения. Когда рабочие, неся на руках пострадавших, ввалились в приемный покой, врач, смешно растопырив руки, загородил дорогу. Пенсне опять упало и закачалось на черном шнурке.

— Господа, господа! Я категорически протестую и прошу, милостивые

государи, покинуть приемный покой, ведь это же больница, господа...

Халтурин вышел вперед.

— Мы сами положим наших товарищей на койки. Куда нести?

Доктор замахал руками. Рабочие двинулись к двери.

— Хорошо, хорошо, господа, прошу минуту обождать. Я сейчас прикажу санитарам снять с кроватей простыни, чтоб их не запачкали, — доктор ткнул пальцем в измазанные сажей и маслом куртки рабочих.

— Что? — Халтурин одним прыжком подскочил к доктору, схватил его за халат и с силой оттолкнул от двери. Врач отлетел к стене. — Идемте, братцы, и без этого слизняка койки раздобудем, ишь, измывается над рабочим человеком, ему простыни жаль... А искалеченные люди могут и на голых досках полежать? Вот оно, барское презрение к нам, попомните его, товарищи!

Пострадавших устроили. Пока фельдшер отпаивал валериановкой плачущего врача, Хохлов и Петерсон заставили Халтурина выйти из больницы черным ходом, у подъезда уже хозяйничала полиция.

\*

Николай Сергеевич Русанов, купеческий отрок лет восемнадцати, потолкавшись в местных народнических кружках, поспешил покинуть вольные отеческие хлеба в орловском захолустье и перебрался в Петербург с тем, чтобы не только учиться в Медико-хирургической академии, но и окунуться в кружковую жизнь столицы. Как истинный «нигилист», Русанов поселился на пятом этаже под крышей трактира «Выборг» на Выборгской стороне, заняв крошечную комнатку, в которой едва помещались стол, кровать и один стул. Хозяином квартиры был добродушный, флегматичный немец, слесарь с патронного завода.

Через своего давнишнего знакомого по Орлу, Арцыбушева, Русанов сошелся с сыном богатого московского купца Мурашкинцевым. «Купец купца разглядел с другого конца». Мурашкинцев очень скоро свел «марксиста» Русанова со своими приятелями-лавристами и несколькими рабочими из «числа выдающихся».

Николай Сергеевич стал посещать их собрания и вскоре познакомился со Степаном Халтуриным. Халтурин, решив испытать пропагандистский пыл Русанова, поручил своему другу и помощнику Хохлову ввести его в рабочую среду.



Немного окая, Степан напутствовал рвавшегося к пропагандистской деятельности студента.

— Ты сначала, Сергеич, присмотришься к народу, а потом, может быть, тебе и удастся поговорить кое с кем по душам-то.

7 декабря, сидя в своей голубятне на пятом этаже, Русанов с тоской поглядывал в маленький и почему-то незамерзший «глазок» окна. Из заводских труб Выборгской стороны дым колоннами поднимался к тусклому небу и только там, в неясном мареве лучей заходящего солнца, попадал в легкие струи воздуха и уплывал куда-то за Неву.

«Сейчас Хохлов за мной явится, пойдем за Нарвскую или на Шлиссельбургский тракт, а пальто у меня на «рыбьем меху» и в кармане гривенник, на извозчика не хватит», — поеживаясь от холода, невесело думал Русанов.

За стеной у хозяев послышался шум. Это вернулся с завода слесарь. Его густой бас звучал через стенку, как глухие удары по пустой бочке, и разобрать слова было невозможно, да Русанов и не прислушивался. Вдруг заголосила хозяйка, ее вопли походили скорей на причитания плакальщицы, нежели на слезливый гнев обиженной супруги. Русанов тревожно встал со стула и отошел от окна, когда дверь открылась, и хозяин, бледный, прямо с порога, проговорил:

— У нас на заводе беда. Взорвался цех запальных трубок, много убитых, обожженных, раненых.

Хозяйка продолжала голосить, и теперь через открытую дверь можно было разобрать, что она жалуется на свою судьбу и мужа, который непременно взорвется и не до смерти, а так, чтобы обузой ей на руках всю жизнь быть.

Русанов был ошеломлен внезапным сообщением, воплями хозяйки и видом, страшным, растерянным видом этого добродушного немца, едва выдавившего из себя несколько слов.

Теперь Русанову было не до мороза, ведь Хохлов работал тоже на патронном.

«Жив ли Хохлов, знает ли о несчастье Степан, нужно бежать к нему», — эти мысли вихрем пронеслись в голове.

Схватив шапку, на ходу натягивая рукава пальто, Русанов опрометью бросился к двери, непочтительно оттолкнув остолбеневшего от удивления хозяина.

На улице мороз сразу перехватил дыхание, залез под ветхое пальто, быстро изгоняя накопленные дома запасы тепла. Но Русанов мчался, не замечая мороза, людей, скользя по обледенелым дощатым мосткам

тротуара, которые даже на двадцатиградусном морозе нет-нет да и обдавали прохожих потоками никогда не замерзающей вонючей жижи, пропитавшей насквозь почву «Северной пальмиры».

Халтурин недавно сменил квартиру и жил на Саратовской улице вместе с двумя рабочими-путиловцами.

Комната была большой и пустынной, три кровати, стол, несколько стульев — и это все. Кровати аккуратно застелены, на столе порядок, видно, что и тем и другим хозяева пользуются только по необходимости, зато подоконники двух больших окон завалены книгами, номерами «Отечественных записок», какими-то бумагами.

Когда Русанов влетел к Халтурину, там уже сидели Хохлов и Петерсон.

— Ты что это, Сергеич, уж не от полиции ли бежишь, так у нас убежище не дюже надежное, — в голосе Халтурина слышалась ласковая насмешка и в то же время серьезность, но она, видимо, сохранилась от только что оборвавшегося разговора.

— Так вы все знаете...

— Что все?

— О взрыве на патронном.

Халтурин переглянулся с Петерсоном и Хохловым, потом, подойдя к Русанову, начал расстегивать на нем пальто.

— Садись, Сергеич, отдохни малость да нос с ушами рукавицей разотри, никак отморозил. А на заводе мы уже побывали...

За внешней сдержанностью Халтурина и его нарочито ироническими словами чувствовалось горе, горе человека, которому близки те несчастные, что сгорели на патронном или метались в страшных муках на койках Тучковско-Мариинской больницы. Когда Русанов разделся и присел к печке, отогревая озябшие руки и колени, прерванный его приходом разговор возобновился.

— Ты, Степан, и не вздумай снова в больницу заявиться, тебя там заприметили.

— Кто заприметил?

— Да тот доктор, которого ты чуть не пришиб.

Степан встал и привычно зашагал по комнате из угла в угол. Остановился, потрогал на столе краюху хлеба, потом подошел к окну и, не оборачиваясь, заговорил:

— Долго ли еще будем терпеть мы подобные издевательства? Кто поручится за то, что кого-нибудь из нас завтра же не постигнет такое же несчастье? А что будет с женами и детьми погибших? Говорите, им дадут по сорок рублей. Ужели жизнь рабочего стоит только сорок рублей, сорок

рублей «за штуку»? Злая насмешка! Нет, кровь убитых братьев наших взывает к нам, живым. Мы должны ответить на эти издевательства господ-капиталистов, дать почувствовать, что теперь за рабочего будет кому заступиться.

Халтурин резко обернулся, уронив с подоконника несколько книг.

— Нужно прокламацию отпечатать да похороны такие устроить, чтобы весь рабочий люд к нам душой, сердцем потянулся.

Русанов поднялся со стула.

— Степан Николаевич, а ведь верно, прокламацию можно у радикалов в Вольной типографии отпечатать, а на похороны наших интеллигентов пригласить.

Халтурин уже не размышлял. Подсев к столу, он что-то быстро писал.

— Алексей, я тут главное записал, беги к своим кружковцам с завода, напишите прокламацию. С бунтарями я свяжусь сам.

Русанов стал быстро одеваться.

— Сергеич, а ты куда ж это?

— К Мурашкинцеву, он хоть и лаврист, но может предупредить бунтарей. Ты только скажи, когда и где хоронить убитых будут?

— Девятого их похоронят на Смоленском кладбище. Но ты, того, иди домой, Сергеич, что-то вид у тебя нехороший, не захворал бы, а с бунтарями я сам поговорю сегодня же.

Когда ушел и Петерсон, Халтурин вместе с Хохловым поспешили на конспиративную квартиру, которую содержал Михаил Родионович Попов. Адрес был им известен, но условных сигналов они не знали. Долго стучались в дверь. Никто не открывал. Наконец чей-то заспанный голос спросил:

— Кто там?

— Откройте, не бойтесь, мы рабочие с патронного завода.

Дверь приоткрылась, и Халтурин увидел встревоженное, но ничуть не заспанное лицо Попова.

— Напугали, подняли тарарам на весь дом. Ну, входите скорей. Что у вас стряслось?

Халтурин и Хохлов вошли. В комнате горела сильная керосиновая лампа, прикрытая сверху темным абажуром из жести. На столе шумел самовар и стояло два стакана недопитого чая. Халтурин толкнул в бок Хохлова и прошептал:

— Спрятал кого-то, видишь, за столом сидело двое.

Хохлов рассмеялся.

В это время из передней в комнату вошел Попов, а за ним и оратор,

выступавший в день Казанской демонстрации. Крепко пожимая руку Плеханову, Степан Николаевич разглядывал «Жоржа», «Оратора», как именовали его между собой землеvolьцы.

Плеханову шел двадцать первый год. Это был статный человек с умными темными глазами, длинными, зачесанными назад густыми космами темных же волос и короткой черноватой, слегка отливающей в рыжий цвет бородкой.

— Степан Николаевич, — начал после взаимных приветствий Плеханов. — Как это могло случиться, что мы с вами до сих пор не познакомились?

— И не говорите, Георгий Валентинович, ведь я был с вами в одной комнате, когда Зайчневский и Хазов спорили по поводу демонстрации шестого декабря. Да и у Казанского мы дрались вместе. А вот руку вашу впервой пожать пришлось.

— Ничего, Степан Николаевич, наверстаем упущенное. Но что случилось?

— О взрыве на патронном вы слышали?

— Да, Михаила Родионовича предупредили рабочие. А что?

— Думается мне, что демонстрацию надобно организовать, когда хоронить убитых будут. Рабочие придут, уж очень они на начальство злы за этот случай.

— А когда хоронить будут?

— Девятого, уже завтра, — Халтурин взглянул на стенные часы, показывавшие половину первого ночи.

— Эх, времени мало, один день, успеем ли оповестить наших?

— Надобно успеть, Георгий Валентинович.

— Как, Михаил Родионович, ты смотришь на это?

— Ты лучше спроси, что Степан Николаевич своим приятелям-лавристам скажет, ведь демонстрация как-никак политическое действие? — Попов выжидающе посмотрел на Халтурина.

Степан возмутился — в такой момент, когда погибли люди, когда можно и нужно поднимать рабочих, о каких лавристах может идти речь. Но Халтурин сдержался и даже заставил себя рассмеяться.

— А вы меня не предавайте. Хотя вот только что у меня Русанов был, с лавристами близок, а сам напросился участвовать да посоветовал листовку отпечатать.

— Это мысль. Вы написали листовку?

— Зачем же я, рабочие с патронного сегодня напишут.

— Завтра же постараемся в нашей типографии отпечатать. Ну что ж,

Степан Николаевич, придем. Только учтите опыт Казанской демонстрации, захватите револьверы, если они у вас имеются, а нет, так кастеты да кинжалы, драка может быть и посерьезней той, что в семьдесят шестом году была.

Тепло распрощавшись, Халтурин и Хохлов ушли.

\*

Ночью у Русанова начался жар, воспаление легких протекало очень тяжело, сказалось истощение, беготня из конца в конец города. Две недели больной метался, порой впадая в полузабытье. Кто-то приходил к нему в каморку, приносили лекарства, еду. Пробуждаясь ночью, Русанов часто видел около своей постели чью-то склонившуюся фигуру, но кто это был, он не помнил.

Только в последних числах декабря болезнь пошла на спад, и к Русанову медленно возвращались сознание и память.

Мурашкинцев, навещавший его чаще других, стал единственным человеком, связывающим больного с внешним миром. Не позволяя Русанову подниматься с постели и много говорить, он часами просиживал у него, болтая без умолку.

— Ты, брат, не ко времени хвораешь, тут у нас такое творится!..

— Постой, постой, ведь я свалился как раз накануне похорон убитых на патронном заводе рабочих. А как хоронили, кто был, я и не знаю.

— Да, долго же ты провалялся, там дело было. Сначала листовку выпустил кружок рабочих завода, сильная листовка, ее, наверное, Халтурин писал.

— Нет, я помню, что Халтурин только какой-то набросок сделал, а писать поручил самим рабочим. У тебя нет листовки?

— Я принес один экземпляр тебе. Тут, в твоей комнате, пока ты болей был, мы целый склад наших изданий сделали.

— Посмотри, может, найдешь.

— Для этого тебе нужно приподняться, мы постель уложили книгами и брошюрами, а сверху матрац накинута да одеялом прикрыли. Если обыск какой, то больного без памяти тревожить не будут.

Русанов с трудом приподнялся, и Мурашкинцев вытащил пачку прокламаций, перелистал их и подал одну Русанову.

— Читай.

Русанов прочел:

— «Товарищи!

Долго ли еще будем терпеть мы всякие несправедливости?

Кровь убитых братьев наших из земли взывает к нам!

Стоны больных, ставших жертвою взрыва, и вопли несчастных семейств оглашают воздух; только заскорузлые сердца бесчувственных капиталистов могут не содрогаться при этих звуках!

Ужели мы останемся глухи к таким вопиющим явлениям?

Ужели сердца наши превратились в бесчувственные камни, не способные ощущать печалей и радостей?

Ужели, наконец, мы утратили чувство самосохранения? Ведь с каждым из нас может случиться то же самое, что было с несчастными товарищами нашими!!

Кто поручится за то, что кого-нибудь из нас завтра же не постигнет такое же несчастье.

...Во имя справедливости, во имя убитых товарищей наших, во имя всего святого мы должны соединиться для общего протеста против бесчеловечной начальнической оценки, должны заявить начальству, что оно обязано дать средства для поддержания жизни всех семейств, которых постигло жестокое несчастье вследствие нерадения того же самого начальства.

Если начальство не послушает наших заявлений, то соберем наши трудовые гроши для помощи семействам несчастных и тем докажем наше полнейшее презрение этому извергу человечества!

Мы знаем, что только трусы и негодяи не согласятся протестовать против этой вопиющей несправедливости. Пусть ябедники и лицемеры веляют перед начальством, как суки хвостом: мы будем презирать и их!»

— Хорошо написано, от души, а ведь сами писали, никто не помогал.

— А они в нашей помощи и не нуждаются. Смотри, вон Халтурин сколько читает, «Голос» и «Новое время» не пропускает, «Русские ведомости» он изучил, и я сам видел вырезки, которые у него на окне лежат. Он какой-то статистический материал подбирает.

— Да, читает он много, и кажется мне, что больше нас с тобой, да и с большим толком. Я как-то раз заскочил к нему, только поздороваться успел, а он сразу: «А читал, Сергеич, как Головачов-то в «Отечественных» расписался? Чуть-чуть не революцией припугнул начальство». А я тогда и не читал Головачова.

— Я, знаешь ли, заметил, что Халтурин и его кружок рабочих вынашивают планы образования своей собственной самостоятельной

организации. Ты только приглядишься, как они вслушиваются в то, что говорят и лавристы и бунтари. Только мы, лавристы, им больше по душе, от нас можно узнать и о социальных вопросах на западе, о быте, нравах и требованиях рабочего люда в Европе, Америке, о рабочих партиях.

— А ты на похоронах был?

— Нет, лавристы отказались участвовать в них.

Между тем похороны рабочих патронного завода, погибших при взрыве, вылились в яркую демонстрацию.

Хоронили 9 декабря. Патронный завод не работал, так как к 10 часам утра свыше тысячи человек рабочих, оставив мастерские, собрались у ворот завода. Рабочие были одеты в свое лучшее платье, толпа настороженно и хмуро молчала. Пришли и бунтари во главе с Плехановым. Мороз стоял лютой, люди замерзли, говорить не хотелось. Народники были разочарованы. Они приготовились митинговать, а тут... Осинский невесело пошутил: «Нет, господа, революцию нужно делать летом, в этакий мороз никого не расшевелишь». Халтурин услышал его слова:

— Подождите, время для разговоров еще не пришло, нужно от завода отойти.

Пока шли к кладбищу в сопровождении городских, стояли над могилами, все было спокойно. Казалось, что сейчас все разойдутся. Как вдруг на одну из крайних могил вскочил рыжий рабочий, кладовщик с завода Феофанов.

— Господа, — начал он, — мы хороним сегодня шесть жертв, убитых не турками, а попечительным начальством...

Заверещали свистки городских, околоточный подскочил к оратору.

— Я вас арестую!..

Да не тут-то было. Рабочие накинулись на полицию, Феофанова оттеснили, и он исчез в толпе. Околоточный испугался и начал извиняться:

— Ведь я же не могу иначе, господа, я сам отвечаю за беспорядки перед начальством.

— Вот мы тебя вздуем, так ты впредь не будешь соваться куда не следует!

Кто-то из рабочих сжалился:

— Братцы, что ж мы их бить будем, нас много, их мало, стыдно нам с ними связываться. Пускай себе идут по домам, никого из нас тронуть не посмеют!

Халтурин и Осинский загнали пристава за могилу, стоят, смеются, кулаки показывают, а тот от бессилия только ругается. Рабочие окружили оратора и, ругая начальство, пошли с кладбища, но тут вмешались бунтари,

конспираторы они опытные, знали все повадки шпионов. Посоветовали оратора на извозчике отправить, а чтобы никто за ним не проследил, велели рабочим с места не трогаться и за полицией глядеть.

Рабочие стали расходиться, но городской выхватил свисток и давай призывать на помощь. Намяли ему бока, вырвали свисток. Городовой в ярости орал:

— Это бунт, вы все ответите за это, это вам так не пройдет!!

Рабочие обозлились:

— Помалкивай, покуда бока целы!

А городской распалился совсем;

— Я исполняю свою обязанность, а вы бунтовщики! — Да так и поперхнулся, увидев бунтарей, которых заприметил еще на Казанской площади во время демонстрации. А те кланяются ему, хохочут, говорят:

— Очень приятно встретиться со старым знакомым, надеемся, что это не в последний раз.

Хорошее впечатление произвели действия рабочих, и бунтари остались довольны, и рабочие на других заводах тоже подняли головы.



## ГЛАВА V

# СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ РУССКИХ РАБОЧИХ

Конец 1877 и начало 1878 года ознаменовались новыми арестами среди рабочих и новым подъемом рабочего движения по всей России. Жандармы схватили первых создателей рабочей организации столицы, которую они между собой уже и тогда называли Союзом русских рабочих, хотя формального его провозглашения еще не было, не было ни устава, ни программы. В застенки попали Семен Волков, Алексей Петерсон, Карл Иванайнен, Обручников и другие.

Но их места в союзе заняли новые люди, среди которых были не только передовики-металлисты, но и текстильщики, мало-помалу втягивавшиеся в борьбу.

Халтурин и Обнорский продолжали сколачивать рабочую организацию. Они как бы предвидели разлив — стачечной борьбы, хорошо сознавая, что только сплоченность, солидарность, чувство товарищества и высокая организованность рабочих помогут им выйти победителями.

В феврале в России воют вьюги, крутит метель, наметая сугробы снега, на февраль обычно падает и масленица. В деревнях строят снежные горки, потом берут их приступом, в городах ездят на разукрашенных тройках, и всюду обедаются блинами. Кто ест их с икрой и балычком, запивая водочкой «от Смирнова» «со слезой», кто завертывает в блин соленый грибок и пьет сивуху собственного приготовления, много и таких, кто только смотрит в рот обжорам. После 1861 года правительство всегда ждет на февральско-мартовских масленицах каких-либо эксцессов — как-никак юбилей отмены крепостного права, годы прошли, а крепость фактически осталась, «новая воля» многим «похуже старой неволи» стала. Жандармы в эти дни настороже, осведомителям Третьего отделения чуть ли не в каждой пирушке мерещится заседание кружка с «возмутительными антиправительственными речами».

На этот раз масленая неделя прошла тихо, усталые «блюстители порядка» с первого дня великого поста начали вознаграждать себя за труды и вынужденное воздержание. Шеф жандармов также решил немного передохнуть и в последний день февраля явился в Третье отделение только в первом часу дня.

На письменном столе в кабинете лежала докладная записка исполняющего должность градоначальника Козлова. Мезенцев неторопливо вскрыл конверт и, привычно пропуская фразы официального обращения, бегло просмотрел первую страницу. Но что это? «На Новой бумагопрядильной и ткацкой фабрике, по Обводному каналу, № 64, 27 февраля возник беспорядок, заключающийся в том, что рабочие отказались от работы и, сгруппировавшись во дворе фабрики, стали заявлять свое недовольство на администрацию.

...Сегодня рабочие собрались на фабрику в 5 часов утра, мастера пустили в ход машину, но кончилось тем, что рабочие из недоверия к новому управляющему поговорили, покричали, что за такую плату невозможно работать, сами погасили газ и разошлись по домам. С 8 часов они стали группироваться для соглашения относительно принятия расчета и новых условий.

Насколько можно было заметить, рабочие положительно соглашались уже на условия, предложенные фабрикою, но, не питая ни малейшего доверия к новому управляющему, требуют смены его и с этой целью, как носится слух, хотят проникнуть толпою к Зимнему дворцу и повергнуть таким путем свою просьбу на все милостивейшее его императорского величества воззрение. Меры против этого с моей стороны приняты...»

Мезенцев вызвал к себе Козлова, чтобы договориться на случай, если рабочие попытаются под видом подачи прошения на высочайшее имя организовать уличную демонстрацию.

Вечером 27 февраля Михаил Родионович Попов и Плеханов встретили знакомого разносчика газет. Это был типичный представитель проницательной, крикливой и всегда все знающей корпорации.

— Слыхали, на Обводном шпульщики забастовали, фабрика сегодня стояла целый день.

— А почему, причины в чем?

— Управляющий Фиш, англичанин, по-русски ни «бе» ни «ме», зато здорово кумекает насчет того, как русского человека облапошить. Взял ни с того ни с сего и уменьшил сдельную плату — по прядильному на десять копеек с пуда, по ткацкому на пять-шесть копеек с куска. Я сейчас в артель бегу, там собрались шпульщики, спорят — выходить назавтра на работу или дальше бастовать. Пошли со мной, что ли...

Плеханов и Попов двинулись за газетчиком. В артельной квартире, где в основном жили тверские рабочие, шпульщики не старше пятнадцати-шестнадцати лет, стоял страшный гвалт.

— Дурим ли или нет, а только так и знайте — завтра не станем на

работы.

— По-вашему выходит, идти нам всем за шпудльщиками, а по-моему, нужно шпудльщикам вихры надрать. Отцы-то в деревне — поучить и некому.

— Фу-ты ну-ты, мы-ста, вы-ста, надрать вихры, еще кто кому...

Приход интеллигентов прекратил споры. Наступила минута неловкого молчания. Шустрый газетчик, стараясь вывести всех из затруднения, с серьезным видом обратился к Плеханову:

— Вот не знаем, как нам быть, бастовать ли всем или становиться на работы.

Рабочие прыснули, послышались реплики:

— Да тебе что, Андроныч, на кой леший тебе становиться?

— Твое дело — взял под мышки газеты и знай выкрикивай: «Кому новых, свеженьких газет!»

— Хватит, дайте людям слово сказать, и так языки начесали, а надумать ничего и не надумали.

Плеханова не нужно было просить, он любил и умел выступать внезапно, экспромтом.

— Господа, даром ничего не дается. Поверьте мне, я хоть и не пророк, но не нужно быть и пророком, чтобы предсказать, что это ваше вполне законное желание — не давать себя в обиду — хозяева и правительство назовут бунтом. Но вы этим не смущайтесь: мы постараемся вывести ваше дело на свет божий, мы будем печатать о ходе вашей стачки в газетах. В крайнем случае, если понадобится, можно будет подать прошение, по-моему, лучше не государю, а наследнику, он, говорят, более расположен к простому человеку.

Плеханов разгорячился, рабочие слушали с напряженным вниманием. Заканчивая свою импровизацию, Георгий Валентинович вскочил на табуретку.

— Мне остается сказать вам еще только вот что: вы заметили, я все время говорил — мы да мы, а не я. Есть много, господа, людей, которые готовы работать и жертвовать своей жизнью для блага русского народа, для блага русского рабочего. А пока, господа, прощайте. Я вам сказал наш совет, ваше дело принять его или отвергнуть.

— Благодарим!

— Покорно благодарим!

Попов и Плеханов прямо из артельной квартиры поспешили оповестить землевольцев о предполагаемой стачке.

По дороге Попов заспорил, не соглашаясь с намерением Плеханова

сразу превратить стачку в уличную демонстрацию под предлогом подачи прошения наследнику.

— Да пойми ты, Михаил, ведь стачка возникла стихийно, никто ее не готовил, значит так же стихийно она может и прекратиться, а мы используем ее как агитацию действием, если не бунтом, так демонстрацией.

Попов возражал.

На следующий день к вечеру Петр Анисимович Моисеенко рассказывал Халтуруину:

— Я слышал сегодня, как интеллигенты говорят, что стачка сама собой произошла. Ну, и пусть себе. А ведь какую работу мы провели там со шпульщиками и ткачами, прежде чем фабрика стала. Теперь, Степан, нужно требования конторе предъявить. Мы их тут набросали, посмотри.

— А чего смотреть-то, Петр, знаю, что вы все обговорили с рабочими, не от себя придумали, ведь са-ми-то не чужие, рабочие и есть. Ты вот лучше скажи, слышал я, к наследнику идти хотят?

— И не говори... В царя вера еще сильна у ткачей, это тебе не металлисты. Нам и то изворачиваться, ой, как приходится! Иначе и слушать тебя не будут. Мы уж отговаривали, попов, правительство да дворян ругали. А царя нельзя, словом, «посуду бей, а самовара не трогай». И уговорили бы наверное, да вот дружок твой, Плеханов, всю обедню испортил, побывал у шпульщиков да к наследнику идти призвал. Что-то я не могу понять, ведь из народников он, а рабочих к царскому сыну зовет с поклоном идти.

— Не понял ты, не понял, Петр, Плеханов, сдается мне, рабочих на улицу вывести хочет. Это не худо, только ведь рабочие ткачи не поймут, что подача прошения — зацепка, а главное — свою силу перед народом показать, как в семьдесят шестом году у Казанского да в прошлом на Смоленском кладбище. Не отговорили?

— Куда там. Кричат «подать!» — да и делу конец.

— Завтра я поговорю с ними, хотя боюсь, не растолкую, мало еще с ткачами-то работы ведем.

— Нет, Степан, ты пока не ходи, там вокруг фабрики «пауки» шныряют всюю, фабричным ребятам для соблазна, уж они их камнями да грязью. Не ровен час, налетишь.

Халтурина разыскивала полиция, и рабочие охраняли организатора и руководителя союза, с ним держали связь только несколько человек. О составе руководящей группы союза, куда входили Халтурин и Обнорский, знали лишь самые надежные, самые проверенные кружковцы. Халтурин и

сам требовал от членов кружка строжайшей конспирации. В этом отношении Степан Николаевич брал пример с землевольцев и не стеснялся расспрашивать их о том, как они маскируются, учился у них и учил рабочих. Совет Моисеенко не ходить на бумагопрядильную фабрику был разумным, и Халтурин последовал ему.

Три недели продолжалась стачка.

Моисеенко по заданию союза рабочих руководил ею, проводил беседы с рабочими, помогал выработать требования, поддерживал материально из средств союза. Халтурин же, связавшись с рабочими кружками на других заводах столицы, организовал сбор денег. Рабочие собрали около 300 рублей. Через Попова и Плеханова Халтурин добился денежной помощи бастующим от студентов и либеральной интеллигенции, что пополнило кассу забастовщиков еще на 1 000 рублей.

Как ни старались члены союза отговорить ткачей подавать прошение наследнику, рабочие новопрядильной решили все же идти. По просьбе рабочих, Михаил Родионович Попов составил прошение «по всем правилам адвокатского искусства». Когда Моисеенко принес текст его к Халтуруину, Степан предложил, чтобы в конце прошения было указано, что если не будут удовлетворены требования рабочих, то они будут этого добиваться сами. К «адвокатской бумаге» были добавлены слова: «тогда мы будем знать, что нам не на кого надеяться, что никто не заступится за нас и мы должны положиться на себя и на свои руки».

Хотя Степан и обещал своим товарищам не появляться среди бастующих, в день подачи прошения наследнику не утерпел, решил пойти посмотреть, разведать настроения текстильщиков, так недавно влившихся в поток рабочего движения и еще не искушенных в нем.

16 марта, часа в три, Халтурин был в Александровском сквере у памятника Екатерины II. Степану пришлось загримироваться, что делал он впервые и очень неумело. Рабочие подходили дружно, и скоро набралась толпа человек двести-триста. Полиция обеспокоилась и стала предлагать собравшимся разойтись. Рабочие отказались и высыпали из сквера на Невский.

Степан двинулся вслед за ними. На Невском к рабочим стали присоединяться прохожие, толпа выросла вдвое. Вскоре Халтурин заметил Плеханова, Попова и некоторых других землевольцев. Они не заметили Степана. Халтурин приблизился к Попову в тот момент, когда того остановил какой-то господин, странно одетый, видимо провинциал. Указывая на рабочих, он спросил:

— Что это такое?

Попов подозрительно оглядел прохожего и уклончиво ответил:

— Не знаю хорошо сам, говорят, рабочие, что ли, идут с прошением к наследнику.

Кто-то сзади Халтурина пояснил:

— Это с Обводного. Обижают, значит.

— Кто нашего брата не обижает, почитай, кто только не хочет.

Халтурин обернулся и увидел говорившего. Это был старик лоточник, продававший спички. Провинциал тоже задержался возле старичка.

— А мерзавцы, сказать правду, эти толстосумы, до чего людей доводят.

— Настоящие аспиды, ваша милость. Такой народ зря не пойдет, это не студенты, которые балуют.

Халтурин поспешил дальше, размышляя на ходу: «Ведь вот сторонние люди отличают рабочих от студентов и не только по одежке, а по поведению. Демонстрацию студентов обыватели называют «баловством», а к выходу рабочих на улицу относятся серьезно, как бы признавая их право на это».

«Нужно скорее отрасли союза на всех фабриках создать, программу написать да и оповестить о ней всем, рабочих на улицы вывести со всего Петербурга, да не с прошением, а с требованиями», — думал Халтурин, подходя к Аничкову дворцу. Рабочие столпились у подъезда, окружив пролетку исполняющего должность градоначальника генерала Козлова. Моисеенко вышел вперед и заявил:

— Народ желает говорить с цесаревичем и просит его улучшить положение рабочих. Мы пришли просить не за себя только, а за всех рабочих. На других фабриках тоже грабят и душат...

Козлов оторопел, а потом велел схватить Моисеенко. Халтурин видел, как Петр Анисимович быстро выбросил бумагу с прошением, но ее поднял жандарм и передал Козлову. Рабочие заволновались, мирное шествие «царистски настроенных ткачей» готово было перерасти в политическую демонстрацию рабочих. Вероятно, об этом подумал Козлов. Войдя во дворец, он через несколько минут опять появился на улице и заявил:

— Его высочество поручил мне принять ваше прошение и приказал передать, чтобы вы спокойно разошлись по домам. Итак, расходитесь по домам. А ты, ты и ты... — Козлов указал на пятерых рабочих, — останьтесь.

Через несколько минут пятеро рабочих вошли во дворец. Настроение ткачей падало. Они не знали — требовать ли возвращения товарищей, которых, наверное, арестовали, или подождать — может, их во дворец, к наследнику позвали. Халтурин как никто умел улавливать эти настроения

рабочих. Момент был упущен, теперь уже демонстрация вряд ли удастся. Нужно не допустить, чтобы полиция арестовала еще кого-либо. Заметив Абраменкова, который недавно вошел в союз, Халтурин подошел к нему и шепнул, чтобы тот посоветовал рабочим расходиться по домам.

На обратном пути Халтурин нагнал Плеханова. Георгий Валентинович только руками развел, заметив грим Степана.

— Нет, Степан Николаевич, вам подучиться этому искусству нужно. Погодите, я вас с одним человеком познакомлю, мастер на эти дела. Ну, как вам ткачи понравились?

Халтурин ничего не ответил. Он боялся, что наговорит лишнего Оратору, ведь если бы не Плеханов, вероятно, не было и «шестивия» к наследнику. Холодно распрощались.

Дома Степан Николаевич долго и настойчиво анализировал события, делал выводы. Ясно было, что текстильщики отстали от металлистов, в них нет еще того сознания пролетарской солидарности, понимания своих рабочих интересов и необходимости борьбы за их осуществление. С ними нужно работать и работать. С другой стороны, отрадно было сознавать, что теперь в рабочее движение втянулись самые отсталые слои пролетариата, и можно будет попытаться объединить усилия рабочих всех фабрик столицы, а может... Халтурин размечтался, мечтал он о реальном, достижимом, мечтал о стачке всех рабочих всей России.

Эти мечты прервал неожиданный визит Обнорского. Виктор Павлович только в начале этого года вернулся из очередной поездки за границу, и с Халтуриним ему приходилось встречаться не часто, поэтому оба дорожили этими встречами.

— Ну как, чем кончилось хождение к наследнику?

— Плохо получилось, Виктор Павлович, мы текстильщиков прохлопали. Моисеенко, наверное, арестован.

— Нет, я его сейчас встретил, его часа полтора продержали в подвале, нотацию прочли и выпустили.

— Думается мне, что пора наши кружки на заводах да по районам объединять и открыто о создании рабочего союза провозгласить. А то и есть организация и как бы нет ее.

— И я так думаю, но сдается мне, что прежде, чем открыто заявлять о союзе, надобно два дела сделать. Первое — программу и устав его разработать, второе — это уже по вашей части, Степан Николаевич, отрасли создать в Москве, Нижнем, даже на Урале.

Когда в Одессе Южный союз создавался, то сразу отделения в Николаеве и Харькове образовали, а ныне мы по всей России рабочих

объединить должны.

Халтурин загорелся, его мечты совпадали с предложениями Обнорского.

— Бачина в Ростов направим, вы, Виктор Павлович, в Москву собирались, а я на Волгу и на Урал съезжу. Что вы на это скажете?

Обнорский задумался. Организаторский дар Халтурина был ему хорошо известен, и никто другой так не ценил его, понимая, что Степан Николаевич незаменимый для рабочего дела человек. Но, с другой стороны, уехать сразу всем руководителям рабочего союза из столицы, когда назревают новые столкновения с предпринимателями, правительством, полицией, не ослабит ли это петербургской организации?

— А справятся ли здесь без вас?

— Справятся, конечно, справятся, ведь какие люди выросли — Моисеенко, Абраменков, Дорофеев! В организации они недавно, а будто всю жизнь только и делали, что рабочим движением да кружками руководили.

— Ну что ж, тогда надо пытаться. Да и то, вам нужно уехать, Степан Николаевич, боюсь, полиция на ваш след напала, уж больно вы неосторожно с завода на завод порхаετε, речи говорите, особенно когда деньги для рабочих новой бумагопрядильни собирали. Вас наверняка заметили шпионы.

— В нашем деле без риска нельзя, не мне вам об этом толковать-то. Вы когда в Москву собираетесь?

— Пока поживу в Питере, а вы не теряйте время и поезжайте в Нижний.

— Вот и хорошо, пока вы в Питере сколачивать кружки будете, я там на Волге и на Урале отрасли создам.

Две недели Халтурин готовился к отъезду. Задержали аресты среди рабочих, начавшиеся в конце апреля. Халтурин был обеспокоен не на шутку. И хотя ему самому грозила тюрьма, он не покидал Петербурга, продолжая работать на Сампсоньевском вагоностроительном заводе.

Только 22 мая, уволившись с работы, Степан Николаевич выехал в Нижний.

\*

Землевольтцы дали Халтуруину адрес Анны Васильевны Якимовой,



которую Степан и разыскал, но не в Нижнем, а в Сормове.

В 1878 году Анне Васильевне Якимовой исполнилось всего двадцать два года. Но это не помешало ей стать уже заметной фигурой среди народников. Она судилась по процессу 193-х, но была оправдана. Выбравшись из Петербурга, Якимова уехала в Сормово, чтобы здесь вести пропаганду среди рабочих завода наследников Бенардаки.

Халтурина под фамилией Королева Степана Николаевича, бахмутского мещанина, также приняли слесарем на завод «наследников». Сормово разрасталось, помимо старого судостроительного завода выросли новые: механический, чугунолитейный, паровозостроительный. Бывшее село превратилось в рабочий поселок. Правда, пока еще незначительная часть жителей его были здесь постоянными обитальцами, основная масса рабочих проживала временно — уходила и приходила. Халтурина интересовали кадровые рабочие Сормова, местные старожилы, Якимова, наоборот, искала сближения с сезонниками. Среди сормовских рабочих народническая пропаганда велась сравнительно недавно и неумело. Между тем Халтурина сразу привлек этот «пролетарский заповедник». Халтурин решил, что именно здесь нужно создать филиал рабочей организации, отсюда завязывать связи с Уралом.

Через месяц после приезда в Нижний Халтурин был уже своим человеком в рабочих кружках Сормова. Сблизился он и с Якимовой. В этой молодой женщине Халтурина привлекал ее задор, отвага. Якимова явно тяготилась ведением исключительно пропагандистской работы и жаждала, как сама признавалась Халтуруину, «живого дела».

— Знаете, Степан Николаевич, очень хочется что-нибудь решительное сделать. Слова надоели, и очень волнует то, что происходит теперь в столицах. Там люди вышли уже на площадь, не скрываются, как мы, по углам.

Халтурин слушал молча эти сетования и не разделял настроений Якимовой. Разве можно сравнить работу с рабочими с тем «вспышкопускательством», которым занимаются бунтари в столице.

Все это казалось Степану несерьезным и ненужным лихачеством, которое ощутимых плодов не приносит, а крови льется много, крови искренних, преданных революции людей.

Как бы утверждая Халтурина в правоте его взглядов на бунтарство, газеты приносили известия о расправе полиции с народниками. В Одессе несколько студентов университета оказали вооруженное сопротивление жандармам, явившимся их арестовать. «По приговору военного суда их повесили, и войска с музыкой прошли по их могилам». Якимова тяжело

переживала это известие, да и Халтурин страдал.

Все чаще и чаще, узнавая о зверствах жандармов, казнях народников, знакомые интеллигенты говорили Халтурину о необходимости мести. Халтурин хмурился. Не отрицая террор вообще, он считал, что увлечение им пойдет только во вред политической борьбе рабочего класса. Террор не даст возможности окрепнуть рабочим организациям.

Вот и сейчас в Киеве какая-то Наташа Армфельд и братья Ивичевичи подняли стрельбу на улице, сопротивляясь аресту. Ивичевичей убили, Наташу схватили, и не миновать ей теперь виселицы.

В 1878 году совершался переворот в настроениях землевольцев. Те из них, кто выехал в деревни, поселились среди крестьян, мало-помалу начинают осознавать тщету своих усилий поднять деревню на революцию. Поселения пустеют, пропагандисты бегут в города. И лишь немногие из них, оказавшись в городе, пытаются заняться пропагандой среди рабочих, большинство же, потеряв веру в народ, ищут связей с оппозиционными элементами «образованного общества», втягиваются в единоборство одиночек с государственной машиной царизма. Группа дезорганизаторов партии растет, ей рукоплещут недовольные, террор уже кажется им не средством обороны, а универсальным методом революционного наступления. Пропаганда народной революции отступает на второй план. Захват политической власти партией народников вдохновляет дезорганизаторов на новые и новые покушения.

А началось все с Трепова. Собственно, даже не с него, а с пресловутой «боголюбовской» истории в тюрьме. Экспансивные южане — Осинский, Попко, Брантер, приехав в Петербург, пылали мезтью и спорили о планах ее осуществления. Между тем северянка Вера Ивановна Засулич опередила их. 24 января 1878 года она скромно явилась на прием к градоначальнику Петербурга, дождалась своей очереди, вошла в кабинет, неся в одной руке прошение, другой же выхватила револьвер и выстрелила в Трепова, тяжело ранив генерала. Засулич схватили. Потом ее судил суд присяжных, но на суде вскрылись такие зверства генерала, такой произвол тюремных властей, что присяжные вынуждены были оправдать Засулич. Огромная толпа людей, ожидавшая решения суда, подхватила Засулич на руки, усадила в карету и проводила, громко выражая свои чувства восторга. Выстрел «скромной северянки», сочувствие тысяч людей ее подвигу, подлили масла в огонь. По всей России загремели выстрелы.

В Киеве, куда опять вернулся Осинский, был выслежен прокурор Котляревский. Ночью Осинский стрелял в него. Прокурор, лежа на земле, ревел от страха, но толстая шуба спасла его от пуль. Тогда-то у Осинского и

зародилась мысль оповещать общество о всех террористических актах от имени «Исполнительного комитета», которого никто не выбирал, но так выглядело грозней. В марте 1878 года первая прокламация с оповещением о покушении на Котляревского и об убийстве шпиона Никонова в Ростове-на-Дону была расклеена на заборах Киева.

25 мая жандармский офицер Гейкинг был убит Попко. Софья Перовская, Александр Квятковский, Александр Михайлов, Фроленко, Баранников учинили целое сражение, пытаясь освободить осужденного по процессу 193-х Войнаральского.

Нервы России были напряжены, в такой атмосфере трудно было устоять, остаться в стороне от открытых схваток с правительством, они увлекали молодежь, и только твердая вера Халтурина и его товарищей по союзу в то, что террор не даст политических свобод рабочему классу, не вызовет революции, заставляла их продолжать организаторскую деятельность. В сознании целей и средств революционной борьбы бывшие ученики народников на голову переросли своих учителей. Но террор уже стал мешать работе неокрепшей и до конца не оформившейся организации. Усиление полицейских репрессий не могло не сказаться и на рабочем движении.

Даже Халтурина порой одолевала злоба. Хотелось очертя голову броситься в бой и бить, крушить ненавистных царей, генералов, жандармов, хозяев.

Якимова угадывала смену настроений Халтурина.

Однажды Анна Васильевна попросила Степана проводить ее домой после заседания кружка. На улице было уже темно, когда они выбрались из душной каморки и двинулись к станции железной дороги, соединяющей Сормово с Нижним. В вагоне никого. Якимова была взволнована, несколько раз порывалась что-то сказать, но не решалась. Халтурин молчал, удивленно поглядывая на свою спутницу.

— Степан Николаевич, по-разному мы относимся к террору, и я не стану вас переубеждать, — наконец заговорила Анна Васильевна глухим от волнения голосом. — Но могу я надеяться на вашу помощь?

Сквозь оконное стекло вагона луна освещала бледное лицо Якимовой. Ее огромная русая коса немного растрепалась, серые, всегда такие ясные глаза смотрели на Степана с мольбой, сквозь грохот поезда слова ее были еле слышны.

— Конечно, если нужно помочь, то отчего же. А чем, к слову, могу я вам помочь?

Якимова больше не колебалась и, наклонившись к уху Халтурина,

торопливо пояснила:

— Через Нижний должны везти на каторгу Брешко-Брешковскую. Наши решили ее освободить. В Нижний приехал Николай Морозов, но у него нет надежных людей. Помогите нам, Степан Николаевич.

Халтурин ответил не сразу. Принять участие в освобождении Брешко-Брешковской? Это плохо вязалось с той тактикой революционной пропаганды, которую избрал рабочий союз. Но, с другой стороны, Халтурин не мог не прийти на помощь товарищам, он всегда был готов помочь в освобождении узника, которого отправляют заживо в сибирскую каторжную могилу. Халтурин колебался недолго.

— Кто еще примет участие в освобождении Брешко-Брешковской?

— Николай Морозов, Ширяев, вы его знаете, это тот студент, что на паровозном кружок ведет, ну, и вы, если согласитесь. Меня Морозов не хочет, как он говорит, «впутывать», потому что я женщина. — Якимова была явно огорчена. Она не рассказала Халтурину, как долго и горячо доказывала Морозову необходимость ее участия в освобождении. Но Морозов был непреклонен.

На следующий день под вечер Халтурин пришел в гостиницу, где жил Морозов. Степан Николаевич впервые столкнулся с народником, чье имя уже успело обрести популярность среди террористов. Морозов встретил гостей как хлебосольный хозяин. На столе лежали сыр, масло, колбаса, кипел самовар.

Когда чаепитие кончилось, Морозов, в явном расчете на эффект, погасил свет, запер дверь номера на ключ и, отодвинув в сторону чайную посуду, выгрузил из чемодана кучу револьверов. В холодноватых отблесках луны оружие выглядело романтично. Якимова с восторгом перебирала его, Ширяев был зачарован. Только Халтурин оставался равнодушным. Свет больше не зажигали. Покончив с обзором «арсенала», Ширяев нарушил тишину:

— Я очень рад, что вы приехали и предложили нам более живую деятельность. Тайные занятия с рабочими, разговоры о свободе, равенстве и братстве украдкой, с опасениями как-то мало удовлетворяют душу.

Якимова с опаской посмотрела на Халтурина, его-то душу эти «разговоры» вполне удовлетворяли, хотя это и не означало, что Степан Николаевич не задумывался над планами практической борьбы рабочих за свободу и братство. Халтурин по-прежнему молчал, никак не реагируя на слова Ширяева.

Между тем Морозов делился планами освобождения Брешко-Брешковской:

— Я не люблю сложных и дорогостоящих планов. Смелые и простые способы всегда осуществимее. Мы выйдем пешком на дорогу, как простые гуляющие, и сядем где-нибудь у мостика через ручей. Перед тем как жандармы подъедут, можно будет вынуть из мостка два или три бревна и крикнуть их ямщику, чтоб ехал осторожно, так как мост прогнил и продавился. А когда ямщик призадержит лошадей, тогда я и Степан Николаевич воткнем по колу в спицы их задних колес. Колеса не будут вертеться, и им нельзя будет умчаться. Вы, Ширяев, возьмете на прицел ямщика, мы — жандармов. Потребуем, чтобы они вышли из телеги. Затем мы их свяжем и, оставив на дороге, ускачем на их же собственных лошадях в Нижний. Здесь для Брешковской уже подготовили хорошо законспирированную квартиру, где она сможет прожить месяц. Нам нужно загримироваться, и нас никто не будет в состоянии узнать, тем более, что теперь начинается нижегородская ярмарка и весь Нижний будет полон приезжающими.

— Вот будет кавардак, — засмеялась Якимова, — когда жандармы начнут обыскивать и задерживать тысячи приехавших купцов.

Халтурин улыбнулся, ему нравился Морозов, но план его он считал легкомысленным и неосуществимым.

Степан теперь уже сомневался, вправе ли он подвергаться риску, впутываться в дела бунтарей и бросать начатую работу среди сормовских пролетариев. Как ни гримируйся, а из Нижнего нужно будет немедленно уезжать.

— Скажите, Брешковскую уже привезли в Нижний?

Морозов на минуту смутился, вопрос Халтурина как бы спустил его на грешную землю из заоблачных высот террористической романтики.

— Нет, ее еще нет здесь. Наверное, в Москве задержали.

Халтурин, распрощавшись, ушел. Он не мог теперь отказаться от участия в освобождении Брешковской, чтобы не подвести Якимову, Морозова, Ширяева. Значит, нужно в оставшиеся дни договориться с наиболее активными рабочими завода Бенардаки о связях, предупредить на случай внезапного отъезда.

После ухода Халтурина в комнате несколько минут царило молчание. Его нарушил Морозов.

— Анна Васильевна, а что из себя представляет Халтурин? Я о нем слышал, если это тот Халтурин.

— Я его тоже знаю недавно, зато Сергей Кравчинский в восторге от него. Во всяком случае, Степан Николаевич человек незаурядный, очень начитан, не всякий студент с ним сравниться может. Смел, решителен и в

то же время мечтатель.

— Мечтатель?

— Да, да, по словам Кравчинского, это скорее артист с нервным темпераментом. Степняк, вы же знаете, сам артист, но когда он говорил о Халтурине, то преображался весь. Пойдите, я помню его слова: «Он напоминает собой музыкальный инструмент с вечно натянутыми струнами, которые малейший толчок заставлял дрожать. Жгучесть его энергии, энтузиазма и оптимистической веры заразительна». Дальше не помню, что-то в этом роде.

Якимова раскраснелась, видимо она целиком разделяла мнение Кравчинского, и слова его, сказанные о Халтурине, глубоко запали в голову, подтвердились личными наблюдениями.

Через два дня Халтурин проснулся от шума, который подняли его соседи по квартире. Целую ночь Степан работал в смене, вечером должен был встретиться с активистами кружка на паровозостроительном заводе, а перед этим хотелось выспаться. За стеной горячо спорили два кузнеца. Они, так же как и Халтурин, работали у «наследников», посещали занятия в кружке Якимовой, и Халтурин, присмотревшись к ним, решил привлечь их в союз.

Быстро одевшись, Степан вошел в комнату кузнецов. Один из них, Биткин, держал в огромных ручищах листок местной газеты. Заметив Степана, он протянул ему газету.

— Смотри.

Халтурин прочел строки, указанные Биткиным:

«Начальник Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии убит кинжалом на одной из людных петербургских улиц. Убивший скрылся на подъехавшем рысаке».

Далее следовал отчет репортера: «На углу Михайловской площади и Итальянской улицы начальник Третьего отделения шел в часовню молиться со своим другом полковником Макаровым. Неизвестный, высокий брюнет, подойдя к нему, поразил его кинжалом в грудь. Когда полковник бросился схватить его, другой, тоже высокий, но более молодой брюнет, выстрелил из револьвера, и когда тот отскочил, оба сели в шарабан, запряженный серым в яблоках рысаком, и быстро уехали от преследующих».

Халтурин выпросил у кузнецов газету и бросился к Морозову. Через час он был в гостинице. Морозов сиял, он готов был обнять Халтурина.

— Читали? — воскликнул Морозов.

Халтурин кивнул головой, показывая газету.

— Молодец! Умница! Я теперь еще более восторгаюсь им. — Морозов

бегал по комнате.

— А разве вы знаете убийцу?

Морозов замер на месте, перестав улыбаться. Ширяев отложил карандаш и во все глаза смотрел на него. Преодолев внутреннюю борьбу, Морозов обратился к Халтуруину:

— Степан Николаевич, что же нам друг от друга таиться. Вот мы впервые с вами встретились здесь два дня назад, а знакомы давно. Нас познакомил и ваш и мой близкий друг — Сергей Кравчинский. Так вот, это он ударил кинжалом Мезенцева, а прикрывал его Баранников, и, конечно, не обошлось без нашего Варвара, кто его догонит.

— Так это Степняк, — задумчиво проговорил Халтурин, — не ожидал я от него такой прыти. Значит, и он террористом заделался?

Морозов готов был броситься в бой, отстаивать взлелеянную им мысль о политической борьбе по методу Вильгельма Телля, но в это время в дверь постучался коридорный и, не дожидаясь ответа, просунул письмо.

— Вашей милости велено передать.

Морозов взял письмо. Халтурин не удержался:

— И какой, с позволения сказать, дурак письма коридорному вручает?

Морозов тоже был удивлен. Разорвав конверт, он быстро прочел послание.

— Тут один губернский деятель Фрейлих сочувствует нам. У него связь с Петербургом, ну, а сам ко мне зайти побоялся, как бы не скомпрометировать себя, вот и передал коридорному письмо. Все наши планы летят к черту. Слушайте: «Возвращайтесь назад, ее провезли в Сибирь еще раньше, чем вы приехали в Нижний. Она требовала остановки, заявила, что очень больна, но жандармы не обратили на ее заявление ни малейшего внимания и провезли далее, даже не останавливаясь в Нижнем».

— Да, — протянул Ширяев, — опять, значит, кружки, игра в прятки и слова, слова...

Халтурина передернуло, он холодно попрощался. Морозов был рассеян, куда девался его восторг, еще минуту назад круживший голову. Снова неудача, нужно уезжать...

Якимова отвернулась, ей было досаднее всех.

Степан решил, что задерживаться в Сормове дальше не стоит, если не филиал союза, то, во всяком случае, надежная опора в рабочих кружках создана, работа налажена. Оставаться — значит подвергать себя риску, полиция ищет его, и чем чаще, внезапнее будет он менять места, тем труднее ищейкам найти его след. Впереди Урал с его заводами, рудниками, вековыми традициями рабочего люда. Халтурин готовился в дальнюю

дорогу.

Но Степану Николаевичу так и не пришлось побывать на Урале.

Из Петербурга стали приходиться тревожные вести. Полиция добралась до членов центрального кружка рабочих. Этому способствовала в немалой степени связь рабочих с народниками. Последних выслеживали, арестовывали, за ними хватали всех, кого они посещали. Товарищи звали Халтурина в Петербург. До Урала ли теперь? В августе 1878 года Степан вновь был в столице.

\*

Положение рабочих кружков образующегося союза осенью 1878 года было угрожающее. Каждый день на фабриках и заводах полиция арестовывала рабочих. Правительство хотело удалить из столицы наиболее активных. Был арестован и Моисеенко. Высланный на родину в Смоленскую губернию под надзор полиции, он скоро сбежал, вернулся в Петербург и, перейдя на нелегальное положение, продолжал работу среди кружковцев Нарвской заставы и на Обводном канале.

Землевозы осенью 1878 года, наконец, наладили выпуск своего журнала «Земля и воля». Плеханов специально зашел к Халтуру, чтобы показать первый оттиск. Степан Николаевич внимательно прочел журнал и неожиданно заявил Оратору:

— Нет, не для нас этот журнал, наш журнал должен вестись совсем иначе.

— Позвольте, Степан Николаевич, какой это вы имеете в виду «ваш» журнал?

— Да вот думаем завести свою рабочую типографию и выпускать свою газету или журнал.

— А чем же наш журнал вас не устраивает?

— Доступных разумению всех статей в нем мало, а все больше ваши «интеллигентские вопросы». Вот, к примеру, «О долге образованных классов народу».

Всякие там споры о программе. А нам ваш «долг» не нужен, да и программа не подходит.

Плеханов не мог не согласиться с этой критикой и поспешил перевести разговор на иные темы;

— А что вы читаете, Степан Николаевич?



— Да так, по Лохвицкому изучаю конституции разных стран, интересуюсь Эйзенахской программой германских социал-демократов.

— Что это вы набросились на конституции?

Халтурин ответил уклончиво:

— Ведь это интересно.

Плеханов удовлетворился ответом, зная страсть Степана к политическим книгам, а Халтурин не стал объяснять Георгию Валентиновичу, что он сейчас напряженно обдумывает программу Союза русских рабочих. Пока она не выработана, Халтурин не хотел, чтобы интеллигенты знали что-либо о ней. Степана очень беспокоил вопрос о создании своего печатного органа, на страницах которого можно было бы обсуждать вопросы, близкие сердцу рабочего.

Создавая программу союза, Халтурин понимал, что ее необходимо широко обнародовать среди пролетариев. Значит, программа, газета, типография должны стать главной заботой организаторов союза. Вернувшись из Нижнего, Халтурин уже не застал в Петербурге Обнорского. Виктор Павлович, занятый также основанием типографии, не смог приобрести шрифта и станка в России и решил снова съездить за границу, где это добыть было гораздо легче.

Через своих друзей-землеольцев Обнорский достал паспорт на имя Дмитрия Федоровича Зейдера и укатил сначала в Лондон, затем в Париж. Для покупки станка из рабочей кассы Виктору Павловичу была выдана необходимая сумма денег. Станок нашелся у ткачиков, издателей «Набата». Купив станок, Обнорский оставил его в редакции «Revolte», договорившись о переправке в Петербург, а сам, на сей раз не задерживаясь за границей, поспешил через Варшаву в Россию. Обнорский не случайно заехал в Варшаву, он преследовал все ту же цель — расширить связи Петербургского союза рабочих с революционными организациями других городов и частей Российской империи.

Вернувшись в Петербург, Обнорский вместе с Халтуриным засели за выработку программы союза. Им деятельно помогали члены центрального кружка. Много было споров вокруг каждого пункта программы.

Халтурин и Обнорский, отрицая народническое учение о крестьянской революции, искали в западноевропейском рабочем движении образцы, применимые и для России. Остановились на Эйзенахской программе социал-демократической рабочей партии Германии, вошедшей в I Интернационал Маркса. В ней были кое-какие погрешности с точки зрения научного социализма, некоторые статьи отдавали лассальянством. Но Халтурин и Обнорский, испытавшие на себе влияние народнического

социализма, не могли, конечно, переработать эту программу, превратив ее в документ подлинно научного социализма. С марксизмом ни тот, ни другой в достаточной мере не были знакомы, хотя читали и Маркса и Энгельса, а Обнорский был лично знаком с обоими.

Никогда до этого ни Обнорскому, ни Халтуруину не приходилось писать теоретические работы или, тем более, политические программы. Не у кого было попросить и совета, так как не хотели посвящать интеллигентов во все тайны образования самостоятельной рабочей организации. Да и могли ли народники что-либо посоветовать? Узнай они, что рабочие собираются отчетливо сформулировать важность политических свобод и необходимость борьбы за их достижение, подняли бы вопль, обвинили бы в либерализме.

Поэтому Обнорский и Халтурин искали ответы на все спорные вопросы в готовых программах социал-демократических партий Запада, имея своим образцом Эйзенахскую программу. Образец образцом, но Эйзенахская программа была составлена применительно к условиям политической борьбы рабочего класса Германии. В России условия были иными, приходилось многое менять, продумывать заново. Так же как и германские социал-демократы, Халтурин и Обнорский решили создать две программы — минимум и максимум, что уже выгодно отличало их от туманной и все время видоизменявшейся программы народников.

В Эйзенахской программе-минимум было десять пунктов. Шесть из них целиком переписали в программу-минимум Северного союза, четыре изменили, исходя из конкретных условий России. Эйзенахская программа требовала отмены всех действующих законов о печати, союзах и коалициях. В России вообще не было законов о союзах и коалициях, законы же относительно печати настолько ее стесняли, что о «свободе печати» и говорить не приходилось.

Авторы программы-минимум Северного союза прямо потребовали свободы слова, печати, права собраний, сходов, причем поставили это свое требование на первый план.

Кое-какие пункты программы-максимум были написаны под прямым воздействием народнических теорий. Но ведь и рабочее движение тогда еще не освободилось от народнических форм.

Долго обдумывали вопрос, создавать ли отдельно устав и программу, как это имело место у землевольцев, но потом решили, что устав должен войти органической частью в программу. Наконец все было готово.

Ни Обнорский, ни Халтурин не собирались декларировать программу рабочим столицы. Прежде чем ее опубликовать, решили обсудить каждый

пункт на сходках рабочих.

На углу 13-й линии и Среднего проспекта Васильевского острова имелась обширная квартира, принадлежавшая приказчику — гостинодворцу Скворцову, вмещала она одновременно 20–30 человек. В ней проживала сестра хорошего знакомого и приятеля Степана, телеграфиста. В этой квартире и решили устроить общие собрания рабочих. Пришлось собрать два таких собрания — первое состоялось 23-го, второе 30 декабря 1878 года.

Обнорский опять уехал в Москву, и вся организация собраний легла на плечи Халтурина. Степан приходил первым на сходки и стоял у дверей квартиры до тех пор, пока она не заполнялась приглашенными.

Он внимательно следил за тем, чтобы на собрания не проникли посторонние.

Особенно многолюдно было 23 декабря, когда собралось человек сорок. Когда перестали хлопать входные двери, а в комнате стало совсем тесно, Степан поднялся и обратился к собравшимся.

— Ну, кажется, пора и начинать. Много говорить нечего, в кружках все обсказали. Сегодня программу нашего союза надобно обсудить да решить, принимаем мы ее так или что поправлять будем.

— А ты прочти ее всю, а мы послушаем, потом и поговорим.

— Верно, только максимум читай, о минимуме споров нет.

Халтурин начал читать:

— «К русским рабочим!

Сознавая крайне вредную сторону политического и экономического гнета, обрушивающегося на наши головы со всей силой своего неумолимого каприза; сознавая всю невыносимую тяжесть нашего социального положения, лишаящего нас всякой возможности и надежды на сколько-нибудь сносное существование, сознавая, наконец, более невозможным сносить этот порядок вещей, грозящий нам полнейшим материальным лишением и парализацией духовных сил, мы, рабочие Петербурга, пришли к мысли об организации общерусского союза рабочих, который, сплачивая разрозненные силы городского и сельского рабочего населения и выясняя ему его собственные интересы, цели и стремления, служил бы ему достаточным оплотом в борьбе с социальным бесправием и давал бы ему ту органическую внутреннюю связь, какая необходима для успешного ведения борьбы.

Организация Северного союза русских рабочих должна иметь строго определенный характер и преследовать именно те цели, какие поставлены в ее программе.

В члены этого союза избираются исключительно только рабочие и через лиц более или менее известных, числом не менее двух.

Всякий рабочий, желающий сделаться членом союза, обязан предварительно ознакомиться с нижеследующей программой и с сущностью социального учения.

Все члены союза должны сохранять между собой полную солидарность, и нарушивший ее подвергается немедленному исключению. Член же, навлекший на себя подозрение, изобличающее его в измене союзу, подвергается особому суду выборных.

Каждый член обязан вносить в общую кассу союза известную сумму, определяемую на общем собрании членов.

Делами союза заведует комитет выборных, состоящий из десяти членов, на попечении которых лежат также обязанности по кассе и библиотеке. Общие собрания членов происходят раз в месяц, где контролируется деятельность комитета и обсуждаются вопросы союза.

Собрание уполномочивает комитет только в действиях, являющихся непосредственно в интересах всего союза.

На обязанности комитета лежит также право сношения с представителями провинциальных кружков и фракций рабочих России, принявших программу Северного союза.

Провинциальные фракции союза удерживают за собой автономное значение в сфере деятельности, определяемой общей программой, и подчиняются только решениям общих представительных собраний.

Центральная касса предназначается исключительно на расходы, необходимые для выполнения планов союза и на поддержку рабочих во время стачек.

Библиотека имеет целью бесплатно удовлетворять потребности столичных рабочих, даже и не принадлежащих к союзу.

Расходы на ее содержание и на выписку книг идут из кассы союза и из сумм, жертвуемых рабочими.

Северный союз русских рабочих, тесно примыкая по своим задачам к социально-демократической партии Запада, ставит своей программой;

1. Ниспровержение существующего политического и экономического строя государства как строя, крайне несправедливого.

2. Учреждение свободной народной федерации общин, основанных на полной политической равноправности и с полным внутренним самоуправлением на началах русского обычного права.

3. Уничтожение поземельной собственности и замену ее общинным землевладением.

4. Правильную ассоциационную организацию труда, представляющую в руки рабочих-производителей продукты и орудия производства.

Так как политическая борьба обеспечивает за каждым человеком самостоятельность убеждений и действий и так как ею прежде всего обеспечивается решение социального вопроса, то непосредственными требованиями союза должны быть:

1. Свобода слова, печати, право собраний и сходок.
2. Уничтожение сыскной полиции и дел по политическим преступлениям.
3. Уничтожение сословных прав и преимуществ.
4. Обязательное и бесплатное обучение во всех школах и учебных заведениях.
5. Уменьшение количества постоянных войск или полная замена их народным вооружением.
6. Право сельской общины на решение дел, касающихся ее, как-то: размера податей, надела земли и внутреннего самоуправления.
7. Уничтожение паспортной системы и свобода передвижения.
8. Отмена косвенных налогов и установление прямого, сообразно доходу и наследству.
9. Ограничение числа рабочих часов и запрещение детского труда.
10. Учреждение производительных ассоциаций, ссудных касс и дарового кредита рабочим ассоциациям и крестьянским общинам.

Вот в главных чертах та программа, руководиться какой поставило себе задачей общее собрание петербургских рабочих.

Путем неутомимой и деятельной пропаганды в среде своих братьев Северный союз надеется достичь тех результатов, которые выдвинут и у нас рабочее сословие и заставят его заговорить о себе, о своих планах; посему на обязанности каждого члена этого союза лежит священный долг вести усиленную агитацию в угнетаемой и отзывчивой на требования справедливости рабочей массе. Услуга его не останется забытой потомством, и славное имя его, как апостола евангельской истины, занесется в летописи истории.

Рабочие, вас мы зовем теперь, к вашему голосу совести и сознанию обращаемся мы.

Великая социальная борьба уже началась, и нам нечего ждать: наши западные братья уже подняли знамя освобождения миллионов, и нам остается только примкнуть к ним. Рука об руку с ними пойдём мы вперед и в братском единении сольёмся в одну грозную боевую силу...

На нас, рабочие, лежит великое дело — дело освобождения себя и

своих братьев, на нас лежит обязанность обновления мира, утопающего в роскоши и истощающего наши силы, — и мы должны дать его.

Вспомните, кто первый откликнулся на великие слова Христа, кто первый был носителем его учения о любви и братстве, перевернувшего весь старый мир, — простые поселяне... Мы тоже зовемся к проповеди, мы тоже призываемся быть апостолами нового, но, в сущности, только непонятого и позабытого учения Христа. Нас будут гнать как гнали первых христиан, нас будут бить и издеваться над нами, но будем неустрашимы и не постыдимся их поруганий, так как одно это озлобление против нас покажет нам их бессилие в борьбе с нравственным величием идей, в борьбе с той силой, какую мы представим собой.

«Вы развращаете мир, — скажут нам, — вы разрушаете семью, вы попираете собственность и оскверняете религию».

«Нет, — будем отвечать им, — не мы развращаем мир, а вы, не мы причиной зла, а вы. Напротив, мы идем обновить мир, возродить семью, установить собственность, как она должна быть, и воскресить великое учение Христа о братстве и равенстве...»

Рабочие! Становитесь смело под наше знамя социального переворота, сомкнитесь в дружную, братскую семью и, опоясавшись духовным мечом истины, идите проповедовать свое учение по городам и селам!

Ваше будущее лежит в этой спасительной пропаганде, и ваш успех зависит от нравственной силы вашей; с ней мощны вы, с ней вы покорите мир. Знайте, что в вас заключается вся сила и значение страны, вы — плоть и кровь государства, и без вас не существовало бы других классов, сосущих теперь вашу кровь. Вы смутно сознаете это, но у вас нет организации, нет поддержки, столь необходимой для дружного отпора врагу. Но мы, рабочие-организаторы Северного союза, даем вам эту руководящую идею, даем вам нравственную поддержку в сплочении интересов и, наконец, даем вам ту организацию, в какой нуждаетесь вы.

Итак, за вами, рабочие, последнее слово, от вас зависит участь великого союза и успех социальной революции в России».

Халтурин кончил читать. Несколько минут царил тишина, и только слышалось учащенное дыхание собравшихся. Каждый из них понимал, что присутствует при рождении своей, рабочей организации, закладывает первый кирпич нового здания. Пусть не для себя, для детей своих, внуков, но это светлое здание социализма будет построено их рабочими руками. Прения были немногословными, рабочие ограничивались репликами и небольшими поправками.

— Надобно в программе указать, что принята она общим собранием

рабочих, число и месяц поставить, а то, скажут, интеллигенты подделали.

— Правильно!

— А Христа-то к чему вспомнили? Он не только о братстве и любви учил, а и левую щеку велел подставлять, когда по правой лупцуют.

— Христа оставить нужно, не все такие, как вы, нехристи, ни в бога, ни в чох не верующие. Который верующий, но рабочий, скорее за нами пойдет, если в нашей программе о Христе говорится да его учение поминается.

— Ну, и Христос с ним!

— Тут о сельской общине да ассоциациях разных сказано. Не поймет этого настоящий рабочий.

— Нельзя, брат, и крестьян забывать, ведь мы все никак из деревень и в деревне еще какая сила народу осталась. О них думать тоже надобно, на то мы и союз такой создаем.

— Нужно бы назвать союз не Северный, а Российский.

Халтурин с удивлением и благодарностью посмотрел на говорившего. Ведь это и его мечта — сделать союз всероссийским. Да, но пока это всего лишь мечта.

— Пока, братцы, он будет только Северным, как в Одессе Южный был, но от нас зависит теперь и во всех городах России отрасли завести. Вон в Москву Козлов поехал, начал и там налаживать, — Халтурин радовался, что мнения рабочих единодушны.

Жаль нет Виктора, в Москву уехал, типографию никакие наладит. Это его он Козловым назвал, по фамилии, вписанной в паспорт, который Обнорский себе добыл.

30 декабря также быстро утвердили программу союза.

Ее интернационализм, провозглашение необходимости слить борьбу за социализм с политической борьбой за свободы были близки рабочим, понятны, не то что туманные и расплывчатые требования народников, их проповедь крестьянского социализма. Программа встретила горячий отклик в среде пролетариев, народники приняли ее прохладно.

Редактор нелегального журнала «Земля и воля» Дмитрий Александрович Клеменц встретил Халтурина настороженно, когда Степан Николаевич вынужден был обратиться к землевольцам с просьбой отпечатать программу Северного союза.

Программа? Рабочие, те самые, которых учить да учить надо, вдруг образовали союз да еще и программу его разработали самостоятельно. Дмитрий Александрович, вчитываясь в программу союза, вынужден был признать, что написана она сильно, толково, с хорошим пониманием

расстановки классовых сил в России. Но задачи... задачи политической, самостоятельной борьбы рабочих, — это не укладывалось в голове бывшего чайковца.

Редакторы журнала решили программу напечатать.

Очередной номер «Земли и воли» 12 января 1879 года поместил программу под заголовком: «К русским рабочим», «Программа Северного союза русских рабочих». В конце стояло: «Петербургская вольная типография. 12 января 1879 года. Печатано по просьбе рабочих».

Итак, Северный союз русских рабочих теперь существовал как сплоченная организация, имеющая свой устав, свою программу. О своем образовании союз заявил на всю Россию.

\*

Только что повышенный в должности бывший заведующий агентурной частью, а ныне начальник всей сыскной полиции Третьего отделения Григорий Кирилов, плотный человек лет сорока, с проседью на висках и упрямым подбородком, вытянувшись, с презрением уставился в лысую макушку нового шефа Третьего отделения Дрентельна. «Куда ему: немецкий пивовар, хотя и Александр Романович. В делах ни бе, ни ме, не то что покойник, благодетель Николай Владимирович, тот с лету схватывал, и уж если я представлял человека к должности, то подписывал незамедлительно, не читая».

— Скажите, Григорий Григорьевич, а этот, как его... Клеточников, лицо надежное, кто рекомендовал его к нам?

— Так точно, ваше превосходительство, надежность Клеточникова проверена, попал он в Третье отделение по рекомендации Кутузовой.

— Кутузовой? Это что еще за министр в юбке?

Кирилова передернуло: «Дурак, форменный идиот, ему только министерская рекомендация нужна, не понимает, колбасник, что тайных агентов министры не вербуют». Но вслух Григорий Григорьевич ответил почтительно:

— Ваше превосходительство еще не знает всей сети наших осведомителей. Анна Петровна содержит меблированные комнаты, дает очень ценные сведения, по ее рекомендации были приняты и блестяще себя оправдали такие агенты, как убитый Шарашкин и действующий сейчас в Москве Рейнштейн.



— Гм... но вы же в рапорте пишете, что этот Клеточников хоть и с университетским образованием, но... как там... не произвел на вас «впечатления человека, способного к агентурной деятельности»?

— Поэтому я и прошу ваше превосходительство перевести его по письменной части, человек он болезненный, вялый, апатичный, несловоохотливый, такие не только не выдают тайн, а напротив, вполне пригодны для их сохранения.

— Так, так, а вы проверяли его?

— Так точно, ночами он всегда дома, живет в нужде, компании ни с кем не водит, обедает в кухмистерской, на службе усерден, молчалив, никакой пытливостью к секретам не страдает.

— Ну, если вы так настаиваете, то, что же, я согласен. Скажите, а этот, как его... Рейнштейн — еврей, немец?

— Из остзейцев, ваше превосходительство. Весьма ценный агент, связан с небезызвестным вам Северным союзом рабочих, жена его, Татьяна Алексеевна, по его же словам, любовница Ивана Ивановича Козлова. Надо полагать, что Козлов — это Виктор Обнорский.

— Как Обнорский, это тот, которого еще с семьдесят второго года разыскивают?

— Так точно, тот самый.

— Но позвольте, почему же он до сих пор не арестован?

«Вот идиот, вот свинья, хоть бы догадался предложить кресло. Не понимает он ничего в сыском деле, эх, Николай Владимирович, Николай Владимирович, ты бы не стал задавать мне глупых вопросов».

— Да вы присаживайтесь, Григорий Григорьевич, курите.

— Благодарствую, Александр Романович.

— Так объясните все же, почему Козлов все еще на свободе?

— Видите ли, Александр Романович, по донесениям Рейнштейна из Москвы, Козлов этот связан с типографией «Земли и воли», а также с руководителями Северного союза. Козлов теперь от нас не уйдет, мы его в Москве плотно обложили, там не только Рейнштейн, но и наш агент Соколов. А вот если через него мы типографию нигилистов накроем да захватим головку рабочей организации, то можно будет считать, что со смутьянами покончено, остальных мы, как мышей, переловим.

— Хм... Прошу вас, Григорий Григорьевич, держать меня в курсе всех донесений по делу Козлова. Если удастся осуществить все, о чем вы говорили, считайте, что Анна у вас на шее.

— Рад стараться, ваше превосходительство.

«Себе ты небось Александра Невского или Белого Орла, на худой

конец, испросишь».

— Разрешите идти?

— Да, да. Жду вас с докладом как всегда, в 4 часа дня.

\*

Как ни был осторожен Обнорский, но Рейнштейн его провел. Вернее, сам Рейнштейн был мешковат, туго соображал, отличался абсолютным отсутствием фантазии, хотя обладал достаточной энергией. Зато у его жены, Татьяны Алексеевны, фантазии было хоть отбавляй. Это она втянула своего мужа в агентурную службу Третьего отделения, и если Кирилов говорил начальству о Рейнштейне, то подразумевал его жену. Обнорский был своим человеком в этой семье, сблизившись с Рейнштейном еще в начале 70-х годов, когда они вместе работали сначала на патронном заводе, а потом перешли к Нобелю. Татьяна с ним заигрывала, пытаясь соблазнить, стать доверенным человеком. Муж потворствовал ей. Но Виктор Павлович отшучивался и, как всегда, исчезал внезапно, надолго, потом так же неожиданно появлялся. Рейнштейну удалось войти в доверие к землевольцам, скоро у него завязались дружеские отношения с Оболезевым, Адрианом Михайловым. Когда Обнорский уехал в Москву налаживать связи с рабочими, за ним отправился и Рейнштейн с супругой. Обнорский был рад этой совместной поездке.

Перед отъездом Рейнштейн побывал у Кирилова и передал ему адреса и приметы Михайлова и Оболезева, а также известные ему адреса конспиративных квартир землевольцев. Аресты не заставили себя ждать. Но Рейнштейн был вне подозрений. В Москве, сблизившись с московскими пропагандистами, он деятельно распространял среди рабочих издания Вольной типографии.

Но как ни приставали шпион и его жена к Обнорскому, чтобы выведать от него, кто руководит Северным союзом в Питере, Виктор Павлович называл фамилии людей, никакого отношения к союзу не имеющих. Обнорский делал это не потому, что не доверял Рейнштейну, а просто по привычке к конспирации. Рейнштейн злился, Кирилов его торопил, Татьяна Алексеевна злобно ворчала на «пентюха несчастного, тупицу безмозглого», но сама также ничего не могла узнать.

Ей уже не хватало 100 рублей жалованья и 500 рублей в месяц «на ведение дел», корысть и честолюбие «папиросницы», которой она

устроилась в Москве, были поистине королевские.

23 января 1879 года Виктор Павлович зашел к Рейнштейнам. Татьяна Алексеевна упаковывала баул, Николай Васильевич с проклятиями натягивал сапоги, чтобы ехать на вокзал провожать жену.

— Вы уезжаете, Татьяна Алексеевна?

— Ах, это вы, Виктор Павлович! Да, хочу на несколько дней съездить в Питер мать навестить.

— Вот как, признаться, удивительное совпадение, я тоже сегодня еду в Петербург, дела призывают.

Рейнштейн, следивший с тревогой за Обнорским, облегченно вздохнул: сведения, которые он добыл об отъезде Обнорского у землевольцев, оказались верными.

— Ну вот, ровно сговорились, смотри, Виктор, опять мою жену обхаживать начнешь.

Обнорский поморщился, как ему надоела эта пошлость Николая, если бы не его деятельность среди московских землевольцев, то, пожалуй, стоило бы прекратить встречи с этим человеком. Да и Татьяна хороша, вечно куры ему строит.

Виктор Павлович подошел к столу и стал разглядывать последний номер «Земли и воли». Вдруг глаза его радостно блеснули, схватив журнал, он уселся на стул и весь погрузился в чтение. «Наконец-то, наконец отпечатали нашу программу. Молодец Степан, какая энергия, на все его хватает». Радость переполнила сердце Обнорского, отгоняя чувство неприязни к Рейнштейну и его жене.

— Ну, едем, что ли, Татьяна Алексеевна, а то к поезду опоздаем, ведь билеты еще нужно купить.

— Едем, едем.

— Постой, Виктор, я тут в Москве остаюсь, оставь свой адресок для связи да на случай укажи, где искать наших из союза, если ты опять исчезнешь.

— А я и сам еще не знаю, где остановлюсь в Питере и кто сейчас там у руководства организацией стоит.

— Виктор Павлович, в Питере живет наш человек — Петр Николаев, на Старой Петергофской, у него безопасно, я свезу вас.

— Вот и хорошо, Татьяна Алексеевна, а тебе, Николай, я сообщу, с кем связаться.

Рейнштейн досадливо промолчал. «Опять не удалось выведать имени и адреса руководителя союза, а ведь он недавно сообщил Кирилову, что его в союзе с почетом принимали. Поспешил, поспешил, а все Татьяна, денег

ей, видишь ли, мало, «за такое известие Кирилов расщедрится». Хорошо, что случаем узнал об отъезде Обнорского, а то ускользнул бы «Иван Иванович». Нет, шалишь, теперь не уйдешь, телеграмма отправлена и тебя «встретят».

\*

Кирилов докладывал Дрентельну.

— Ваше превосходительство, прошу прощения за неурочный визит, сейчас из Москвы получена телеграмма от Рейнштейна. Двадцать четвертого Козлов приезжает в Петербург.

Дрентельн даже поднялся из-за стола;

— Ну-ка, читай, что там написано?

— Подтверждается донесение об Обнорском: «Приезжает 24 января, личность эта требует особой зоркости за ней и строгого караула, иначе убежит, — он отличный гимнаст, прыгает из окон и через заборы, как белка».

— Так, так... Так как же вы думаете брать Козлова?

— Если разрешите, ваше превосходительство, я сам его встречу, хочу поглядеть на него да своим агентам показать. Брать же по приезде не будем.

— Почему не будете?

— Видите ли, Рейнштейн хоть и сообщил, что его «с почетом встречали в рабочем союзе», но воротилами его назвал Гинзбурга и Семеновского. По нашим же сведениям, и тот и другой либералы из числа безвредных интеллигентов и к союзу отношения не имеют. Пусть Козлов несколько дней побродит по Питеру, а мы последим за ним, думаю, на след и наведет.

— Великолепно, Григорий Григорьевич, желаю успеха и поручаю вам лично осуществить эту операцию. Ха... ха... начало неплохое, мы с вами наведем порядок в России, молиться на нас будут!

«Старый дурак, на него молиться будут... А ведь и будут, к лику святых причислят, чего доброго, а меня, как Христа на кресте... Вот Судейкина в Киев упрятал, чуёт, что человек способный и опасный для его карьеры. Ладно, мы еще поглядим, кого к лику святых причислят...»

— Так точно, разрешите выполнять?

— Один вопросик, так сказать, деталька, Григорий Григорьевич. Вы Обнорского в лицо не знаете?

— Нет.

— А как же вы его встретите?

«Вот ведь лиса, хочет мой план выведать, а потом при случае во дворце хвастнуть».

— В поезде с ним едет жена Рейнштейна.

— О, да он с любовницами разъезжает!

— Думаю, что Рейнштейн преувеличил, его жена не любовница Козлова.

— Ха, ха... Григорий Григорьевич, с женой вы знакомы, надеюсь?

— Так точно, она наш давнишний и очень полезный агент.

— Да, да, я знаю, но опять баба. Это меня смущает.

«Что, съел, теперь не похвастаешься, во дворце на смех поднимут шефа жандармов, зависящего от осведомителей-баб».

\*

Последняя станция перед Петербургом. Обнорский дремлет, откинув голову на спинку вагонной полки. Татьяна Рейнштейн смотрит в окно. На платформе трое мужчин подсаживают в вагон не старую еще женщину, вещей у них нет. Потом влезает сама. В коридоре слышно, как кондуктор говорит: «Ищите, господа, свободные места, скоро Петербург». Вдруг Татьяна Алексеевна широко открывает глаза: внимательно оглядываясь, по коридору идут Кирилов и Кутузова. Заметив Рейнштейн, останавливаются.

Татьяна Алексеевна быстро оглядывается на Обнорского. Тот спит, голова откинулась, сидящая борода смешно топорщится. Рейнштейн кивком указывает на Виктора Павловича и снова смотрит в окно.

Кирилов и Кутузова садятся в соседнее купе, двое их спутников проходят дальше по коридору и также усаживаются поблизости. Скоро Петербург.

\*

Четыре дня прожил Обнорский у Петра Николаева на Старой Петергофской. Николаев, домашний учитель с «физиономией забулдыги», в пенсне, с крючковатым носом, косящим левым глазом, рассказал

Обнорскому, что за сходку рабочих с фабрики Шау, устроенную на его квартире, был арестован, но выпутался. Обнорский решил переменить место жительства, как только разыщет Халтурина.

Но сразу к Степану не пошел. Четыре дня посещал «легальных» знакомых, ночевал у них.

28 января решил зайти к Халтуруину, который жил теперь на 10-й линии в доме 37/3 вместе с земляком-столяром Швецовым. Только вышел из дома, как его окружили четыре жандарма. Подъехала карета.

\*

Халтурин с нетерпением ожидал приезда Обнорского. Союз разворачивал свою работу, несмотря на аресты и строгости полиции. В его рядах уже насчитывалось более двухсот человек, а около двухсот были в «резерве», готовые в любой момент стать членами организации. Из Сормова писал Биткин, что кружки в Нижнем растут, рабочие знакомятся с программой союза и одобряют ее. Вот только с типографией никак дело не наладится. Обнорский конспиратор и почте ничего не доверяет, а оказии из Москвы не было уже давно. Там с ним Рейнштейн, и хотя Халтурин не знает его в лицо, но много слышал от Виктора Павловича об этом деятельном пропагандисте.

Из Варшавы дошли слухи, что там польские рабочие программу союза изучают, адрес приветственный послали. А здесь, в Петербурге, события нарастают с каждым днем.

15 января администрация Новой бумагопрядильной фабрики уволила 44 рабочих, и в тот же день 700 ткачей бросили работу. Халтурина это известие поставило в трудное положение. До очередного заседания всех членов центрального кружка, этого «комитета десяти», оставалось два дня. Сбежать и предупредить всех — потеряешь время, полиция разгонит стачечников. Стачкой нужно руководить, и Халтурин решил сам связаться со стачечниками.

Рабочие держались дружно. К наследнику ходить больше не собирались, выпустили прокламацию, где говорилось: «Каждый раз мы писали просьбы, обивали пороги у всякого начальства... Начальство стоит за хозяев, а не за рабочих».

Вместо «прошения» предъявили требование к администрации — сократить рабочий день до 11,5 часа, уменьшить штрафы, увеличить

сдельные расценки, убрать неугодных рабочих мастеров.

Моисеенко опять руководил стачкой ткачей, а Степан Николаевич через членов кружка стал добиваться, чтобы стачку поддержали рабочие других предприятий. 16 января забастовали рабочие фабрики Шау. Они не выработали своих требований, члены кружка посоветовали предъявить те же требования, что и ткачи. Сказывалась руководящая роль союза рабочих. Землевольцы помогли отпечатать прокламацию-призыв ко всем рабочим Петербурга:

«Братья!

Вам уже известно, что на днях в Петербурге было две стачки рабочих: на фабрике Шау и на Новой бумагопрядильне. Эти стачки были вызваны тем бедственным положением, которое испытывают рабочие при ничтожном вознаграждении за труд. Но одна стачка должна была прекратиться, потому что все рабочие были объявлены бунтовщиками и рассчитаны. 250 человек оказались совсем без работы, пищи и крова. Стачка на Новой бумагопрядильне продолжает держаться; но неизвестно, как долго продлится, если мы не употребим с своей стороны всех усилий. Рабочие ходили к башибузуку Зурову заявить о своих требованиях, но по дороге были разогнаны жандармами и жестоко избиты: 11 человек отправлены в больницу;

десятки наших товарищей сидят по разным частям и в пересыльной тюрьме.

Остается только надеяться на себя и на своих братьев-рабочих.

Рабочие! Наше одинаковое бедственное положение требует, чтобы мы стояли и, насколько можно, помогали друг другу. Вы знаете, что у нас, рабочих Северного союза, существует касса, деньги из которой идут главным образом на поддержку стачечников. Наша цель — помогать всем без исключения рабочим во время тяжких невзгод. Наши интересы есть ваши, и наш успех в борьбе с кровопийцами-хозяевами зависит от дружного действия.

Окажем же посильную поддержку своим братьям и будем жертвовать всем, чем только можем, для правого дела. Поэтому мы приглашаем всех сочувствующих доставлять пожертвования в нашу кассу, откуда они пойдут немедленно по назначению.

Еще остается сказать нам братское слово к бывшим рабочим Шау и рабочим Новой бумагопрядильни.

Братья, боритесь и стойте за свое дело насколько хватит ваших и наших сил. Этим вы покажете свою силу, и наши притеснители побоятся потом поступать с рабочими, как с собаками.

Знайте, что мы, рабочие союза, готовы помочь вам всем, чем можем, и до последней крайности. Вы не одни — мы с вами и всегда за вас, а нас здесь теперь уже целые сотни. Кликните только клич, и мы всегда первые отзовемся на ваши слова и первые встанем на вашу защиту.

Полного успеха желаем вам от всех наших братских сердец».

Совместное выступление рабочих двух столичных фабрик произвело большое впечатление на пролетариев столицы, и хотя жандармы произвели многочисленные аресты, правительство, учитывая настроение рабочих, дело до суда не довело. Но Северный союз лишился активнейших руководителей. В Восточную Сибирь были высланы Петр Моисеенко, Лука Абраменков, руководившие стачкой. Разослали по разным губерниям и активных членов союза из числа ткачей, пришедших в него в семьдесят восьмом году — Никонова, Герасима Иванова, Степанова.

Рабочий Петербург закипел новой волной стачек: в феврале на медеплавильном заводе «Атлас», потом Екатеринбургская мануфактура, следом Семянниковский завод, Максвелл, стачка за стачкой...

Степану Николаевичу приходилось тяжело, жандармы арестовали товарищей по союзу, об Обнорском известий нет, центральный кружок почти целиком в застенках, а стачки растут. Халтурин и библиотекой заведует, успевая первым все книги прочесть, снести на заводы, посоветовать; он и листовки пишет, он и с землевольцами связь поддерживает. Но Халтурина хватало на все. Переходя с завода на завод, где устраиваясь слесарем, где столяром и исчезая через 10 дней, Степан заводит новые связи, вовлекая в союз новых членов, узнает о настроениях рабочих, заработной плате, о штрафах и т. д. Так приобретались ценнейшие сведения о положении петербургского пролетариата, сведения, которые невозможно было почерпнуть из официальной статистики. Там, где Халтурин не был в состоянии побывать, он распространял «опросные листки». Когда Плеханов, застав Степана за вычислениями, поинтересовался, для чего все это нужно, Халтурин, загоревшись, стал объяснять Георгию Валентиновичу свою идею. Она была проста.

Зная, сколько на какой фабрике или заводе работает рабочих, сколько они зарабатывают, какие штрафы с них берут, Северный союз может примерно рассчитывать и на степень активности рабочих данного предприятия в случае возникшей стачки. Когда предпринимателям будут предъявляться требования, рабочие с цифрами в руках сумеют прижать их к стене. Статистические сведения, собранные Халтуриным, действительно не имели себе равных в официальной статистике. Хозяева заводов и фабрик, подавая данные о доходах предприятия, всегда стремились



показать меньшую сумму доходов, большую накладных расходов и зарплаты, скрывали также истинное число рабочих на фабрике. Все это делалось для того, чтобы уплачивать меньшие налоги с оборота и с доходов по производству.

Постепенно перед Халтуриным и руководителями Северного союза стала вырисовываться истинная картина рабочего Петербурга. Оказалось, что на 825 462 жителя города рабочих приходится свыше 60 тысяч человек и производят они товаров на сумму, превышающую 150 миллионов рублей, сами же получают гроши, а содержат еще около 150 тысяч человек, не занятых в производстве. Цифры были очень внушительные. Если в Питере так много рабочих, то есть надежда, что одновременная стачка всех рабочих столицы, о которой уже давно мечтал Халтурин, может поколебать устои царского самодержавия, послужить мощным сигналом к развертыванию пролетарского движения по всей стране.

Переходя с завода на завод, с фабрики на фабрику, Халтурин не только собирал сведения о рабочих, но ему приходилось и активно вмешиваться в их взаимоотношения. Он всегда знал, где требуются рабочие той или иной специальности, и пристраивал нуждающихся в работе, а тем самым создавал опорные точки на предприятиях, еще не затронутых пропагандой.

В течение первой половины 1879 года союз пополнился новыми членами, новые люди, выросшие в фабричных кружках, заступали места выбывших из-за полицейских репрессий.

Рабочие, члены союза, схваченные полицией, держались стойко при допросах, никого не выдавали, и полиция никак не могла разгромить до конца пролетарскую организацию. Халтурин по-прежнему беспредельно доверял рабочему люду, но иногда в своей доверии он напоминал младенца. Если кого-либо из рабочих обвиняли в некрасивом поступке или даже предательстве и если эти обвинения исходили к тому же из уст интеллигентов, Халтурин, закусив удила, бросался в бой, отстаивая честь рабочего. Но спорил Степан открыто, чистосердечно выкладывая все, что было на душе, и если признавал себя переубежденным, то не приходилось опасаться, что в душе у него оставался горький осадок.

20 февраля вышел четвертый номер газеты «Земля и воля». Дмитрий Клеменц, несмотря на все недоумения, недоверие и даже явное недоброжелательство некоторых землевольцев к программе Северного союза, счел своим долгом отдать ей справедливость и приветствовать появление рабочей организации. В небольшой заметке редактор газеты писал: «Теперь мы можем уже сказать, что великая истина: «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих» — отныне становится для

русского рабочего не только теоретическим положением, но и лозунгом его практической деятельности». Клеменц критиковал программу, но вся его критика велась с позиций правоверного идеолога народнического утопизма. Редактор «Земли и воли» даже бросил упрек Халтурину и членам союза, что в их программе «смещение программ различных западных социал-демократических партий», некоторые пункты ее прямо списаны «из катехизиса немецких социал-демократов», что слишком много внимания уделяется вопросам борьбы за политические свободы и мало крестьянскому, аграрному вопросу.

Но по сравнению с той критикой, которую пришлось выслушивать руководителям союза при встречах со своими знакомыми-интеллигентами, эта заметка Клеменца выглядела как просто дружеский упрек наряду с признанием неоспоримых достоинств.

Халтурин, хотя и оберегал союз от интеллигентов-народников, чутко прислушивался к их мнению, — пусть землевольцы ставили иные цели, действовали иными средствами, но ведь они были революционерами, товарищами по борьбе — этого Халтурин никогда не отрицал, и недаром он имел столько друзей среди деятелей народновольческого движения.

После статьи Клеменца можно было ожидать, что обе организации, рабочая и народническая, не смешиваясь, не сливаясь в единые организационные рамки, пойдут рядом, рука об руку, борясь с ненавистным деспотизмом.

Но... 28 февраля, как всегда, состоялось заседание руководителей Северного союза. Народники называли комитет выборных центральным комитетом и выделили для постоянной связи с ним близкого друга Степана Николаевича, человека, хорошо известного рабочим столицы — Плеханова.

Сегодня Плеханову предстояло сообщить Халтурину и его соратникам тяжелую весть. Между тем Халтурин, поджидая Георгия Валентиновича, весело шутил с товарищами.

— Читали, как наши друзья-землевольцы о нас отозвались? Хоть и ругают, а сочувствуют, помогать готовы, рады за нас. Хорошая примета. Но мы им ответим, дай срок. Думаю, что ответ нужно отпечатать уже в своей, рабочей газете, вот диву-то дадутся.

— Степан Николаевич, а как с типографией, от Козлова вестей нет?

— Пока нет, что-то не ладится в Москве. Будем надеяться, что образуется, Козлов да Рейнштейн поставят газету.

— Скорей бы уж!

Плеханов вошел в комнату незамеченным.

— Хороши, хоть бы кого на пароль поставили!

— Георгий Валентинович! — Халтурин весь преобразился, он сиял, пожимая руку друга, и без всяких слов можно было понять, сколько удовольствия, даже волнения испытывал он в эту минуту.

— Садись, садись, Оратор, мы тебя сегодня порадуем.

— Подожди, Степан, сначала я вас должен огорчить, — Плеханов вынул из кармана прокламацию, написанную от имени «Исполнительного комитета».

«26 февраля, в Москве по решению Исполнительного комитета убит агент Третьего отделения Николай Васильевич Рейнштейн...»

Это был удар грома, в комнате все оцепенели.

— Как, он шпион? Неправда! Даю голову на отсечение...

На Халтурина было страшно смотреть. Глаза горели ненавистью, рот перекосясь, вся его высокая, стройная фигура подалась вперед в страшном нервном напряжении.

— Убили, убили одного из своих! За что? За что, я вас спрашиваю?

Рабочие бросились успокаивать Степана. Плеханов стоял молча. Он знал Халтурина, словами его не убедишь, ему нужны факты, доказательства. Фактами Георгий Валентинович располагал, да еще какими, но... Даже Халтурину Плеханов не имел права сказать, что «хилый», «несловоохотливый», «болезненный» и «добродетельный» письмоводитель Третьего отделения Николай Васильевич Клеточников, за которого так ратовал начальник сыскной полиции Кирилов, был членом «Земли и воли», скромным, бесстрашным ее «ангелом-хранителем», забравшимся в самое логово врагов. С Клеточниковым поддерживали связь только «легальные» на квартирах, не вызывающих у полиции никакого сомнения в неблагонадежности. Имя его было засекречено от подавляющего большинства людей, даже близко стоящих к руководству «Землей и волей».

«Ну, как доказать Степану, как убедить, что я не оговариваю одного из членов Северного союза, что Рейнштейн убит Михаилом Поповым за предательство, за шпионаж». Плеханов решил.

— Успокойся, Степан, мы знаем друг друга не первый год. Рейнштейн шпион, и доказательства его предательства я видел сам. Не спрашивай меня где, у кого, я все равно не скажу. Но было бы вам известно, что именно он передал в руки Третьего отделения Ивана Ивановича Козлова, а также Оболенцева и Адриана Михайлова.

Халтурин схватился за голову и застонал.

— Ты что, Степан Николаевич?

— Виктор, Виктор, вот почему ты молчал...

— Какой Виктор? О чем молчал?

Халтурин сделал над собой усилие, слова Плеханова о предательстве Рейнштейна его не убедили, но известие об аресте Козлова сразило.

— Не будем таиться, теперь это ни к чему: Козлов не кто иной, как Виктор Обнорский. Вот кого схватили жандармы!

Наступила тягостная тишина. Многих товарищей могли бы перечислить собравшиеся, кого арестовала полиция, много друзей, единомышленников томилось уже в тюрьмах, гнило на каторгах, мучилось в изгнании под надзором полиции. Но никогда еще рабочему движению жандармы не наносили такого удара. Восемь лет Обнорский был для них неуловим, восемь лет он дразнил ищеек и вселял уверенность в сердца друзей.

— Как это произошло?

— Что? Арест?

— Да.

— Его арестовали в Петербурге 28 января. Выдала жена Рейнштейна.

— Ага, значит жена, а не Рейнштейн.

— Они оба агенты Третьего отделения. Не веришь? Слушай.

«Рейнштейн (муж) являлся весьма деятельным организатором и пользовался большим доверием. Знал почти все московские дела и доводил о них до сведения начальства. 6 февраля прибыл из Москвы в Петербург, был на конспиративной квартире, где видел семь пропагандистов, слесарный станок и гальваническую батарею для изготовления печатей... Говорили о Клеменце и Георгии». Это обо мне...

— Так это ничего не доказывает. Ошибку сделали с Рейнштейном.

Плеханов обиделся на Халтурина, кому, кому, а ему Степан мог бы доверять больше. Халтурин думал о том же, он чувствовал, что Плеханов что-то скрывает, а от кого? Никогда Степан никого не выдал, не выдаст, никогда не проговорится.

Так радостно начавшийся день окончился трагично. Хотя отчаиваться было еще рано, но Халтурин впервые задумался о возможностях борьбы за политические права рабочих в условиях царского деспотизма, шпионского режима, полицейского произвола.

Теперь заботы о типографии, налаживании выпуска своей рабочей газеты также ложились на Халтурина. Из первого состава руководителей рабочего союза он чуть ли не единственный оставался на свободе, храня в памяти имена руководителей кружков на заводах, адреса явок, пароли конспиративных квартир как рабочих, так и народнических.

На следующий день Халтурин опять собрал Комитет выборных.

Нужно было ответить на статью Клеменца, причем ответ этот приходилось помещать в газете народников, выпуск своей газеты с арестом Обнорского откладывался на неопределенное время.

Ответ составили сообща, поручив Халтурину отредактировать его и передать в редакцию «Земли и воли».

Клеменц с удовольствием читал письмо, отчеркивая наиболее сильные и важные места;

— «С выражением крайнего сочувствия и одобрения прочли мы ваши краткие, немногословные, но искренние и честные замечания, помещенные в № 4 «Земли и воли» по поводу нашей программы. После того что многим из нас пришлось слышать, эти замечания, эта искренность тона, с какой вы обращаетесь к нам, были, признаться, довольно неожиданны. Действительно, нас называли выскочками, упрекали в недомыслии, противоречиях, упрекали за слог, а многие даже прямо относились с недоверием, видя в нашей программе произведение интеллигентских рук, написанное больше для «острастки» и посему ничего не выражающее собой (до того еще не доверяют нашим силам, до того еще привычка смотреть на нас, как на неспособную скотину, вкоренена во многих)...

...Действительно, кудреватость слога — наш грех, и мы его берем на себя. Поговорим теперь о тех упреках, которые посыпались на наши головы тотчас по выходе программы рабочих. Главное обвинение сводилось к тому, что в нашей программе замечается путаница понятий и воззрений на различные оттенки революционной партии Запада и в особенности (что-де очень странно) замечается смешение социалистических требований с конституционными... Многие, как видно, именно и обращают внимание только на последнее и посему в своих замечаниях доходили до того, что требование политической свободы нами, рабочими, считали просто нелепым и не вяжущимся с вопросом об удовлетворении желудка.

Вот здесь-то, признаться, мы и не видим никакой логики, ничего, кроме недомыслия. Ведь высказывать подобные соображения — значит прямо отказывать нам даже в малейшем понимании окружающих явлений, значит прямо глумиться над нашими мозгами и приписывать разрешение социального вопроса исключительно только одним желудкам. Боимся, чтобы при таком узком разрешении мы не пожрали друг друга... Разве мы сами не знаем, что лучше быть сытым и мечтать о свободе, чем, сидя на пище святого Антония, добиваться свободы? Но что же делать, если логика желаний и помыслов уступает перед нелогичностью истории и если политическая свобода является прежде социального удовлетворения... Наша логика в данном случае коротка и проста. Нам нечего есть, негде

жить — и мы требуем себе пищи и жилища; нас ничему не учат, кроме ругательств и подпалочного подчинения, — и мы требуем изменения этой первобытной системы воспитания. Но мы знаем, что наши требования останутся требованиями, если мы, сложив руки, будем взирать с умилением» как наши «державные» и другие хозяева распоряжаются нашими животами и пускают деревенских собратьев по миру. И вот мы сплачиваемся, организуемся, берем близкое нашему сердцу знамя социального переворота и вступаем на путь борьбы. Но мы знаем также, что политическая свобода может гарантировать нас и нашу организацию от произвола властей, дозволит нам правильнее развить свое мировоззрение и успешнее вести дело пропаганды, — и вот мы, ради сбережения своих сил и скорейшего успеха, требуем свободы, требуем отмены разных стеснительных «положений» и «уложений»...

Гораздо важнее для нас ваши замечания относительно наших недостатков и пробелов по аграрному вопросу. Действительно, мы уже чересчур увлеклись рассмотрением своего городского положения, чересчур пропитались духом различных программ Запада, и вот оказалось, что для нашей деревни в своей программе мы отвели очень мало места. Но да извинят нас за этот промах, тем более, что забывать деревню не есть дело нашего ума и чувства. Для нас столько же дорог мужичок с его родными лесами, как и фабричный; а улучшение быта первого даже важнее, потому что тогда ни один кулак не вызвал бы нас с своих полей служить его ненасытному брюху.

...Все эти и тому подобные вопросы, в которых весь союз заинтересован так близко, мы намеревались разобрать на столбцах своей газеты, где, между прочим, постарались бы развить и сущность нашей программы. Но, к сожалению, это желание, близкое было уже к осуществлению, по обстоятельствам, от нас не зависящим, так и осталось пока желанием. Мы лишились посему на время одного из самых важных рычагов нашей агитационной деятельности — печатного слова — и лишили в то же время рабочую и крестьянскую массу той пищи, в какой она теперь наиболее нуждается.

Сотоварищи! Вы знаете, насколько важна в настоящее время эта пища, о какой мы говорим, но вы знаете также, что ваш орган «Земля и воля» не может служить ею для массы. Поэтому с искренним сочувствием мы отнеслись к дошедшему до нас слуху, что вы намерены в скором времени выпустить в свет народную социалистическую газету.

Пожелаем же вам от лица всего союза полного успеха в этом благородном и дорогом для нас всех начинании».

— Послушайте, Георгий Валентинович, а ведь сильно написано, а? — Клеменц, довольный, потирал руки, подзадоривая нового редактора газеты, Плеханова.

— Сильно, и нам в науку, недооцениваем мы рабочее движение. Рабочих все еще считаем «воровскими прелестниками», оказавшими столько услуг во времена Пугачева. А ведь им будет принадлежать крупная роль в будущем социальном перевороте.

Разговор был прерван приходом третьего редактора, Николая Морозова.

— Опять спорить собираетесь? Лучше скажите, где бы это ящик для шрифта заказать?

— Какой ящик?

— Удобный, конечно.

— Обратитесь к Халтуруину, он столяр первоклассный, сделает мигом такой, какой пожелаете.

— А ведь это верно, Георгий Валентинович. Вы с ним дружны, окажите любезность, закажите, я тут набросал чертеж.

— Ну, нет, Николай Александрович, Халтурин на меня сердит за Рейнштейна, я к нему не пойду.

— Не верит?

— Ни в какую. Твердит — «ошибка» да «ошибка».

— Что же делать?

— А вы попросите Якимову, она бывает у Халтурина, они с Нижнего подружились.

— И то правда.

Морозов попросил Якимову заказать Халтуруину ящик для шрифта, но вскоре забыл о своей просьбе, новые события отвлекли внимание народников и заставили на время даже забросить свой журнал.

2 апреля 1879 года приехавший из Саратова Соловьев вопреки мнению большинства землевольцев, при активной поддержке Морозова, Александра Михайлова, Квятковского стрелял в Александра II. Покушение было неудачным. Руководители «Земли и воли» накануне покушения разъехались из Петербурга, справедливо считая, что вслед за выстрелом Соловьева последуют самые жесточайшие репрессии, волна арестов и прежде всего в столице.

Вскоре был арестован Клеменц, его место в редакции занял Лев Тихомиров. И если народники не понесли большого урона после покушения Соловьева, то только потому, что Клеточников, пробравшись к самым секретным донесениям Третьего отделения, смог вовремя

предупреждать тех, кто попадал под подозрение жандармов и должен был быть арестован.

Анна Васильевна Якимова лишь в августе 1879 года вспомнила о ящике для шрифта и как-то, забежав к Степану на 10-ю линию, попросила его сделать этот ящик. Халтурину было не до ящиков, и он прямо сказал об этом Якимовой, пожаловавшись при том на тех, кто навлек беды на рабочий союз.

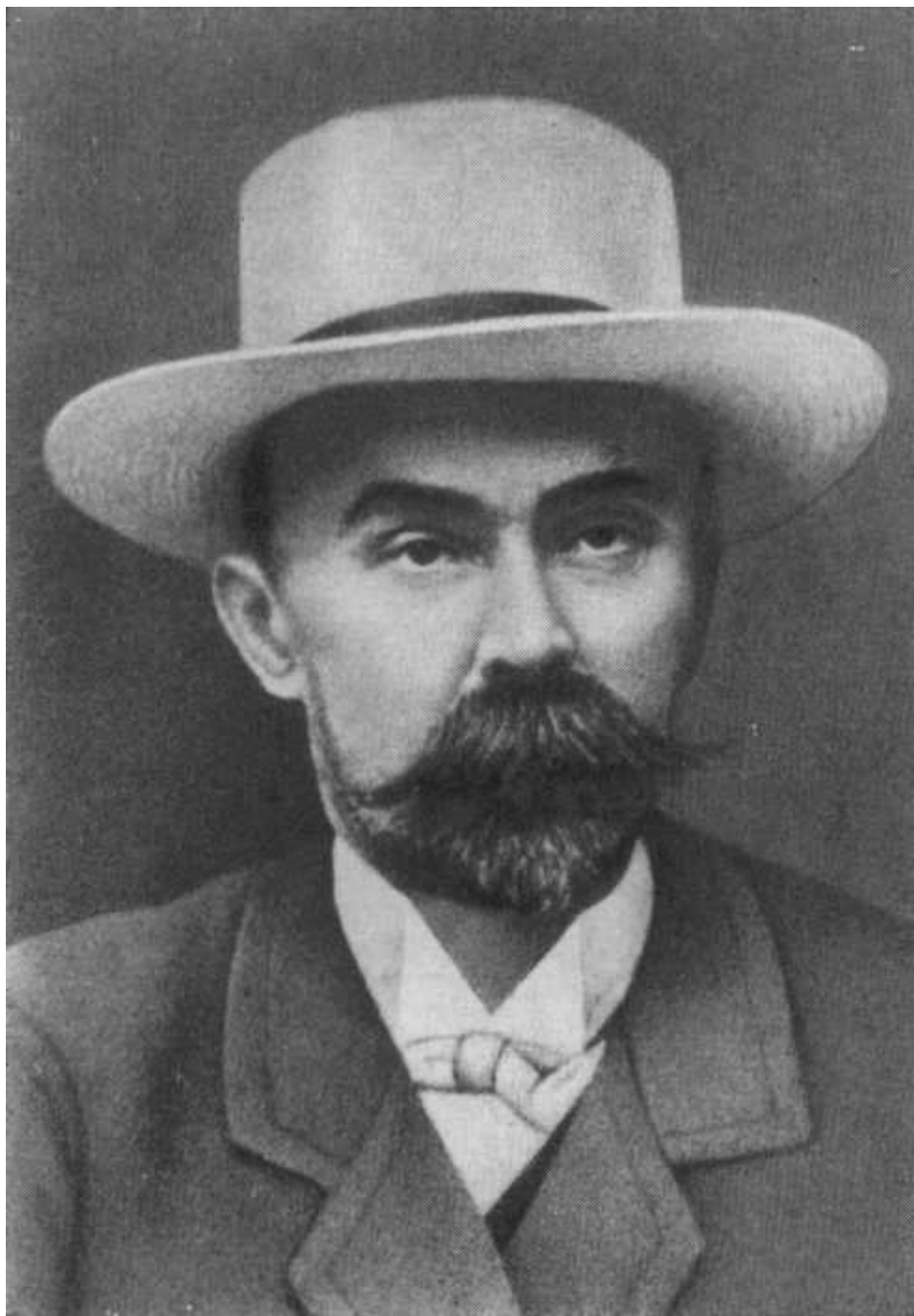
Усилившаяся террористическая борьба, репрессии после выстрела Соловьева «подкосили» Северный союз. Один за другим были арестованы Дмитрий Чуркин с патронного, Ануфрий Степанов с фабрики Шау. Сбежав из Коломенской части, Андрей Пресняков уехал во Францию, Коняев с Новой бумагопрядильной сослан в Восточную Сибирь. Антон Городничий томился в Виленской губернии под надзором полиции, Игнатий Бачин где-то скитался по России, ходили слухи, что его арестовали за бродяжничество. Халтурин чувствовал себя страшно одиноким. Он негодовал на террористов-землевольтцев. Как-то, повстречавшись с Плехановым перед тем, как Георгий Валентинович собирался уехать из Петербурга, Степан не выдержал и в сердцах сказал ему:

— Чистая беда, только-только наладится у нас дело — хлоп! Шарахнула кого-нибудь интеллигенций — и опять провалы. Хоть немного бы дали вы нам укрепиться.

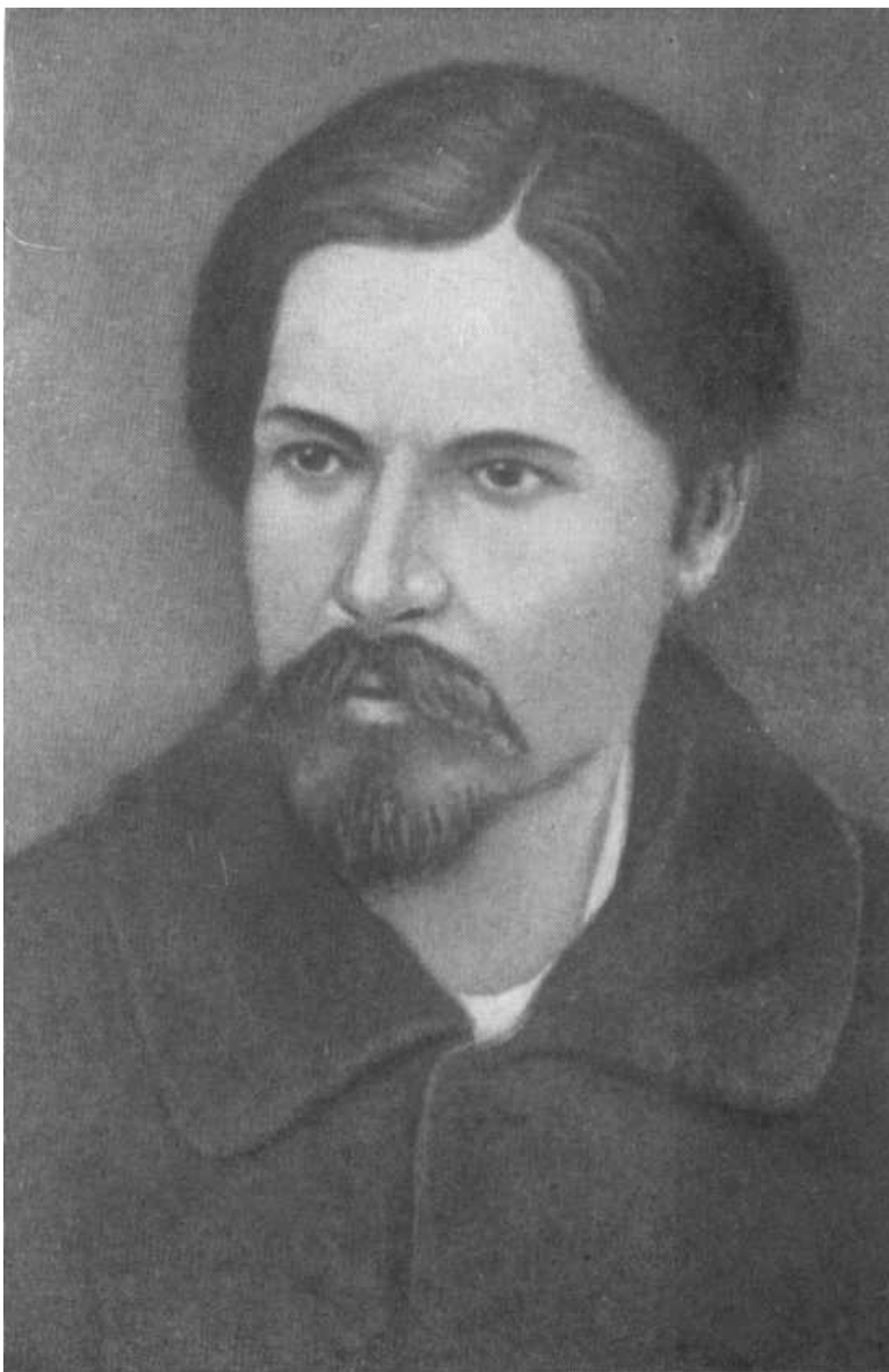
Плеханов и сам был противником нового направления в партии, направления, которое возглавили Морозов, Александр Михайлов, Квятковский. «Земля и воля» переживала острый кризис, находилась на распутье.

Прощаясь с Халтуриным, Плеханов познакомил его со Степаном Григорьевичем Ширяевым. Тот обещал достать шрифт для типографии и станок. Халтурин по-прежнему пытался при помощи двух членов союза — Александра Павлова, рабочего типографии, и Игнатия Гусева, наборщика типографии Министерства путей сообщения, — создать типографию и наладить выпуск рабочей газеты.





Г. В. Плеханов.



С. Н. Халтурин.

Просьба Якимовой сделать ящик для шрифта заинтересовала теперь Степана, но, будучи занят, он передал заказ своему сожителю по квартире и земляку Василию Швецову. Халтурин знал Швецова с 1878 года, когда они вместе работали сначала на заводе Голубева, а затем вместе же перешли на работу в Новое Адмиралтейство. Швецов, хотя и был земляком Степана, а это очень сближает людей, но настоящей фамилии его не знал, ему было известно, что его сожитель Степан Николаевич Батулин, рабочий столяр, работает с ним в одной мастерской. Но, конечно, Швецов догадывался, что Батулин не просто столяр, к нему ходили интеллигенты, читали запрещенные книги и газеты, рассуждали о стачках, о движении народников. Швецов и сам кое-что читал, был знаком с некоторыми народниками. Но человек он был малодушный, любил деньги, хотя тщательно скрывал свои слабости.

Когда Халтурин сказал Василию, что ящик нужен для шрифта подпольной типографии, у Швецова появилось желание вступить в сделку с Третьим отделением и за большие деньги предать типографию «Земли и воли» (он догадывался о какой подпольной типографии идет речь), а заодно и тех рабочих, которые ходили к Халтурину и, как он знал, являлись членами рабочего союза. Швецову нужны были деньги, много денег. За деньги он бы продал и Халтурину, но побаивался, что рабочие догадаются, кто выдал Степана, и тогда предателю не сносить головы. Познакомился Швецов и с Якимовой, которая часто бывала в их квартире. Трусливая смекалка предателя подсказала ему, что через Якимову можно будет выведать адрес типографии, но опять-таки Третье отделение не должно ее трогать до поры до времени, иначе Швецову не уцелеть.

Предатель хитрил, ничего не зная толком, он через околоточного Яновского предложил свои услуги Кирилову, выдав себя за осведомителя градоначальства, обиженного последним. Кирилов нуждался в новых агентах и принял услуги Швецова, но сносились они через Яновского. После ареста Обнорского Кирилов так и не получил обещанного ордена и попросту возненавидел Дрентельна. Начальник Третьего отделения отвечал ему взаимностью, и оба из кожи лезли вон, чтобы досадить друг другу. Швецов казался Кирилову новым крупным козырем в игре, где ставкой были чины, ордена, богатство и власть. Он торопил Яновского. Принимая его, Кирилов всегда вызывал к себе в кабинет Клеточникова записывать сведения, принесенные осведомителем.

— Что это там ваш Швецов с ящиком возится, деньги получил, а результатов пока незаметно?

— Он, ваше благородие, говорит, что ящик ему не один заказан, а

много. Один большой для шрифта, печатей и паспортов ложных, а маленькие с механикой, как крышку откроешь, они взрываются. Их министрам душегубы посылать собираются.

— Это новость! Но когда же ящик для шрифта он сделает?

— Говорит, завтра. Ящик большой, белый, как его перевозить будут, так за версту видно, только и остается уследить, в какой дом внесут.

— А маленькие?

— Эти, говорит, придется в Вятке делать, там ему пособят родные, да оттуда и рассылать их намерены.

— Так, так, ну, следите внимательно.

На следующий день Якимова уже знала, кто такой Швецов. Но нельзя было и вида показать, что она что-либо заподозрила, так как при разговоре Кирилова с Яновским присутствовал один Клеточников, недоверие к Швецову могло отразиться на Клеточникове. Ящик для шрифта действительно был готов. Халтурин осмотрел его, похвалил устройство и посоветовал Якимовой отказаться. Швецов рассердился.

— Это ж почему не брать, работа, что ль, плохая?

— Вот дурья голова, ну куда же ты такой гробище вымахал, его с другого конца города увидят, как везти будут.

Якимова была бесконечно благодарна Степану за то, что он так легко и просто нашел предлог отказаться от заказа. Швецов понял, что в своем усердии перестарался. Через несколько дней Якимова снова зашла к Халтурину, но не застала его дома. Швецов как будто ждал ее.

— Анна Васильевна, вот удача, что вас встретил. Дело тут такое, паспорта для двух нелегальных нужны, мы головы со Степаном ломаем, где достать-то их?

Якимова уже знала об этой просьбе; все тот же Клеточников аккуратно сообщал о всех кознях Кирилова и Швецова.

— Я достану.

— Уж не знаю, как и благодарить вас. Значит, денечка через два-три добудете?

— Обязательно. Куда вам занести их?

— Давайте в Александровском сквере свидание назначим.

— Хорошо.

Через два дня Якимова, надев густую черную вуаль, явилась в Александровский сквер, пользовавшийся репутацией шпионской биржи. На расстоянии за ней следовали Александр Михайлов и Кибальчич, которые хотели поглядеть на Швецова, чтобы потом покончить с ним. Якимова и Швецов уселись на лавку. Народу в сквере было много. Мимо скамейки

взад и вперед прогуливался старик с палкой, напротив сидела веселая компания, человек шесть. Швецов был любезен, то предлагал Якимовой закурить, то звал в трактир, приглашал в ближайшее воскресенье поехать вместе с Халтуринным на лодке на острова. Якимова отказывалась, зная, что старик с палкой сам Кирилов, а курить ей Швецов предлагает для того, чтобы она подняла вуаль.

Передав обещанные паспорта, Якимова шесть часов плутала по городу, переправлялась через Неву на лодке, вскакивала на ходу в конку, чтобы сбить шпионов, 'которые настойчиво следовали за ней. Только ночью, усталая, она сумела юркнуть в подъезд дома на углу Невского проспекта и 1-й улицы Песков, где была конспиративная квартира.

На следующий день Лев Тихомиров подробно описал Якимовой ее похождения. Якимова не была сентиментальна, но тут расчувствовалась чуть ли не до слез, она с трудом могла представить себе ту аскетическую отрешенность от жизни, на которую добровольно обрек себя Клеточников, сообщивший Тихомирову эти подробности.

Тихомиров с удивлением смотрел на эту суровую конспираторшу, он впервой видел такое волнение на лице Якимовой.

— Анна Васильевна, Клеточников просил предупредить, что дом на Десятой линии взят на заметку Третьим отделением. Кирилов перестал доверять Швецову, а это значит, что договоренность последнего о том, чтобы вас и Халтурина не трогали, будет нарушена. Нужно предупредить Степана Николаевича, вот запись Клеточникова.

В тот же день Якимова нашла Халтурина в мастерских Нового Адмиралтейства. Отозвав его в сторону, Анна Васильевна, торопясь, шепотом сообщила:

— Степан Николаевич, Швецов шпион Третьего отделения, вчера он пытался представить меня жандармам, чтобы они затем выследили мои связи. Сегодня в вашей квартире может быть устроена засада.

— Анна Васильевна, опять вам, интеллигентам, шпионы мерещатся, и снова они из рабочих. Вон Рейнштейна убили, а за что, спрашивается? За что рабочего-пропагандиста уничтожили?

— Степан Николаевич, и Рейнштейн был шпион, и Швецов также. Если вы не верите моим словам, так вот прочтите, я не обманываю вас, хотя и не могу сообщить об источнике этой информации.

Халтурин развернул листок, поданный Якимовой, и прочел:

«3-я экспедиция сообщила, что у известного Швецова (10-я линия, д. № 37/3) на чердаке склад запрещенных книг, которыми и пользуется много лиц для пропаганды. Так пропаганду ведут живущие у него рабочие

Балтийского завода: Степан Батурич и Семен Марков Колот, которые, кроме того, разносят много пакетов в разные места разным лицам; так на днях они разносили пакеты в Старо-Московские казармы, в Артиллерийское и Инженерное училища. В этом им помогал мещанин Иван Любимов (17-я линия, д. № 44). Понятно замечание Кирилова, что если у Швецова поискать, то, вероятно, нашлось бы много кое-чего. Следовательно, получая сведения от Швецова и платя ему деньги, они все-таки не доверяют ему. Это видно и из беспокойства их за последние дни и ежедневное требование к себе для объяснений посредника Яновского».

— Анна Васильевна, откуда у вас эти сведения.

— А разве они ложные?

— Нет, все верно, только не верится как-то насчет Швецова.

— Степан Николаевич, почему вы так не доверяете нам?

— Признаться, не верю я интеллигентам, не верю их революционности, преданности революции. Вон ныне убийствами занялись, а к чему? Что это даст?

— Поверьте, Степан Николаевич, идя сюда к вам, в мастерские, я очень рисковала и еще не уверена, что благополучно вернусь домой, а для чего я подвергаю себя опасности? Ради «интеллигентского молодчества», что ли?

— Не обессудьте, Анна Васильевна, вас-то я давно знаю, знаю и вашу преданность революционному делу.

— Ну, а Плеханову не поверили насчет Рейнштейна, обидели Жоржа?

— Да, нехорошо получилось. А все почему, даже Георгий и тот мне не доверяет, ну откуда у него сведения о шпионах?

— Оттуда же, откуда и у меня.

— Выходит, я сам кругом виноват, хороших людей обидел, а они еще обо мне заботу имеют.

— Выходит так, Степан Николаевич.

— Эх, завертелся, закружился я с делами, не обессудьте и простите. Сегодня же съеду от Швецова, да и наших на его счет предупрежу, а с Георгием помирюсь, прощения испрошу.

— Уехал Плеханов, в Саратовской губернии сейчас.

— Уехал уже... Жаль. Оставил человека, который типографию наладить обещал, а я его только раз и видел, скрылся куда-то...

— Прощайте, Степан Николаевич, помните о Швецове да будьте осторожны. Я тоже уезжаю.

Халтурин крепко-крепко пожал руку Якимовой, поклонился. Анна Васильевна отвернулась и быстрыми шагами направилась к выходу. Степан

долго следил за ее удаляющейся фигурой.

\*

В 1879 году осенью завершился первый этап деятельности Халтурина среди рабочих. Шпионы, полиция так и не позволили Северному союзу русских рабочих прочно стать на ноги, стряхнуть с себя путы народнических теорий, выйти на широкую дорогу подлинно революционного пролетарского движения, сделаться зародышем марксистской организации в России. Для этого еще не созрели условия. В 1879 году «рабочее движение переросло народническое учение на целую голову», хотя оно затронуло только верхушку рабочего класса, а «масса еще спала». «В общем потоке народничества пролетарски-демократическая струя не могла выделиться».

А между тем революционная борьба народников, широкое пролетарское движение, крестьянские бунты поколебали правительство Александра II, наметился «кризис верхов». Второй раз после 1861 года Россия была на пороге революции, переживала революционную ситуацию.

Революционная ситуация, сложившаяся в 1879–1881 годах, отличалась от того революционного кризиса, который имел место в России накануне отмены крепостного права. Не только обострение противоречий между многомиллионной массой крестьянства и классом дворян-помещиков определяло революционный накал в стране, в ходе революционной борьбы 1879–1881 годов возник новый, высший тип социальной войны — борьба русского пролетариата против капиталистической эксплуатации. Хотя пролетариат еще далеко не стал гегемоном общенародной борьбы с царизмом, а крестьянство не было его союзником, эти два потока социальных битв ставили Россию на порог революции.

Разгромленное царизмом крестьянское движение 60-х годов вновь обретало силу к концу 70-годов, и снова из деревни в деревню, от губернии к губернии поползли слухи о близком всеобщем переделе земли. Помещики в ужасе дрожали от этих слухов, а когда узнавали о бунтах, то среди них начиналась паника. А вести слетались со всех концов России; Тульская губерния, село Люторичи — бунт, подавлял батальон солдат; село Дербетовское Ставропольской губернии — бывшие государственные крестьяне отказались платить подати, побили кольями казаков, прибывших их «успокаивать»; уральские казаки отказались принять новое положение о

воинской повинности — 2 500 казаков и членов их семейств перепороли и выслали; даже донцы, эта опора царизма, вдруг прекратили выплату земских сборов, прогнали землемеров. И в городах испуганный помещик не находит желанного покоя. В Петербурге, этом оплоте самодержавия, бастуют ткачи Новой бумагопрядильной фабрики, затем кожевники завода Курикова, в Москве, на бумагопрядильной братьев Третьяковых, стачка в Серпухове на фабрике Кожина, в Костроме на механическом заводе Шипова — стачки, и опять Петербург, Москва, Владимир, Нижний.

Правительство колеблется, его не столько страшат выстрелы народников, сколько возможность народной революции, в которой народники найдут свое место. Даже трусливые, буржуазные либералы подняли головы, их тоже трясет от страха перед призраком революции, и они робко советуют царю «преобразование государства по-буржуазному, реформистски, а не революционно, сохраняя по возможности и монархию и помещичье землевладение...»<sup>[3]</sup>. Они молят о «клочке конституции», припугивая правительство революцией, становясь в позу гладиаторов; «Дайте нам средства, и мы искореним социалистов много лучше, чем может это сделать правительство».

И правительство, «верхи» уже не могли жить и управлять «постарому». Усиление полицейских репрессий, виселицы, массовые порки не принесли желаемого успокоения, не обеспечили «умиротворения» страны.

Правительство стало пускать в ход наряду с методами устрашения и прямого насилия метод социальной демагогии, пошло на некоторые уступки, но уступки либералам. Сладкие речи по адресу либералов, беспощадный террор против революционеров — политика «волчьей пасти» и «лисьего хвоста».

Народники усилили нажим на правительство, ошибочно полагая, что раз террор заставил его поколебаться, то террор же приведет и к его падению. Народное движение они теперь почти не замечали, оно потекло по иному руслу.



## ГЛАВА VI

# ВЗРЫВ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ

Раскол в партии народников назревал, надвигался со всей очевидностью и неизбежностью. Даже среди редакторов «Земли и воли» уже не было ни единства теоретических взглядов, ни тем более общности мнений по поводу методов и средств ведения революционной борьбы. Сначала они работали дружно, увлеченные общей идеей, сплоченные единством действий. Но вот из редколлегии выбывает Кравчинский — после убийства шефа жандармов Мезенцева он должен был скрыться за границу. Провокаторы выслеживают Клеменца, и только один Николай Морозов блуждает по Петербургу с двумя портфелями, сохраняя в них архив «Земли и воли», а заодно печати, удостоверения, бланки паспортов для тех, кто живет нелегально и нуждается в видах на жительство.

Морозов смел, порою дерзок, за ним охотятся, но он неуловим. Обыски застают редактора в самых, казалось бы, неприкосновенных местах. Архив в опасности, а вместе с ним в опасности и жизнь его хранителя, но ночью жандармы не замечают темного шнура за окном квартиры — на нем висят портфели, документы же Морозова пока не вызывают сомнений.

Преследователи становятся все настойчивее. Они на каждом шагу, открыто прохаживаются под окнами подозрительных квартир, преследуют на улицах, врываются в дома. Где тут вести революционную пропаганду! В городах землевольцы попадают в полицейскую осаду, а крестьянин в деревне молчит, до него не доходит осторожная проповедь социалистических идей.

Что делать дальше?

Николай Морозов неутомим, всей душой он рвется к практической борьбе с самодержавием, но, загнанный в тупик, видит выход только в тех способах, которые применяли Вильгельм Телль и Шарлотта Корде. Идеи «неопартизанского» движения, с тем чтобы обеспечить обществу свободу слова, печати, партий, незрело бродят в его голове. Других путей он не знает. Борьба политическая, борьба интеллигентов, а не народа — вот выводы, к которым приходит Морозов в результате долгих размышлений. Но он пока одинок. Новые соредакторы Г. Плеханов и Л. Тихомиров,

вызванный из-за границы, не разделяют этой точки зрения. У Плеханова готов обширный план тайной агитации, но уже не в крестьянской, а в рабочей среде. Рабочие близки ему своей сплоченностью. Он с восторгом говорит о стачках, в пролетариях он видит людей грядущего.

Тихомиров вял, раздражителен, чувствует себя случайным попутчиком среди этих подвижников и фанатиков активного действия, ему по душе роль теоретика народничества, фрондирующего писателя, но по возможности подальше от России. Он готов признать правоту Морозова с тем только уточнением, что нужен крестьянский террор, избиение крестьянами местных властей. Но и с Плехановым он не спорит — «пропаганда, ну пусть себе пропаганда». Ему уже кажется, что лучше было бы не связываться с этими людьми, куда уютнее в редакторском кресле катковских «Ведомостей», чем на скамье подсудимых, а на нее неизбежно попадут и Морозовы и Михайловы, а с ними Фигнеры, Квятковские, Осинские, да мало ли их!

А еще этот Соловьев! Явился из саратовской глуши и заявил, что убьет императора. Тут такое поднялось, что Тихомирову даже вспомнить страшно.

Александр Михайлов доложил руководителям «Земли и воли» о замышленном покушении и требовал Варвара, ту знаменитую лошадь, которая была уже участником террористических актов. Ах, этот Варвар, если бы он умел рассказывать! Но, пожалуй, к лучшему, что лошадь молчит, кто ее знает, ведь и Тихомиров разок ездил на ней.

На общем собрании тогда все кричали, но, несмотря на это, можно было безошибочно указать, кто по-прежнему стоит за продолжение старой, «мирной» программы поселения в народе и социалистической агитации в нем. Как они бесились, поговаривали даже о том, что нужно схватить «приехавшего на цареубийство», связать покрепче и вывезти вон из Петербурга как сумасшедшего. Но самое примечательное — они остались в меньшинстве, и это несмотря на то, что Попов договорился до того, что «сам убьет губителя народнического дела, если ничего другого с ним нельзя сделать». Помешать убийству императора при помощи убийства? Прямо-таки полицейская мера.

Да, теперь уже каждому было ясно, что в партии две фракции, два направления и, несмотря на дружбу, теплую, кровную, они разойдутся. Тихомирову, пожалуй, уже и тогда было безразлично, с кем он будет. Но как переживал Морозов, как мучились Квятковский, Михайлов, Плеханов. Никто не брал на себя инициативы ускорить разрыв. Собираясь вместе, говорили об общей кассе, стремясь предотвратить раскол. Оставаясь с

единомышленниками, спорили о том, как именоваться потом, когда разрыв произойдет. Вопрос этот был сложным. Когда «неопартизаны», выражаясь по-морозовски, превратились в боевую группу, которая с оружием в руках начала борьбу за политическую свободу для всех, В. Осинский предложил именовать эту группу «Исполнительным комитетом Русской социально-революционной партии» и от имени Исполнительного комитета совершать все политические убийства. Но ведь это была фикция. Никто не избирал исполкома, ничьих решений, кроме своих собственных, Исполнительный комитет не выполнял, да и партии такой в России никто не образовывал. Правда, была печать, ее сделал Осинский, вырезав из грифельной доски. Чтобы она казалась грозней для врагов, тот же Осинекий шилом выцарапал на печати топор и револьвер. Но наличие печати еще не означает создания партии, и даже, если ее приложить к листовкам, то это тоже ничего не значит — журнал, листовки может издавать и просто группа людей, как это и было в данном случае.

Л. Тихомиров по собственному почину попробовал набросать вступление к новой программе. Морозов тут же встал в оппозицию к его идеям. Тихомиров и сам колебался, где уж ему было разобраться в том сумбуре, который царил среди воззрений народников на социализм, на задачи и методы революционной борьбы. О социализме мечтали все, Оуэн и Фурье цитировались беспрестанно. Но в русском истолковании эти прекраснодушные идеалисты обретали плоть и кровь, именно кровь, так как все народники, вне зависимости от кличек и имен, боролись прежде всего с реальной невыносимостью жизни под игом царизма, с произволом полиции и бюрократического чиновничества. А эта борьба оставляла мечты за бортом жизни, кровь врывалась в нее на каждом шагу.

Морозов требовал разрубить гордиев узел, развязать руки и тем, кто на своем знамени написал республиканские идеи и политическую борьбу за свободу, и тем, кто по-прежнему тянул в деревню, к подпольной агитации социализма среди крестьян. Квятковский и Михайлов были на его стороне. 15 марта 1879 года «Листок «Земли и воли» вышел с громкой статьей Морозова «По поводу политических убийств». Морозов требовал политической борьбы методом красного террора. Плеханов взволновался ужасно. Он не мог поверить, что этот «Листок» подлинный, и во всеуслышанье назвал его полицейской подделкой, тем более, что ему, редактору «Листка», не было известно о выпуске такой статьи. Оказалось, Морозов сумел обойти редакцию. Тогда Плеханов и Попов потребовали созыва съезда членов «Земли и воли», чтобы окончательно решить вопрос о направлении всей революционной деятельности партии. «Вильгельмы

Телли» согласились. Плеханов и Попов уехали в провинцию готовить съезд, а оставшиеся в Петербурге шесть-семь сторонников нового направления страшно волновались. Им казалось, что на съезде никто не поддержит политиков, их исключат из среды революционеров как людей, не подходящих по духу. Решили не ждать, а организовываться, привлечь на свою сторону возможно больше деятелей, разделяющих их новую точку зрения. Письма полетели в разные концы России. Особенно много их пошло на юг — к Желябову, Гольденбергу, Фроленко. «Неопартизаны» приглашали южан на совещание в город Липецк, прежде чем предстать перед съездом, который уже решили к этому времени собрать в Воронеже.

\*

Издавна славится не только в Тамбовской губернии, но и по всей империи уездный городок Липецк. Живописные берега речушек и рек окаймляют маленький, чистенький «городишко» с 16 тысячами жителей и несколькими фабриками, двумя ярмарками, духовным училищем и женской прогимназией. Но не живописная природа и даже не петровские древности города привлекают сюда с конца мая многочисленных больных и страждущих паломников. Минеральные источники железисто-щелочных вод, открытые еще в XVIII веке, — вот главная приманка и достопримечательность Липецка.

Июнь 1879 года выдался жаркий. Каждый день поезда Орловско-Грязинской дороги высаживали на липецкой платформе десятки курортников. Они разбредались по городку в поисках пансионатов к вящей радости местных обывателей, снимали дачи и сразу же спешили к источникам.

Как и на всяком курорте, у источника одни пили воды и принимали ванны, другие жуировали. Толпа больных и здоровых была самая разношерстная. В лесах и рощах близ Липецка звучали песни, смех участников пикников и увеселительных прогулок. Лунными ночами на темных улицах мелькали светлые платья дам, надрывались лаем собаки, ошеломленные нашествием чужих людей.

Николай Морозов, Александр Михайлов, Александр Квятковский и Лев Тихомиров приехали из столицы одним поездом, на следующий день из Петербурга же прибыли Баранников и Мария Ошанина, а из провинции один за другим — Колодкевич, Андрей Желябов, Фроленко, Гольденберг,

Ширяев. Всего 16 июня собралось 14 человек.

Утро следующего дня вставало ясное, яркое, знойное. На улицах спозаранку появились курортники. Извозчики были нарасхват, веселые компании отправлялись за город, все улыбалось, пело вместе с природой.

Николай Морозов и Квятковский прибыли первыми, как квартирьеры, на заранее условленное место встречи. Недалеко от загородного ресторана в овраге, поросшем густым лесом, белела широкая поляна, окаймленная высокими, но редкими соснами, без кустов. Она была очень удобна, так как к ней нельзя было пробраться незаметно, негде было и спрятаться, чтобы подслушать, о чем будут говорить собравшиеся. А они уже подходили, неся пиво и бутерброды. Расстелили широкий плед, принесенный Ошаниной, разлеглись на нем, разложили закуску.

Михайлов развернул лист бумаги и начал читать. Если бы и нашелся сторонний наблюдатель, сумевший укрыться за деревьями, то он не смог бы расслышать его тихого голоса. Михайлов читал проект новой программы.

«Наблюдая современную общественную жизнь России, мы видим, что никакая деятельность, направленная к благу народа, в ней невозможна вследствие царящего у нас правительственного произвола и насилия. Ни свободного слова, ни свободной печати для действия путем убеждения в ней нет. Поэтому всякому передовому общественному деятелю необходимо прежде всего покончить с существующим у нас образом правления, но бороться с ним невозможно, иначе как с оружием в руках».

Желябов вскочил.

— Простите, я согласен со всем, что мы слышали, но нас могут понять превратно, когда эта часть программы будет опубликована. Поэтому нужно подчеркнуть, что социал-революционная партия должна преследовать социально-экономические, а не политические цели. Последние всецело лежат на либералах. Но эти люди у нас совершенно бессильны и не способны дать России свободные учреждения и гарантии личных прав, при отсутствии которых невозможна никакая деятельность. Поэтому я предлагаю вставить в программу заявление о том, что русская социал-революционная партия принуждена взять на себя обязанность свалить деспотизм и дать России те политические формы, при которых станет возможна идейная борьба.

Желябов сел разгоряченный.

— Андрей Иванович, — тихо сказал Михайлов, — не нужно прежде всего кричать на весь лес, а затем прошу вас выслушать далее, в нашем проекте так и записано, почти вашими же словами.

«Поэтому мы будем бороться до тех пор, пока не достигнем таких свободных порядков, при которых можно будет беспрепятственно обсуждать в печати и на общественных собраниях все политические и социальные вопросы и решать их посредством свободных народных представителей».

— Согласен, согласен, — снова вскочил Желябов, нервно теребя бороду и ероша волосы.

— Только вот необходимо добавить здесь же о способах борьбы.

— А не лучше ли будет вопрос о способах борьбы оставить открытым? — Тихомиров, до сих пор молчавший, тоже встал. Его сутулая фигура, благообразная внешность интеллигентного старообрядца резко контрастировали подтянутому Желябову.

— В Воронеже, куда мы направимся через несколько дней, нам, дай бог, отстоять бы программное требование на право борьбы политической. Я уверяю вас, что ни Плеханов, ни Попов, ни Стефанович так, без боя, с этим не согласятся. А уж если мы внесем в наш проект еще и пункт о методах борьбы, методах, отличных от пропаганды с целью бунта, заговорим о якобинстве, то рассчитывать на успех на съезде и вовсе не приходится.

Тихомиров тяжело опустил на пень и оглядел притихшее собрание, призывая каждого поддержать его, не дать увлечь себя радикализмом Желябова. Взгляд Тихомирова остановился на Морозове. Ему было известно, что именно Морозов набросал основные идеи этой программы, Михайлов же и Квятковский только отредактировали написанное. Морозов, перехватив взгляд Тихомирова, вдруг хитровато улыбнулся, вытянулся во весь рост и, подперев кулаками подбородок, сказал:

— Когда мы вчерне набрасывали этот проект, если не изменяет мне память, в нем были слова: «Поэтому мы будем бороться по способу Вильгельма Телля» и так далее, то есть то, что мы уже слышали.

Квятковский и Михайлов засмеялись.

— Ты, Николай, неисправимый пиит. Нет, нет, не хмурься, разве я сказал что-либо обидное? — Михайлов потрепал Морозова по плечу. Все засмеялись, и это разрядило сгущавшуюся атмосферу. Один Тихомиров насунился.

Желябов подошел к Морозову, крепко пожал его руку и, обращаясь к товарищам, показал на оттопыренный карман Николая Александровича:

— Уж не очередная ли порция пива приютилась у вас в кармане, господин Морозов?

Хохот усилился. Не только петербуржцы, но и те, кто сегодня впервые встретился с Морозовым, знали о его тайной страсти к оружию. Морозов

никогда не расставался с чемоданом, наполненным всевозможными револьверами, купленными по случаю в «Центральном депо оружия» в доме Веймара. Морозов смутился, покраснел, затем вытащил из кармана здоровенный американский револьвер с шестью стволами, в каждый из которых легко входил большой палец руки.

— Ого-го, — захохотал Желябов, — из такого лошадь свалить — минутное дело.

— Ну, нет, — сквозь смех заметил Михайлов, — я помню, как это чудовище покупали у Веймара, я его тогда же окрестил «медвежатником». Американский бурый медведь охотнику с таким оружием не страшнее, чем наш тамбовский русак.

Среди общего веселья вдруг послышался серьезный, немного торжественный голос Квятковского:

— Господа, господа, думаю, что можно включить в текст программы упоминание о «способе Вильгельма Телля», хотя уверен, что среди народа это имя прозвучит, как в пустой комнате. Конец же программы предлагаю сформулировать так:

«Ввиду того что правительство в своей борьбе с нами не только ссылает, заключает в тюрьмы и убивает нас, но также конфискует принадлежащее нам имущество, мы считаем себя вправе платить ему тем же и конфисковать в пользу революции принадлежащие ему средства».

Как вы находите, господа, мне кажется, сказано достаточно четко — «отвечать ему тем же»?

— То есть отвечать ему не только конфискацией правительственных средств, но тюрьмами и ссылками? — с нескрываемой иронией переспросил Тихомиров.

— Нет, убийствами! Убийствами царских холопов и самого царя! — с силой воскликнул Желябов.

На поляне воцарилась тишина, то, о чем думали многие, что пытался сделать Соловьев, о чем писал Морозов, не называя царя, теперь было сказано вслух. И эти слова уже нельзя было вычеркнуть, так как их никуда не вписали. Теперь можно было спорить только о том, убивать или не убивать. Но если нет, если отказаться от борьбы с оружием в руках, то стоило ли приезжать в Липецк? А если будет пущен в ход «медвежатник» Морозова, то почему его пули должны достаться только Треповым, Мезенцевым, Котляревским? Ведь главный их враг — царизм, а его олицетворяет прежде всего царь, император, этот бутафорский «освободитель», который ручьями льет народную кровь.

Жара становилась нестерпимой, солнце ярко освещало поляну, тень от

сосен укоротилась и редкими сероватыми бликами прикрыла хвою, рассыпанную по корням. В лесу слышался смех гуляющих, ауканье, от реки доносился задорный визг купальщиков. Молчаливая группа людей на солнечной поляне теперь выглядела странно. Они уже никак не походили на отдыхающих. Своими застывшими позами, напряженными лицами эти люди напоминали скорее присутствующих на похоронах, онемевших над разверзшейся могилой.

Никто не решался первым нарушить молчание. Морозов поднялся с пледа и стал собирать бутылки. Все заспешили, помогая ему. Никто не закрывал первого совещания съезда, но всем было ясно, что, по крайней мере сегодня, работа закончена. Так же молча разбрелись по лесу.

18 июня было пасмурно, с утра шел мелкий, назойливый дождь, ветер пригибал кусты и раскачивал деревья. Но во второй половине дня распогодилось, дождь прекратился, хотя тучи продолжали угрюмо нависать над землей. Трава в лесу была мокрой. Собрались тесной кучей, потихоньку продвигаясь по дороге к ресторану. Михайлов и Квятковский заметили, что ночью кто-то пытался за ними следить. Это известие взволновало всех, решили скорее кончать и уезжать в Воронеж, тем более, что 24-го туда должны будут съехаться все участники съезда.

Быстро утвердили проект устава. Тихомиров, Квятковский, Михайлов дополнили первоначальный текст еще добрым десятком новых параграфов, но никто не возражал. Когда обсуждение закончилось, Желябов прочел текст устава преобразованного Исполнительного комитета, подчеркивая и акцентируя внимание слушателей на главных его пунктах.

«§ 1. В Исполнительный комитет может поступать только тот, кто согласится отдать в его распоряжение всю свою жизнь и все свое имущество безвозвратно, а потому и об условиях выхода из него не может быть речи.

§ 5. Всякий член Исполнительного комитета, против которого существуют у правительства неопровержимые улики, обязан отказаться в случае ареста от всяких показаний и ни в каком случае не может назвать себя членом комитета. Комитет должен быть невидим и недосягаем. Если же неопровержимых улик не существует, то арестованный член может и даже должен отрицать всякую свою связь с комитетом и постараться выпутаться из дела, чтоб и далее служить целям общества.

§ 7. Никто не имеет права назвать себя членом Исполнительного комитета вне его самого. В присутствии посторонних он должен называть себя лишь его агентом.

§ 8. Для заведования органом Исполнительного комитета выбирается



на общем съезде редакция, число членов которой определяется каждый раз особо.

§ 9. Для заведования текущими практическими делами выбирается распорядительная комиссия из трех человек и двух кандидатов в нее, на случай ареста кого-либо из трех до нового общего съезда. Комиссия должна лишь строго исполнять постановления съездов, не отступая от программы и устава.

§ 11. Член Исполнительного комитета может привлекать посторонних сочувствующих лиц к себе в агенты с согласия распорядительной комиссии. Агенты эти могут быть первой степени с меньшим доверием и второй, с большим, а сам член Исполнительного комитета называет себя перед ними агентом третьей степени».

Также без особых споров и пререканий были избраны редакторами будущего органа партии Морозов и Тихомиров, а в распорядительную комиссию от южан прошел Фроленко, петербуржцы были представлены в ней Александром Михайловым и Тихомировым, последнего избрали под сильным давлением южан, плохо знавших его вялость и непрактичность, но зачарованных обаянием имени крупного литератора и революционного теоретика.

Наступил последний день совещания в Липецке, уже была утверждена новая программа, выработан устав, оставалось распрощаться. Члены партии «Земля и воля» Тихомиров, Квятковский, Морозов и другие спешили в Воронеж, Желябов, Фроленко, не входившие в эту партию, должны были разъехаться по различным пунктам России, чтобы приступить к практической деятельности во имя борьбы политической.

Опять поляна в лесу и свежее солнечное утро, голубое небо и торжественная приподнятость настроения у каждого, кто пришел сюда сказать последнее «прости», хорошо зная, что, быть может, политические бури, титаническая борьба с правительством закружат, уничтожат тех, кто сегодня основал новую партию и полный радужных надежд с улыбкой встречал товарищей по борьбе.

Теперь собрание заговорщиков действительно выглядело веселым пикником. В этот день не хотелось думать о неприятном, и даже Тихомиров смеялся, рассказывая забавные случаи из своих заграничных скитаний. Открывая последнее заседание, Александр Михайлов произнес речь, блестящую, проникновенную, торжественную.

Это был смертный приговор его императорскому величеству. Михайлов говорил как беспристрастный судья, взвешивая и анализируя все «за» и «против», напоминая притихшим слушателям хорошие стороны

деятельности царя, его сочувствие крестьянской и судебной реформам, затем дал яркий очерк политических гонений последних лет. Голос оратора звучал кандальным звоном, а перед воображением слушателей проходили длинные вереницы молодежи, гонимой в сибирские тундры за любовь к своей родине, своему народу, вспухали неведомые холмики могил борцов за освобождение.

«Император уничтожил во второй половине царствования почти все то добро, которое он позволил сделать передовым родителям шестидесятих годов под впечатлением севастопольского погрома. Должно ли ему простить за два хороших дела в начале его жизни все то зло, которое он сделал затем и еще сделает в будущем?»

И четырнадцать человек, потрясенных трагическим вдохновением оратора, единодушно выдохнули: «Нет!»

\*

После ареста Обнорского, после разгрома полицией нескольких районных библиотек Халтурин с трудом уже мог поддерживать связи с товарищами. Полиции было многое известно, но она никак не могла напасть на его след. И Халтурин старался не облегчать работы царским ищейкам. Каждый день приносил грозные известия, грозные и для царизма, так как это были вести о новых крестьянских восстаниях, студенческих волнениях, забастовках рабочих, движении народников. Но не менее угрожающими были действия контрреволюционных сил. То тут, то там полиция сталкивалась с новыми группами заговорщиков-дезорганизаторов или пропагандистов-деревенщиков; процессы следовали один за другим в различных городах России. Казням не было конца, сибирские и якутские каторги и остроги уже не могли вместить узников.

Ни Халтурин, ни его товарищи по Северному союзу не отделяли себя стеной социальных различий от интеллигентов народников. Наоборот, тесная связь со всеми, кто встал на путь борьбы с царизмом, с самодержавной бюрократией, помещиками, капиталистами, отличала этих «корифеев» рабочего движения 70-х годов. В этом была их сила, в этом же крылась и слабость рабочего движения. Не раз Степан Николаевич с упреком говорил своим друзьям-народникам, что они своими террористическими актами не дают возможности укрепить рабочие организации.

Сейчас, осенью этого бурного 1879 года, Халтурину было очень тяжело. Его детище — союз был почти разгромлен, а без союза, без прочной рабочей организации невозможно стало руководить стачками, направлять борьбу рабочих по нужному руслу схваток за политические свободы, нельзя было воспитывать и просвещать их. С гибелью союза меркли и рушились мечты о прекрасном, социалистическом будущем всех простых тружеников России. Халтурин физически ощущал боль по утерянным товарищам, по погибшей организации. Глухая злоба против всего политического строя царской России выростала в лютую ненависть к царю, олицетворяющему этот строй, возглавляющему все темные силы, ставшие на пути людей, ищущих выхода из тюремных застенков.

В осенние, дождливые дни Халтурин размышлял, шагая из угла в угол маленькой комнатухи. Версты уходили за верстами, отмеренные беспокойными шагами Степана от двери к окну и от окна к двери.

Степан по натуре своей был боец, его жгучая энергия, неиссякаемый энтузиазм и мечтательная, мягкая натура порождали неистребимый оптимизм. В голове роями носились планы новых свершений. Он не верил, что с первой неудачей кончились надежды на благополучный исход борьбы. Пусть не он и не его поколение тружеников завоюют себе счастливую жизнь, но его долг приблизить эту жизнь, в горячих схватках с царизмом отвоевать социальные и политические права рабочим, покончить с этим царством тьмы, где стонут, мечутся, заживо гниют и умирают миллионы его братьев, близких и родных по плоти и крови людей.

Но теперь он одинок — как это нелепо! Ведь накал борьбы с каждым днем становится все жарче, все сильней. Его друзья по «Земле и воле», несмотря на тяжелые потери, подняли головы, встретив сочувствие и горячий отклик даже среди либералов. Конечно, верить либералам нельзя, но пользоваться их поддержкой можно и нужно, чтобы увлечь за собой молодежь, лучшие силы России, раскачать крестьянство на активные действия.

Халтурин никогда всерьез не интересовался деревней. Как принятую аксиому Степан повторял, что с победой революции земля отойдет к крестьянам. Но что представляет собой крестьянская община, о которой до хрипоты, до взаимных оскорблений спорили его друзья-лавристы, он представлял смутно. И это несмотря на то, что недавно перечитал всего Костомарова с его романтической идеализацией крестьянского быта. Никто из рабочих так хорошо не был знаком с историей революций 1789 и 1848 годов во Франции, как он, мало кто даже из интеллигентов так внимательно изучал конституции европейских стран, но вряд ли можно было найти

второго такого рабочего-интеллигента, не говоря уже о народниках, кто так плохо разбирался в делах деревенских, как Халтурин.

Сколько раз Плеханов, вернувшийся из саратовского поселения, пытался обратить Халтурина в свою «народническую, крестьянскую веру», но каждый раз встречал отпор. И что же? Вместо «горечи поражения» Плеханов проникался все большим и большим уважением к Степану Николаевичу, невольно прислушиваясь к его убежденным и в то же время ласковым, почти лирическим рассказам о рабочих, о их нуждах, борьбе, будущем.

Плеханова волновали эти рассказы. Недавно он основательно заинтересовался учением Маркса и перечитал все, что можно было достать в России из его сочинений. Как ни странно, мысли Халтурина, его непреклонная вера в будущее рабочего движения перекликались с идеями Маркса, хотя Степан Николаевич мог прочесть лишь несколько его статей: языков Халтурин не знал.

Воронежский съезд стал поворотным пунктом в идейной жизни Плеханова. Хотя он еще и не сделался марксистом, но уже переставал быть народником.

В один из хмурых осенних вечеров Халтурин снова встретился с Оратором. Странная была эта встреча. Происходила она в барском особняке радикальствовавшей генеральши Катерины Павловны Дубровиной. Собственно, сама генеральша, участница кружка, организованного Плехановым еще в 1878 году, была арестована, но дом ее, занимаемый богатыми и тоже «чуть-чуть красными» родственниками, оставался почему-то вне подозрений у полиции. В доме было вдоволь места и даже угощения для собравшихся, а это играло немаловажную роль для полуголодной студенческой братии.

Народу набралось много. Часть толпилась в столовой, на ходу прожевывая бутерброды с чайной колбасой, другие заполнили большую комнату. Стульев не хватало, сидели прямо на полу, нимало этим не смущаясь. Здесь были рабочие и студенты, «нелегальные», вроде Халтурина, Каблицы, Русанова, и «сочувствующие». Спор шел жаркий и, как всегда бывает на таких многолюдных сборищах, бестолковый. Выступающих ораторов перебивали репликами, шум стоял невообразимый. Лавристы явно одерживали верх над своими оппонентами, бунтари уже начинали просто ругаться, когда в комнату протиснулся Плеханов.

Встретили его восторженно.

— Жорж! Жоржик! Оратор!

— Опоздал, поздно!

— Говори, Жорж!

Плеханов был ошеломлен. Он хорошо знал о той популярности, которую завоевал среди революционной молодежи Петербурга и передовых рабочих. Еще в 1877–1878 годах, поддерживая бунтарей, он спорил с лавристами, но не с позиций марксизма, а как истинный народник, может быть сторонник постепенности, но такой, которая неизбежно должна привести к бунту, к революции. Теперь Плеханов уже не мог выступать от имени бунтарей, да и они сами переродились, став на платформу политической борьбы при помощи террора. Но и лавристы оставались ему чужды своей проповедью пропаганды в крестьянской среде, своим отрицанием революционного действия, движения политического.

Аудитория ждала, Плеханов медлил, он и сам еще до конца не успел разобраться в своих мыслях и настроениях после Воронежского съезда, а сейчас нужно было выступать или «за», или «против» — за бунтарей-террористов или за лавристов. Но Плеханову уже мерещился иной путь.

— Прошу собрание извинить меня, но я не мог раньше прийти... Я только что явился сюда по черному ходу с одной сходки и не в курсе вашего спора, — Плеханов явно выигрывал время.

Ему быстро разъяснили сложившуюся ситуацию. В нем заговорил оратор. Плеханов вышел на середину комнаты, потеснив сидящих на стульях. Одет он был в длинный, очень легкий, пестрый балахон, полы которого развевались при каждом его резком движении.

Заговорил он плавно, но с огоньком, иногда иронизируя:

— Я должен честно признаться, что не разделяю теперь точки зрения тех, кто проповедует хорошую, добрую, благодетельную революцию, но против дурного, пагубного бунта. Но я и не с теми, кто ждет, что без народа кучка заговорщиков вызовет, так сказать, беспатентную революцию. Впрочем, о революции они уже перестали говорить, разговор теперь идет о захвате власти без революции. И та и другая идеи лишены практического смысла и напоминают богословские споры о беспорочном зачатии и бескровном рождении. Я не верю в мирный прогресс человечества, как не верю в революцию без участия народа.

Все великие исторические приобретения человечества брались им только с боя, добывались кровью. Но пролить кровь просто, и чаще всего кровопролития на руку власть придержащим. Кровь — это дорогая цена. К боям нужно готовиться, завоевывать рубеж атаки шаг за шагом, сплачивать армию штурма, ждать, если этого требует революция, наступать, когда подан сигнал. Те же, кто сейчас встал на позицию террора, только мешают свершению народной революции, они хотят установить свою

террористическую диктатуру.

Плеханов внезапно замолчал, так как к нему подошел студент и что-то шепнул на ухо. Плеханов покачал головой, все насторожились.

— Товарищи, — тихо сказал студент, — свой человек предупредил нас из участка, что полиция заявится сюда сейчас же. Там не поверили в наши именины. Нужно убрать всех нелегальных.

Захлопали двери, кто-то поспешил скрыться. Плеханова увели чуть ли не силой.

— Жоржа ты моя, Жоржа милая! — проникновенно, но заунывно, при общем хохоте собрания, воскликнул здоровенный рябой рабочий, ткач Петр, который, как нянька, ходил всюду за Плехановым, «чтобы в случае чего...». Кулак у него был действительно увесистый.

Халтурин вышел следом. На улице темень и дождь, на пустыре редкие островки домов. Плеханов остановился в нерешительности. Халтурин окликнул его:

— Георгий! — Плеханов обернулся и, узнав Халтурина, пошел к нему навстречу.

— Здравствуй, Степан.

— Ты все еще сердисься на меня, Георгий. Прости, я тогда погорячился насчет Рейнштейна, не гневайся, со всяким бывает, — Халтурин крепко пожал руку Плеханову.

— Ну, что ты! Ты лучше скажи, где бы переночевать?

— А у меня. Пошли.

Уже далеко за полночь, но они не спят. Плеханов с горечью рассказывал Степану о Воронежском съезде.

— Понимаешь, Степан, собралось нас в Воронеже человек двадцать, почти все были членами «Земли и воли». Смех смехом, а пришлось нам заседать на лесистых островках на реке Воронеже. На лодках, как гуляющие горожане, подплывали к ним. Сошлись первый раз, и оказалось, что как у нас, пропагандистов-деревенщиков, так и у политиков-террористов имеются в запасе люди, которые в партии не состоят, но уже давно работают по ее программе. Решили принять их в партию. Смешно было, когда с одной опушки леса подошли к нам трое политиков, с другой — трое «сельчан». Ну, конечно, приняли их. Имена называть не буду, ты ведь не обидишься, не правда ли? — Плеханов посмотрел на

Халтурина, тот понимающе кивнул головой. — Когда все расселись, я предложил, чтобы Морозов прочел свою статью в «Листке «Земли и воли» по поводу политических убийств. Читал, конечно? — Халтурин опять кивнул головой, напряженно слушая. — Прочел он статью. Тогда я спросил

всех присутствовавших, согласны ли они с тем, что это и есть наша программа. Тут, признаться, произошло самое для меня неожиданное. О мнении Морозова и некоторых других членов так называемого Исполнительного комитета я знал раньше. Но, за исключением четырех человек, все его поддержали, молчаливо поддержали. Даже убежденные деревенщики не высказались против. Не суди строго, но я после этого встал и сказал: «Здесь мне больше делать нечего. Прощайте, господа». Ох, как тяжело было, Степан Николаевич, не поверишь, слезы мешали мне разглядеть дорогу, я спотыкался... Да... Когда я отошел, то еще слышал, как Фигнер говорила, что нужно меня вернуть, но Михайлов остановил ее.

Плеханов опустил голову и замолчал. Халтурин встал, подошел к нему, положил руку на плечо. Этот дружеский жест душевного человека, товарища, ободрил Георгия Валентиновича.

— В Воронеже раскола не произошло, сумели договориться о разделе средств на агитацию и террор, а как приехали со съезда да начали в Лесном вновь заседать, так и кончили тем, что разошлись во мнениях безвозвратно. Ныне две партии у нас, с августа уже отдельно существуем. Я в «Черном переделе», а те, кто в Воронеже поддержал Морозова, организовались в «Народную волю», их Исполнительный комитет теперь стал руководящим центром. Нехорошо у меня на сердце, Степан, ведь чернопеределцы тоже не последовательны, да и я вместе с ними запутался. Ведь бесплодны наши мечтания о мирном социалистическом переделе крестьянских земель. Кажется мне, что правы не те, кто политическую борьбу проповедует, да и не те, кто пропаганду земельного раздела ведут. А кто прав? Иногда я думаю, что Маркс прав. Ты его обязательно почитай, Степан, я принесу, тебе понравится.

— Читал я кое-что, Георгий Валентинович, почитаю еще. Замечательно пишет о нас, о рабочих, а что о рабочем толкуют — я все читаю да собираю. Только сдается мне, что учению этому дорога на Западе расчищена, а у нас, в России, бомбами да пулями нужно бороться. Иного пути и я ныне не вижу. Так-то.

Плеханов был поражен. Он давно не видел Степана, не знал, как тяжело пережил тот разгром союза, не знал он, что и у Халтурина невольно родилась мысль о необходимости открытой террористической борьбы, чтобы пробить дорогу рабочему движению.

Между тем Степан Николаевич недовольно продолжал:

— Человек, с которым ты познакомил меня перед своим отъездом, был у нас один раз, обещал доставить шрифт для нашей типографии, а потом исчез, и я не виделся с ним два месяца. А у нас уже и станок сделан, и

наборщики есть, и квартира готова. Остановка только за шрифтом. Да и, кроме шрифта, есть важное дело — нужно переговорить с кем-нибудь из ваших, а где искать их — неизвестно. Я сегодня на сходку и пришел потому только, что тебя встретить надеялся, и не ошибся.

— Не сердись, Степан, Ширяев не виноват, шрифт захватили. А какое дело у тебя?

— Сдается мне, что смерть Александра II принесет с собой политическую свободу, а при политической свободе рабочее движение пойдет у нас не по-прежнему. Тогда у нас будут не такие союзы, с рабочими же газетами не нужно будет прятаться. Вот ты говорил сегодня, что революцию готовить надобно. Верно. А как ее подготавливать? Попробуй сунься открыто на завод или фабрику какую потолковать с народом. Живо схватят, ну, а там по Владимирке — путь известный. Союз-то наш, Георгий Валентинович, разгромлен почти, уцелели немногие, а я чудом держусь. А все почему? Нет у нас свобод политических, слова свободного сказать вслух не можем.

Плеханов слушал, не узнавая Халтурина. Кто, как не он, знал Степана, его цельную натуру, его глубокий ум, энергию, горячую любовь к рабочему. Нет, Плеханов не преувеличивал, считая, что Степан Николаевич принадлежит к избранным людям. Были бы иные условия политической жизни в России, из Халтурина вырос бы новый Фердинанд Лассаль, основатель широкого освободительного движения. Он был сыном народа, и в момент революции народ признал бы его своим вождем. И вдруг этот человек, этот убежденный пропагандист-организатор говорит об убийстве царя, мысли его совпадают с планами народовольцев! Удивительно и прискорбно.

Но Плеханов не понял тогда настроения Халтурина. Он боялся, что террористы, так сказать, сбили Халтурина с пути пропагандиста революции, организатора рабочих масс.

Нет, сбить Халтурина с избранного пути было трудно, вернее — просто невозможно. Халтурин смотрел на террористическую борьбу иными глазами, нежели Морозов, Желябов, Квятковский. Для них террор осенью 1879 года мыслился как единственный метод борьбы политической. Халтурин же после долгих, мучительных размышлений пришел к убеждению, что террористическая борьба — это одно из средств борьбы политической, но средство не главное, не основное, средство, к которому нужно прибегать в положениях исключительных, когда нет иного выхода.

А разве теперь, после того как с таким трудом созданный союз фактически разгромлен, не наступил этот исключительный момент?



Халтурин считал, что наступил. Ну, а если так, то он, организатор союза, его душа, его руководитель, должен пожертвовать всем, пусть даже жизнью, чтобы возродился новый, на сей раз «великий союз» русских рабочих в новых условиях политической свободы.

Халтурин теперь искренне верил, что убийство царя создаст эти условия. Плеханов ушел от Халтурина опечаленный, сбитый с толку, но по-прежнему привязанный к Степану.

Прощаясь с ночным гостем, Халтурин крепко обнял его и долго следил через окно за удаляющейся фигурой Плеханова, с которым ему не суждено было больше встретиться.

\*

Николай Сергеевич Русанов давно не видел Халтурина. Это и неудивительно. Халтурин был нелегальный, Русанов тоже. Прячась от полиции, они невольно таились и друг от друга.

После покушения Соловьева 2 апреля 1879 года Русанов предпочел уехать на родину в город Орел, а когда вернулся в Петербург, то обнаружил, что полиция завела необыкновенные строгости по части прописки и выписки.

Кое-как пересидев лето в Царском Селе в семье немецких бюргеров, Николай Сергеевич позорно бежал от достопочтенных филистеров, тем более, что осенью ему досталось место присяжного рецензента в журнале «Дело». Наскоро пристроившись на 7-й линии, в квартире мастера одного из василеостровских заводов, Русанов стал налаживать былые связи с революционерами. Это оказалось делом трудным. Халтурин после памятных «именин» куда-то исчез, Мурашкинцев тоже скитался по знакомым и был неуловим. В столице тревожно, после покушения Соловьева в Петербурге, Одессе, Харькове назначены временные генерал-губернаторы с диктаторскими полномочиями, с правом передавать всех гражданских лиц военному суду, высылать из края, принимать меры против печати и вообще распоряжаться по собственному усмотрению. Под председательством сенатора Валуева назначена особая комиссия с целью выработать драконовские меры для подавления революционного движения.

Первые виселицы, первые жертвы уже вписаны в длинный некролог народников, и кровавая летопись злодеяний царизма пополнилась новой вереницей имен.

«Черный передел» медленно умирал, едва успев появиться на свет. Из деревень бежали последние поселенцы. Никаких прочных связей с народом чернопередельцы не имели, и попытка воскресить их не принесла успеха. Бывшие землевольцы оказались далеки от земли. Не имела успеха и их пропаганда среди городского люда и прежде всего в рабочей среде.

Ведь содержание этой пропаганды осталось прежним. «Чернопередельцы — убежденные люди, — говорил Русанову его друг Вениамин Ильич Иохельсон, агент Исполнительного комитета и заведующий типографией «Вестника Народной воли», — но убедительности в них мало. Они беззаветно преданы народу, но они сами как будто изверились в него».

Между тем террористы развивают огромную энергию. У них поддержка и сочувствие среди учащейся молодежи, в демократической среде городского элемента и даже у левых земцев.

Им «надоело биться об лед, об народ», они уже больше не верят в крестьянина, не считают его истинным социалистом. Что же делать? Ответ был один — встать на путь «единоборства с правительством», начать партизанский террор против всемогущего царизма. Меняется отношение к политике, к роли государства. Террористы вслед за Бакуниным опасались, что конституция, завоеванная не самим народом, пойдет на пользу только буржуазии. Поэтому прав Ткачев — решают народовольцы. Нужно рубить ниточку, на которой висит государство. Сделать это могут и одни заговорщики без участия народа. В момент, когда старый политический режим рухнет, некультурный народ не сможет взять в свои руки управление страной, поэтому революционеры должны захватить власть и декретировать народу новые свободные учреждения. Значит, к социализму один путь — от заговорщицкого терроризма через диктатуру революционной интеллигенции. Путь, который еще в XVIII веке во Франции прошли, но не завершили якобинцы Великой революции. Но якобинцы шли по нему с народом, народовольцы в России — без него, но для него.

«Народная воля» и ее Исполнительный комитет целиком ушли в террор, круг деятельности этих революционеров сузился, и они жили в атмосфере, пропитанной испарениями динамита, видели только одну ближайшую цель — цареубийство.

Даже малопосвященному в дела «Народной воли» Русанову было ясно, что Исполнительный комитет проводит в жизнь обширный план «охоты за его императорским величеством». Судя по скучным газетным отчетам и более обстоятельным слухам, циркулирующим в среде

«сочувствующих», Русанов узнал о первых акциях против Александра II.

26 августа Исполнительный комитет официально вынес смертный приговор царю, провозглашенный еще в Липецке. Ныне агенты комитета проводили его в жизнь.

Сначала народовольцы решили взорвать поезд, на котором император должен был проследовать из Ливадии в Петербург. Чтобы не произошло каких-либо случайностей, было предусмотрено встретить императора в трех местах — под Одессой, под Александровском и у самой Москвы. Сорвется покушение под Одессой — в запасе Александровск, не произойдет взрыва там — есть еще Москва. За выполнение этого плана взялись руководители и агенты Исполнительного комитета. Их подлинные имена были известны немногим, но Русанов и раньше встречался с Пресняковым, Софьей Перовской, Гартманом, Александром Михайловым, Морозовым, Колодкевичем.

А именно они и были главными исполнителями этого плана. Правда, в Одессе действовали Фроленко, Кибальчич, Златопольский, которых Русанов не знал, а под Александровском Желябов и Якимова. Они также не были ему знакомы, но это не важно, Николай Сергеевич зато знал подробности покушения. А оно было неудачным. Царь не поехал через Одессу, и подкоп под полотно дороги пришлось спешно зарыть. Под Александровском заложили две мины, соединенные электрическими проводами. Батарея помещалась на телеге, которая за несколько минут до прихода поезда подъехала к железнодорожному полотну. Но тщетны были усилия Желябова вызвать взрыв, его не последовало. Из-за чего? Оставалось только гадать.



«Арест пропагандиста». С картины художника И. Е. Репина.



А. И. Желябов.

Зато под Москвой взрыв произошел, и поезд слетел с рельсов, но оказалось, что взорван поезд с царской прислугой, а состав, в котором ехал император, промчался мимо несколькими минутами раньше.

Этот взрыв под Москвой 19 ноября 1879 года прогремел на всю Россию. О терроре теперь заговорили открыто. Правительство усилило репрессии и предприняло смехотворную попытку вести религиозную пропаганду о божественном происхождении и святости царской власти.

Николай Сергеевич сам ходил в ателье художественной фотографии Дициаро на Невском, чтобы поглядеть не то картину, не то икону, написанную по заказу каким-то верноподданным художником. Картина изображала чудесное спасение царя. Огромный ангел парил над крошечной станцией и нес в руках своих игрушечный императорский поезд. Когда Русанов разглядывал это «чудо-творение», кто-то из зрителей с иронией заметил;

— Но ведь один-то поезд все-таки взорван, только царя в нем не было. Значит, небесная лейб-гвардия Александра Николаевича спасает императоров, подводя под убой верных слуг их.

Русское общество волновалось, одни чего-то радостно ждали, другие насторожились, третьи скрыто симпатизировали той грозной силе, которая не побоялась вызвать на поединок владыку шестой части мира.

В конце декабря к Русанову неожиданно нагрянул Мурашкинцев. Он явно был чем-то озабочен и, что более всего удивило Русанова, торжествен, оглядевшись, даже заглянув в коридор, Мурашкинцев встал против Русанова и, понизив голос, заявил:

— Николай Сергеевич, я пришел к вам по одному очень важному делу и не только от себя, но и от человека, который вам, как и мне, вполне доверяет... — Человек этот Степан.

— Какой Степан?

— Халтурин.

— Разве он в Петербурге? Я думал, он уехал в Вятку.

— Он во дворце, в Зимнем дворце... и приготавливается его взорвать. О подробностях говорить нечего, но он был у меня и говорит, что абсолютно уверен в успехе своего предприятия. Он спросил только меня, что я думаю по этому поводу и что думаете вы?

— Я решительно воздерживаюсь и не хочу оказывать на него никакого давления... Ни поощрения, ни порицания... Пусть решает сам. Но разве он колеблется?

— Не колеблется, но, видимо, желал бы, чтобы мы были целиком на

его стороне. Совсем измучился... Понадобятся, говорит, месяцы.

\*

Халтурин действительно уже третий месяц находился в Зимнем дворце. Попал он в это «логово императоров» не случайно. Уже в момент последнего свидания с Плехановым Степан Николаевич подготавливал условия для поступления на работу в Зимний в качестве столяра-краснодеревщика. Именно об этом «важном деле» намекал тогда Степан Плеханову, но Георгий Валентинович не понял его до конца, а потому и не стал отговаривать.

К осени 1879 года мысль о том, что царь должен погибнуть от руки представителя народа, стала навязчивой для Халтурина. Степан Николаевич считал, что убийство должен совершить именно рабочий, и этот акт послужит к прославлению русского рабочего. Так думали и некоторые из его уцелевших друзей по союзу. И все же первые месяцы пребывания в Зимнем Степан колебался в правильности избранного им пути.

Его не страшили трудности осуществления задуманного предприятия. Будучи органически связан с рабочим классом, Халтурин, по словам его друга Кравчинского, «не мог не сделаться борцом за его освобождение — это было естественно, и пришлось бы удивляться противоположному. Борьба за попранные права рабочих, умереть за их дело, если нужно, — значило для него бороться и умереть за все, что было ему дорого, а также за самого себя». Взрыв Зимнего не был «искусственно взятой на себя и выполняемой по чувству долга обязанностью». После разгрома Северного союза Халтурин ощущал в этом покушении «могучую, неотразимую потребность». Его героизм был естествен и логичен, каким всегда бывает истинный героизм. Колебания проистекали из другого источника.

Степан Николаевич знал, что для взрыва Зимнего нужен динамит. Достать его собственными силами он не мог, его друзья-рабочие тоже были бессильны это сделать. Пришлось связаться с Исполнительным комитетом «Народной воли». Исполнительный комитет с восторгом принял план Халтурина. Особенно возросли надежды на это покушение после неудач под Одессой, Александровском, Москвой. Этот восторг народовольцев и заставил Халтурина усомниться, прав ли он, сознательно став на путь террористической борьбы. Ведь совсем недавно Халтурин ожесточенно

спорил с Кравчинским, доказывая, что еще не все потеряно с делом пропаганды, чтобы забросить ее совсем и делать ставку исключительно на террор. Чем же теперь он отличается от Кравчинского, Николая Морозова, Квятковского? Эти мысли порой угнетали Степана.

Народовольцы же были довольны, что и Халтурин, этот влиятельнейший в рабочей среде человек, пришел в их стан. Тот же Кравчинский не раз рассказывал своим друзьям-дезорганизаторам, какой замечательный человек Халтурин.

— Если б вы знали, — говорил он Квятковскому, — Степана Халтурина. В революционные предприятия Халтурин вкладывает всю полноту своей возбужденной фантазии. При его богатом воображении, всегда готовом воспламениться, всякий проект сразу принимает грандиозные размеры.

Александр Квятковский, выделенный Исполнительным комитетом для связи и помощи Халтуруину, старался подстегнуть фантазию Степана, его кипучую энергию. В конце концов Халтурин с головой ушел в работу по подготовке взрыва.

Сначала все шло гладко. Ни у кого не вызвал подозрения паспорт Халтурина, выданный на имя крестьянина Олонецкой губернии Каргопольского уезда Тропицкой волости деревни Сутовки Степана Николаевича Батышкова.

Царь отдыхал в Ливадии, и царская прислуга также чувствовала себя на каникулах. Нравы новых товарищей поражали Степана. Прежде всего прислуга самозабвенно воровала все, что плохо лежало. Покои и кабинеты убирались кое-как. Слуги предпочитали чуть ли не ежедневно устраивать веселые пирушки, приглашая на них своих знакомых. С парадных подъездов во дворец пускали только самых высокопоставленных лиц, ну, а с черных ходов приводили всякого.

Халтурин, став «придворным» столяром, с первых же минут своего пребывания в Зимнем изображал этакого деревенского рохлю, который с раскрытым ртом и округлившимися глазами взирал и на роскошь помещений и на богатую ливрею камердинеров, ахал, чесал в затылке, говорил междометиями.

Столярная мастерская Зимнего дворца славилась своими умельцами. Поэтому Халтуруину прежде всего устроили строгий экзамен — дали починить резной шкаф. Но недаром Халтурина еще в Вятке, учителя хвалили за искусство — «на полировку и блоха не прыгнет — ноги скользят».

Репутация первоклассного столяра была завоевана без особого труда.



Жил Халтурин в подвальном помещении вместе с другими рабочими. Настоящий рабочий люд принял Степана в свою артель, но слуги верхних покоев еще долго потешались над деревенщиной. Не раз Халтурину замечали:

— Нет, брат, полировать ты действительно мастер, а обращения настоящего не понимаешь. — Наперебой старались обтесать «новенького», заодно насмехаясь над ним.

Во время отсутствия императора Халтурин мог сравнительно свободно рассказывать по дворцу. Очень скоро Степан прекрасно знал план Зимнего и особенно той его части, которая находилась над подвалом, где жили столяры. Над подвалом, на первом этаже, помещалась кордегардия дворцового караула, а над ней, во втором — царская столовая. Не раз Халтурину приходилось работать там, подновляя мебель. Постепенно в голове Степана складывался план взрыва. Легче и удобнее всего было взорвать царскую столовую, приурочив взрыв к моменту, когда император с семьей сядут за стол.

Квятковский одобрил этот план, оставалось его осуществить. Блуждая по дворцу, Халтурин искренне удивлялся его непомерной роскоши. Особенно поражали залы — Александровская с огромными батальными картинами Зауэрвейда, Вилливальда, Боголюбова; Белая — вся уставленная мраморными статуями; Помпейская — с каминами и вазами из малахита, ляпис-лазури, золоченой мебелью. Но чаще всего Халтурину приходилось пересекать сокровищницу в нижнем этаже. Степан Николаевич рассказывал Квятковскому при встречах:

— Поверите, Александр Александрович, чем больше я на эти золотые да серебряные побрякушки смотрю, тем сильнее во мне злоба против царей растет. Ведь экое богатство-то! Если его народу бы, а? А так лежит какая-нибудь корона императрицы Екатерины. Говорят, стоит она ни мало, ни много, а один миллион рублей. Миллион... так ведь такие деньги-то и представить трудно. А бриллиантов разных и не счесть. И все валяется мертвым грузом. А вот поди ж ты, царский камердинер, хоть и холуй, но работает же. А знаете, сколько ему за работу-то платят? Не поверите — пятнадцать рублей. Ну и крадут... Как по сей день все эти короны да скипетры не разворовали — ума не приложу.

Квятковский слушал с интересом, ему никогда не приходилось бывать в Зимнем. В ноябре Халтурин передал Квятковскому план той части Зимнего дворца, где помещалась царская столовая, помеченная крестиком. План был нарисован на полуторном листке почтовой бумаги. Халтурин начертил также прилегающие к дворцу здания — малый и нижний

Эрмитаж, которые могли пострадать при взрыве.

Таким образом, детали покушения были уточнены, одобрены Исполнительным комитетом и дело было за миной. Но это было самое трудное и рискованное дело. В этом Халтурина никто не мог помочь. Как доставить динамит во дворец? Где его хранить? Да мало ли вопросов, казалось, безответных, возникало перед Степаном Николаевичем. Время шло. В десятых числах ноября во дворце поднялась суматоха: чистились ковры, натирался паркет, мылись окна. 20-го ждали Александра II. Столярам не давали ни минуты покоя. Халтурин работал с утра до поздней ночи. Плохо работать он не умел, а стараться для царя не хотелось, но за работой прятал тревожные мысли.

Опять вернулись сомнения.

Зная от Квятковского о подготовляемых покушениях на царя по дороге из Ливадии в Петербург, Халтурин ловил себя на мысли, что хорошо бы, если с царем покончили где-либо под Одессой или Москвой, но через минуту эти мысли уже казались ему проявлением малодушия.

Скоро во дворце Степана знала уже вся стража, поэтому он мог беспрепятственно уходить и приходить. Жандарм, приставленный для наблюдения за столярами, даже проникся к Халтурину симпатией. «Деревня деревней, — рассуждал он, — да обтешется во дворце, а мастер чудный, да и собой мужчина видный». И действительно, как ни старался Халтурин походить на деревенского забитого парня, изменить своей внешности он не мог. Шел ему двадцать третий год, болезнь, та страшная болезнь, спасения от которой тогда не знали — чахотка, еще не затронула

Степана. «Высокого роста, широкоплечий, с гибким станом кавказского джигита, с головой, достойной служить моделью Алкивиада. Замечательно правильные черты: высокий гладкий лоб, тонкие губы и энергичный подбородок», — так восторженно описывал внешность Халтурина его учитель и друг Кравчинский, всегда при этом добавляя слушателям: «Когда в пылу разговора его прекрасное лицо оживлялось... я, знаете, не мог оторвать от него глаз».

Жандарм не случайно приглядывался к Степану. Была у него дочь на выданье...

Признаться, Халтурин, догадавшись о намерениях жандарма, даже растерялся. С одной стороны, наотрез откажешься — испортишь отношения, с другой... Халтурин не был ригористом, но никогда ему даже не приходила в голову мысль о женитьбе. Еще до своего отъезда за границу Кравчинский подсмеивался над ним.

— Ты, Степан, «Дворника» знаешь? Ну, Михайлова Александра? Я его

раз спросил, способен ли он влюбиться? Представь себе, он ответил: «Еще как способен, друзья мои, да времени у меня нет». Так и у тебя нет времени, а, Степан?

Халтурин обычно не на шутку сердился. И вот тебе, извольте! Степану приходилось изворачиваться. Нужно было иметь поистине стоическую душу для того, чтобы не обнаружить себя, разыгрывать простачка и готовить, готовить одно из самых дерзких покушений, известных в летописях освободительной борьбы.

После взрыва под Москвой в Зимнем была усилена охрана, труднее стало уходить из дворца. Правда, первые порции динамита Халтурин пронес беспрепятственно. Но что это за порции, буквально крупинки!

Порой Халтурин просто приходил в отчаяние, ведь этак год целый придется накапливать динамит. А время подхлестывало, каждую минуту Степана подстерегал арест. Квятковский также нервничал — его торопил Исполнительный комитет. Уже начались первые провалы народовольцев. Попался Гольденберг с чемоданом динамита. Видимо, он стал давать откровенные показания. Раз или два Квятковский замечал за собой слежку. Он предупредил об этом Халтурина, но Степан отнесся к сообщению спокойно. Сидя у Квятковского на квартире, Халтурин напомнил ему Александра Михайлова и его «науку о конспирации»:

— А ведь Александр Дмитриевич, насколько мне помнится и вас всех обучал, как от шпионов и соглядатаев отделяться надобно. По этой части он дока. Со мной раз забавный случай произошел. Я как-то пожаловался Александру Дмитриевичу, что соглядатаев на улицах стало больше, чем прохожих. А он мне и отвечает: «Степан Николаевич, вы проходные дворы изучайте. Я так себе список их составил, штук 300, и наизусть выучил. Да и шпионов, за мной наблюдающих, с первого взгляда узнаю». Я, признаться, не поверил. А дня через три-четыре встречаю опять Михайлова на улице. Он меня не приметил. Дай, думаю, послезу за ним. Пошел следом, за спины прохожих прячусь. Так что бы вы думали? Замечаю, вдруг он оглянулся, будто на какую-то барышню, затем шляпу поправил и исчез. Черт его знает, куда он девался? Больше нам встречаться не приходилось, так по сей день и не знаю, в какой проходной двор Александр Дмитриевич нырнул.

Халтурин восхищенно развел руками и весело рассмеялся. Квятковский тоже улыбнулся, он-то хорошо знал страсть Михайлова к конспирации, а также ту изумительную ловкость, с которой тот умел ускользать от шпионов.

На квартире у Квятковского, в обществе Евгении Николаевны Фигнер,

проживающей тут же, Халтурин с наслаждением сбрасывал маску деревенского простачка и снова становился самим собой.

25 ноября у Степана Николаевича была назначена очередная встреча с Квятковским. Так как Халтурину трудно было надолго отлучаться из дворца, да и за квартирой Александра Александровича действительно могли следить, решили повидаться в трактире. Напрасно Халтурин ждал — Квятковский не пришел.

Халтурин, встревоженный, вернулся во дворец. При входе его обыскали. Это было новостью.

В подвале Степан застал всех столяров в сборе. Они окружили жандарма. Тот что-то рассказывал, но Халтурин успел расслышать только его последние слова: «Царская столовая-то крестиком помечена, не иначе как новое злодеяние замышляют социалисты на нашего царя-батюшку». Степан замер. В голове вихрем мелькнула мысль: «План Зимнего, тот, что у Квятковского. Ведь там на столовой я крест поставил. Значит, Александра схватили...»

Квятковского действительно арестовали 24 ноября, арестовали из-за пренебрежения конспирацией. Собственно, виновата была Евгения Фигнер. Она доверила своей приятельнице «из сочувствующих» Любви Богословской хранение воззваний Исполнительного комитета и экземпляры газеты «Народная воля». Богословская, в свою очередь, опасаясь обыска, отдала эту литературу соседу, отставному солдату Виктору Алмазову. Он казался ей симпатичным человеком, на которого можно положиться. Но Алмазов был трус и к тому же неразборчив в средствах, при помощи которых можно было бы добыть лишнюю копейку. Ночью 23 ноября, захватив с собой четыре экземпляра воззвания и пять номеров газеты, он явился в 3-й участок Московской полицейской части и выложил все это на стол начальнику, назвав при этом соседку.

В ту же ночь Богословскую арестовали, и хотя ничего подозрительного в комнатах не нашли, ей стали угрожать виселицей. Богословская испугалась и сказала, что литературу она получила от Евгении Павловны Преображенской (Фигнер). Установили адрес Преображенской, выяснили, что она жила вместе с учителем Александром Александровичем Чернышевым (Квятковским). Рано утром 24 ноября к ним нагрянула полиция. Обыск в квартире Преображенской и Чернышева дал полиции целую кучу вещественных улик. Банка, в которой лежало 19 фунтов динамита, капсулы для взрывателей, нелегальные издания и, наконец, на полу в комнате Чернышева нашли смятый клочок бумаги с чертежом Зимнего дворца и крестиком на столовой императора. Арестованных

увезли, а в квартире устроили засаду, в которую попала жена Николая Морозова Ольга Любатович, спешившая предупредить Квятковского об опасности, но опоздавшая. Любатович в конце концов вырвалась из лап полиции, но члены Исполнительного комитета были на грани отчаяния. С минуты на минуту можно было ожидать провала Халтурина, а предупредить его не было никакой возможности.

Степана Николаевича предупредил, сам того не подозревая, жандарм, разболтавший столярам об аресте Квятковского.

Страшные дни пережил Халтурин. Дворцовая полиция обшаривала все помещения, прилегающие к царской столовой. По ночам, а иногда и днем полицейские в сопровождении своего начальника делали внезапные обыски. Халтурин пока был вне подозрений. Он это выяснил быстро, снова разыграв дурачка и заявив, что «ему бы одним глазком поглядеть на социалиста, каков он собой».

Под хохот собравшихся столяров и лакеев ему описали внешность социалистов, причем столяры сами были убеждены, что террористы обязательно носят длинные гривы, карманы у них оттопырены от бомб и револьверов.

Халтурину доверяли. Как лучший столяр, он работал в царской столовой, его приводили в спальню императрицы, посылали в кабинет Александра II, когда монарх изволил отсутствовать в нем, прогуливаясь по Зимнему.

\*

Анфилады комнат. В открытые настежь двери видна строгая роскошь золоченой мебели. Статуи. Хрустальные люстры, портретные шеренги и застывшие истуканами на постах караульные финляндцы. В тишине гулким хрустом отпечатываются шаги. Из комнаты в комнату, через залы идет император Всероссийский, Александр II Николаевич. Высок и немного тучен. Талия стянута корсетом, искусно вделанным в мундир. Лицо непроницаемо. Холодные глаза остзейца. Бакенбарды срослись с усами, прикрывая обвисшие щеки почти до самых волос. Перед каждой дверью шаги замедляются. Караульные обращаются в изваяния. В комнатах и залах пустынно. Если и покажется чья-либо фигура, то, заметив шагающего монарха, моментально исчезает. Его опасаются, особенно после того, как Александр собственноручно застрелил в Зимнем своего адъютанта.

Адъютант внезапно столкнулся с царем и спрятал за спину горящую папиросу. Царь выстрелил. Ему показалось, что была спрятана бомба с запалом. В последние годы Александру кажется многое. Он уже не верит никому. Миновав караульных, с трудом удерживается, чтобы не оглянуться, холодок страха щекочет затылок. В кабинете, за огромным письменным столом сидит час, другой, сжав руками виски. Дела? Заботы? Нет, это удел его министров. Царю страшно, страшно в собственном доме. Он тщетно скрывает этот страх. Но им заразились от него и придворные. Несчастное царствование! В газетах продажные борзописцы расточают фимиам «освободителю», умиляются любви, которую он внушает народу. Любви! Он хочет внушать только страх, как покойник батюшка его, в бозе почивший император Николай Павлович. Тот умел. Да, «золотой век царей» канул в прошлое. Если раньше их и убивали, то во имя других императоров. Прабабка Екатерина Алексеевна даже шутить изволила, объявив в манифесте, что муж ее, император Всероссийский Петр III Федорович скончался от «апоплексического удара с острыми геморроидальными резами в кишках». А его князь Барятинский прикончил.

А ныне? Вон Кропоткин — князь, а водится с чернью, социализм проповедует.

И за что его ненавидят? Давно ль Герцен слал ему благословение, потом же стал Русь к топору звать!

Александр встает и снова строевым шагом из комнаты в комнату. Мимо вставших на караул преображенцев. Не глядя на портреты ничтожеств в царском облачении.

В кабинет императора входит Халтурин. Его послали починить ножку, резную, вычурную ножку письменного стола. Он уже бывал здесь, кабинет не интересуется Степана: в нем не заложишь мины. Скорее бы закончить работу. Едва заметная трещина замазана, вот только осталось подобрать лак, потом отполировать. Халтурин работает с остервенением, стоя на коленях.

Ему неудобно, трудно дышать. В последние дни Степан стал задыхаться, кашлять. Днем и ночью болит голова, да так болит, что иногда плакать хочется от боли и бессилия. Которую ночь он не спит, прислушивается. А вчера уснул, и вдруг...

Хлопает дверь. Тяжелый шаг замирает... У стола Александр. Глаза его выпучены. Щеки трясутся. Губы не могут выговорить ни слова. Рука судорожно ощупывает карман.

Халтурин растерялся, встал. Минута тягостного молчания. Глаза встретились. Степан низко кланяется и, подхватив ящичек с инструментами

и лаком, пятится к двери. За спиной раздаются торопливые, неверные, удаляющиеся шаги. В них нет парадной четкости...

\*

Халтурин едва добрался до своего подвала и лег на кровать. Внутри все дрожало от возбуждения: «Упустил случай какой, вот уж истинно рохля! У царя с собой револьвера не было, иначе пристрелил бы с испугу-то! А я мог его молотком. Пока опомнились, и след бы простыл. А что, ежели теперь за мной специальную слежку учинят?»

Степан поднялся на локтях и ощупал подушку, где лежал припасенный с таким трудом динамит. Он был на месте. «Значит, не обыскивали днем, а ведь вчера ночью нагрянули...»

Ночной обыск всполошил Халтурина. Он еще не знал, что полиция ввела эти обыски в систему, и решил, что пришли за ним. Столяров разбудили, в одном белье подняли с кроватей, стали рыться в сундуках, заглядывали в углы комнаты, под койки. Но до подушки Халтурина никто не догадался дотронуться. Ушли.

Всем рабочим выдали медные бляхи, выходить из дворца стало еще труднее.

И все же вечером Степан ушел.

Квятковского сменил Желябов. Он привел Халтурина на конспиративную квартиру по Большой Подъячевской улице в доме № 37. Здесь собрались члены Исполнительного комитета. Они рассказали Степану Николаевичу об аресте Квятковского и Евгении Фигнер. В этой квартире была динамитная мастерская, здесь постоянно жили Исаев, Якимова, Лебедева.

Впервые Халтурин увидел Григория Прокофьевича Исаева. Недоучившийся студент, сын могилевского почтальона, он обладал большими познаниями в области химии и был весьма искусным изобретателем. Исаев готовил динамит, который доставлялся Халтуруину, он же сделал и запалы для мины. Но пока они лежали в углу комнаты, так как у Халтурина еще не набралось достаточного количества взрывчатки.

Степан Николаевич поведал собравшимся о сегодняшней встрече с императором в его кабинете. Нужно было видеть, с каким напряжением слушали этот рассказ. Ольга Любатович так и пожирала Степана своими бездонными серыми глазами, судорожно сжимая пальцы рук. Когда вошел

Морозов, Ольга бросилась к нему, и сквозь раскрытую в коридор дверь донеслись ее слова:

— Кто подумал бы, что найдется человек, который спит на подушке, скрывающей под собой динамит; кто подумал бы, что этот человек, выносящий так продолжительно эту пытку, встретив один на один Александра II в его кабинете, не решился убить его просто бывшим в его руках молотком, как это сделал бы всякий обыкновенный убийца, не рискуя быть пойманным? Да, глубока и полна противоречий человеческая душа...

Эти слова, видимо, выразили мысли всех собравшихся.

Халтурин помрачнел и стал собираться во дворец. Одеваясь, он пожаловался Желябову на кашель и головные боли. Любатович подошла к Степану, взяла его за руку и, как бы выпрашивая прощения, сказала:

— Да ведь вы спите на динамите, вдыхаете его удушливые испарения!.. — голос ее прервался.

Халтурина окружили. Только сейчас всем бросились в глаза бледные впалые щеки Степана, его припухшие веки, болезненно опущенные углы губ.

— Степан Николаевич, динамит нужно спрятать в сундук, иначе он окажется смертоносным не для императора, а для вас, — Исаев был серьезен, он знал, что теперь Халтурин обречен. Живя с таким предельным напряжением нервов, ночами вдыхая ядовитые газы, даже такой здоровяк, как Халтурин, неминуемо должен был заболеть страшной, неизлечимой болезнью — чахоткой.

— Нет, я уж потерплю пока, в сундуках жандармы роются, а в подушке кто искать-то будет? Вы скажите лучше, сколько нужно динамита, чтобы столовую эту взорвать?

— Я прикидывал, получается много, очень много, если его закладывать в вашем подвале.

— Больше негде, одно место — подвал.

— Тогда пудов семь-восемь.

— Да у меня едва пуд с небольшим набрался. Ох, и долго ждать-то!

— Степан Николаевич, — сказал Желябов. — Нужно спешить, нельзя ждать долго. И вы заболаете, и все дело может сорваться. Сдается мне, что Григорий Прокофьевич рассчитал с запасцем, хватит и вполовину.

Халтурин завернул очередную порцию динамита. Исаев, отобрав у Степана сверток, ловко скрутил из бумаги «фунтик», положил туда динамит и отдал Халтуруину.

— Вроде как сахар купили, если обыскивать будут.

Халтурин засмеялся:



— Никто не поверит, что, живя во дворце, я покупаю сахар. Его там все воруют.

\*

Дни проходили за днями. Динамит прибавлялся медленно. Здоровье Халтурина ухудшалось, хотя он и переложил динамит в сундук, так как в наволочке такое количество уже не помещалось. Степан наивными расспросами выяснил весь распорядок дня императора, точно теперь зная, когда тот обедает, завтракает, ужинает. Строгий церемониал монарших трапез был Степану очень кстати — к обеду царь всегда выходил в одно и то же время.

Желябова лихорадило. Встречаясь с Халтуриным, Андрей Иванович нетерпеливо спрашивал о сроке взрыва. Халтурина это раздражало. Уж если рвать, так наверняка, иначе зачем он такую муку переносит. Халтурин был уверен, что динамита нужно не семь-восемь пудов, как говорил Исаев, а вдвое больше.

Степан Николаевич, однако, понимал, что такого количества ни во дворец не пронести, ни во дворце не спрятать. В сундуке лежало два пуда, прикрытые грязным бельем. Он нарочно не стирал белье — если жандармы начнут рыться, то грязь может отбить у них охоту заглянуть внутрь сундучка.

К рождеству Халтурин получил вознаграждение — «100 рублей за усердие». Казалось, что все обстоит благополучно. Но Степан опять начал сомневаться. Ему казалось, что он поспешил, не нужно было поступать во дворец, надо было приложить еще и еще усилия к тому, чтобы восстановить союз рабочих, привлечь новых людей, довести до конца дело с типографией. Живя в Зимнем, Халтурин не мог встречаться со своими товарищами по союзу, на этом настаивал Желябов да и остальные члены Исполнительного комитета. Халтурин же тосковал по товарищам и порой готов был бросить начатое предприятие со взрывом, чтобы снова окунуться с головой в организаторскую работу среди пролетариев.

Изредка бывал Халтурин у Башкирова, старого друга детства и верного товарища юности. Однажды столкнулся там с Александром Павловым. Радостная была эта встреча. Павлов рассказал Халтуруину, как он вместе с Гусевым налаживает типографию, чтобы печатать свою рабочую газету. Даже название ее придумали — «Рабочая заря».

Нехорошо было у Степана на душе, он теперь знал, что поторопился

со своим решением стать террористом. Сознал он и то, что сейчас уже невозможно бросить все, не завершив подготовку к взрыву.

Прощаясь с Александром Павловым, Халтурин чуть ли не со слезами на глазах просил его передать товарищам-рабочим, чтобы они продолжали пропаганду, налаживали связи друг с другом, но не поддавались на уговоры народовольцев, не брали с них пример, ни в коем случае не вступали на путь террора.

— Помни, Александр, с этого пути возврата нет, — сказал на прощание Халтурин, обнимая Павлова.

Распрощались навсегда.

Развязка приближалась. Опять начались провалы среди народовольцев, и теперь Халтурин решил действовать с наличным количеством динамита. Запальные трубки, начиненные составом, горящим без доступа воздуха, были доставлены во дворец. Трех пудов динамита было мало, чтобы взорвать столовую. Но что делать? Халтурина беспокоило, что при взрыве пострадают невинные люди. Но, с другой стороны, если напрасных жертв все равно нельзя избежать, то нужно, чтобы «сам» погиб наверняка. Приходилось выжидать удобного момента.

И Степан выжидал. Только известие о том, что столяров собираются куда-то переводить из подвала, подхлестнуло его. Теперь нельзя уже было медлить. В начале февраля 1880 года, ежедневно встречаясь с Желябовым, Халтурин успевал шепнуть ему «нельзя было», «ничего не вышло». Он уже не спорил с Андреем Ивановичем. Если тот и был не прав насчет количества динамита, то сложившиеся обстоятельства были на его стороне.

Царь никогда не опаздывал к обеду, но, чтобы произвести взрыв, Халтурину нужно было улучшить момент, когда царь находился в столовой, а в подвале было бы пусто. Это совпадение зависело от случайностей, и, дожидаясь благополучного случая, Халтурин изнервничался вконец.

5 февраля 1880 года царская семья поджидала в гости брата императрицы Марии Александровны — Александра Гессенского.

С утра весь дворец был в бегах. Особенно досталось поварам и лакеям. Обед должен был быть великолепный. Столяры же были свободны от дел, тем более, что 5 февраля пришлось на воскресенье, да и дворцовая администрация хотела в этот день удалить всех лишних. Халтурин решил. Он заявил своим сожителям, что празднует сегодня день рождения, и пригласил всех в трактир. Столяры согласились с радостью.

К половине шестого у парадных подъездов Зимнего дворца выстроились длинные вереницы экипажей. Дородные лакеи распахивали дверцы, с низким поклоном пропуская осторожно ступающих дам, помогая тучным господам в придворных шинелях.

Сегодня ожидался «большой выход императора и императрицы». Кавалергарды с развернутым Георгиевским штандартом, серебряными трубами и литаврами застыли на охране внутренних покоев. «За кавалергарды» толпились придворные чины: камергеры, гофмейстеры, гофмаршалы, церемониймейстеры, камер-юнкеры, высшие сановники двора его императорского величества.

Герцог Гессенский запаздывал. Пробыло уже шесть часов, а его карета только подъехала к дворцу. «За кавалергарды» установилась тишина. Толпа придворных подалась вперед. Генералы свиты его императорского величества вытянулись по стойке «смирно», дамы, забыв об этикете, поднялись на носки. Вся это многоликая масса придворных честолюбцев и льстецов учащенно дышала.

Из внутренних покоев вышла императорская чета. Императрица Мария Александровна, а до замужества принцесса Гессен-Дармштадтская Максимилиана-Вильгельмина-Августа-София-Мария, едва передвигала ноги. Врачи давно приговорили ее к смерти, так до конца и не распознав характера болезни императрицы.

Гофмаршал, в обязанности которого входило устройство высочайших приемов, суетился, озабоченно наблюдая за тем, чтобы встреча императора Российского с Гессенским герцогом произошла ближе к императорским покоям — этого требовал строгий придворный этикет.

Со стороны казалось, что августейшие особы совершают какую-то неторопливую кадрили с троекратными лобызаниями.

Когда с первыми приветствиями было покончено, Александр взял под руку шурина и направился с ним в столовую, где уже выстроились придворные служители — мундшенки, кофешенки, тафельдекеры, кондитеры, метрдотели. Сзади потянулась вереница приглашенных к столу.

\*

В шесть часов вечера в трактире царило веселье. Дворцовые столяры пили здоровье новорожденного Степана. Вдруг в разгар пиршества

Халтурин встал, надел пальто, шапку, попросил компанию немного его обождать. Захмелевший жандарм потянулся к будущему зятю;

— Ты того, убежать не вздумай, платить-то нам нечем.

Халтурин сунул жандарму деньги, и дверь за ним закрылась. Степан почти бежал. Только выйдя на площадь, пошел степенным шагом, тяжело отдуваясь.

Зимний сверкал огнями. На фоне тяжелых штор, спущенных на окна, мелькали уродливые тени. У подъездов толкались шпионы и прохожие зеваки. На черном ходу никого, в коридоре тускло мерцают газовые рожки.

В подвале пусто. Степан притворил дверь комнаты. Быстро — сундучок с динамитом к стене, запал внутрь. На секунду своды озарила вспыхнувшая спичка. В сундуке послышалось тихое шипение. Теперь уже нельзя медлить.

Халтурин выскочил из дворца и столкнулся с Желябовым. Схватив Андрея Ивановича за руку, оттащил его на середину площади... Часы показывали двадцать минут седьмого...

— Ну как?

— Готово!

И в эту же минуту грохнул страшный взрыв.

Потухли огни в окнах Зимнего. К дворцу бежали люди, слышно было, как спешили пожарные. Из дверей кого-то выносили. Постепенно Адмиралтейская и Дворцовая площади наполнились народом. Полиция оцепила дворец. Желябов повел Халтурина на квартиру, где Степан должен был отсиживаться некоторое время.

Халтурин вырывался. Когда все было кончено, когда он увидел трупы погибших при взрыве людей, он не мог уйти, не узнав, что случилось с Александром II. Желябов едва дотащил упирающегося Халтурина и передал его на руки Веры Николаевны Фигнер — хозяйки конспиративной квартиры по Подъяческой, дом № 37.

Халтурина знобило, нервная разрядка была так велика, что Степан Николаевич метался, словно в жару.

— Достаточно ли у вас оружия? Живой я не дамся.

Его успокоили, квартира Фигнер была относительно безопасна. В ней имелось много револьверов, патронов к ним и динамитные бомбы.

Желябов ушел. Когда Халтурин, немного придя в себя, осмотрел комнату, он вдруг вспомнил;

— Вера Николаевна... а он убит?

— Не знаю, Степан Николаевич, там наши на площади остались, следят, скоро выяснится.

Время шло томительно долго. Уже вечер, скоро ночь, а известий все нет. Халтурин не может успокоиться, ходит из угла в угол. Фигнер молчит. Чьи-то шаги. Халтурин берет револьвер. В комнату входит Желябов. Он расстроен.

— Ну?..

— Неудача, опять неудача! Когда произошел взрыв, он подходил к столовой. Принц Гессенский запоздал, и с обедом задержались. Убито 8 финляндцев, 48 человек ранено.

Халтурин словно окаменел. Товарищи не смели посмотреть ему в глаза.

\*

Никто не ожидал, что взрыв в Зимнем возымеет такие последствия. На следующий день Петербург был объявлен на военном положении. Полиция с ног сбилась в поисках злоумышленника. Исчезновение столяра Степана Батышкова из дворца, конечно, было замечено сразу, тем более, что взрыв произошел в помещении, где он жил. Стали вспоминать, и к 7 февраля ни у кого не оставалось сомнения, что деревенский рохля оказался виновником этого неслыханного покушения. Фотографии Халтурина, размноженные в тысячах экземплярах, были разосланы по всей России, даже попали в монастыри. 7 февраля в Петербурге «из-под полы» читали прокламацию Исполнительного комитета «Народной воли». Правда, никто не знал, что написал эту прокламацию ставший уже легендарным столяр Батышков-Халтурин. Прокламация заканчивалась словами: «таким образом, к несчастью Родины, царь уцелел». Говорилось в ней, что покушение совершено рабочим, и выражалась уверенность в том, что Александр-вешатель все равно будет убит.

Либеральные газеты в один голос трубили, что поражены, сражены взрывом в Зимнем. Разночинная молодежь сокрушалась.

Телеграфист Рославской станции Норберт Избитский заявил своему приятелю, тоже телеграфисту: «До 19 февраля еще не то будет, экие дураки, ослы, что бы им обождать было на 10–15 минут со взрывом, пока они накушаются, и тогда сытых-то их всех взорвать на воздух».

Сельский учитель в Чембарском уезде Егор Кузьмин напился с горя да и заявился к местному священнику. Когда его спросили, зачем ему батюшка, Кузьмин сказал: «Нужно благовестить в колокол: беда какая

случилась — царь спасся».

Полиция за несколько дней успела арестовать и в Рязанской, и в Костромской, и в других губерниях России десятков «Степанов Батышковых», но все напрасно, Халтурин исчез. Правительство объявило его бежавшим за границу, но розыски в России не прекращало.

Иностранная пресса была полна самыми разноречивыми слухами и домыслами фантазирующих корреспондентов. Но впервые за границей отозвались о русской революционной партии с большим почтением. И только самые правые тешили себя надеждами, что взрыв — это проявление очередного дворцового заговора, которым так богата история России.

Халтурин же продолжал отсиживаться в конспиративной квартире на Подъяческой улице. Собственно, Степан Николаевич не столько «отсиживался», сколько «отлеживался». Нервное потрясение обострило болезнь легких, у Халтурина развивалась чахотка.

Когда отпускал кашель, Степан часами просиживал у окна. Порой им овладевало какое-то оцепенение, и только ребятишки, играющие во дворе в снежки, привлекали внимание «страшного злоумышленника». Они напоминали о детстве. Бывало, вернется Степа из Поселянского училища, что в Орловском уезде Вятской губернии, забросит сумку, забудет о бессмысленной зубрежке — и на улицу, в снежки. Или начнет мастерить ружья всевозможные, всякие машины, порох изобретать, взрывы совершать.

Взрывы! Мысль опять возвращалась к этому злосчастному взрыву. Теперь Халтурин понял, на какую дорогу он вступил. И нет ему хода обратно...

Нет, не правы народовольцы. Пусть они любят народ, хотят ему лучшей жизни, но мало любить, нужно верить. Ведь Степан сам из народа вышел, таких, как он, тысячи, а быть может, и миллионы. Так почему же ему верят, в него верят, а в них, в «Степанов», нет? А без народа, с одними бомбами да револьверами социализма не добьешься, только шею свою в петлю засунешь.

А вот как теперь ему, Халтуруину, снова к народу приобщиться? Мало — нелегальный, это полбеда, привык, теперь он прославившийся на весь мир террорист. Да разве сунешься с таким «бубновым тузом на спине» куда-либо на фабрику или завод? Схватят в тот же день. А вне завода, вне мастерской и с рабочими не поводишься, слова им не скажешь. Вот и остается опять за бомбы да револьверы браться...

Мучительные это были мысли. Халтурин как бы подводил итог своей революционной работы и с горечью убеждался, что завершил ее не лучшим

образом для народа, для рабочих. Народовольцы теперь уже предстали перед Степаном в ином свете. Быть может, каждого из них в отдельности он уважал, ценил, некоторых, как Кравчинского и Желябова, успел даже полюбить, хотя всегда немного иронически относился к интеллигентам, «играющим в революцию». Но народовольчество, как течение революционной мысли и более того — освободительной борьбы, оставалось Халтурину чуждым.

Халтурин искал оправдание своему террористическому акту в том, что совершил он его не потому, что признал террор правильной тактикой революционной борьбы. Нет, с этим он не согласен, а потому, что не было у него иного средства после гибели союза рабочих. Остаться же без революционного дела, пережить полицейскую бурю, он не мог. Народники боролись, и он примкнул тогда к ним. Кто его упрекнет в этом? Халтурин не обманывал себя, не искал оправданий. Он взвешивал, рассуждал, анализировал и, конечно, мечтал. Мечтал о том, как снова окажется среди рабочих, возродит союз, создаст типографию, библиотеки, поднимет российский пролетариат на борьбу за завоевание политических прав, за социализм.

Мечты гасли, когда Халтурин оглядывал комнату, револьверы, разложенные на столе, бутылку с нитроглицерином «на всякий случай».

Изнуренный этими тяжелыми мыслями, кашлем, слабостью, Степан ложился, спал чутким сном, вздрагивая от резких звуков, далеких шагов.

## ГЛАВА VII

### ОПЯТЬ СРЕДИ РАБОЧИХ

Приближалась весна, тяжелая пора для чахоточных, особенно в Петербурге. Сидя взаперти, Халтурин гас на глазах. А куда выйдешь? На улице слякоть, сырость и шпионы. О нем не забыли, его ищут. Врач-народоволец требует отъезда из столицы. Исполнительный комитет решает отправить Халтурина в Москву, пока в Москву. Есть там надежные люди, квартира в рабочей семье, найдутся и врачи. На юг бы, но не доедет Степан.

Халтурин так похудел, осунулся, оброс бородой, что в дорогу не понадобилось и грима, хотя Желябов настаивал.

И вот снова Москва. Халтурин узнает улицы, по которым бродил, знакомясь с первопрестольной, вспоминаются и друзья, покинувшие его в этом городе. Горечь обиды прошла, недоумение останется на всю жизнь.

Пресня. Заброшенные, покосившиеся халупы, в которых живет трудовой люд, непролазная грязь, изредка крохотные чахлые садики и небольшие огороды. Невдалеке фабричные корпуса.

С трудом добрался Степан до квартиры старого рабочего Егора Петровича, жившего в маленьком домике со своей сестрой Агафьей Петровной. Был у Егорыча сын, да выделился, своей семьей живет, изредка забегая в отчий дом. А у Агафьи Петровны детей никогда и не было, зато в племяннике души не чаяла. Да вот, вырос, своя у него теперь дорога.

Степана приняли как родного. Комнату ему отвели и сразу в постель. Егорыча «свои люди» предупредили, кто его жилец. Но старик крепкий, не испугался, наоборот, за честь почел, что такого человека ему доверили. Агафья Петровна видела в Степане прежде всего своего, рабочего парня, больного, исхудавшего, и все нерастраченные материнские чувства перенесла на него.

Егор Петрович только покрякивал, но молчал, когда сестра все порядки в доме кверху ногами перевернула.

— Цигарок чтоб и духа не было да сапожищами не грохай по дому, сымай, когда в комнатыходишь!

Степан Николаевич сразу почувствовал себя в родной семье. С Егорычем поговорить одно удовольствие, много он на своем веку пережил,



и воевал, и в тюрьме сидел, а фабрик сменил — и не сосчитать. Хотя вот уже лет пятнадцать, как пристроился на Комиссаровском заводе. Слесарил, теперь по старости думает в сторожа, если возьмут. И сын у него оказался «свой», через него-то Халтурина и пристроили у стариков. Они вне подозрения, Степан здесь в безопасности.

\*

Халтурин воспрянул духом. Опять он среди рабочих. Болен? Ничего, теперь он справится с болезнью и снова включится в революционную деятельность. Даже к лучшему, что он в Москве, — рабочих здесь не меньше, чем в Питере, а организации нет и не было. Ведь так и не удалось союзу создать свою «отрасль» в первопрестольной.

Весна клонилась к лету, вечера становились все теплей, ночи короче, и зелень, изумрудная зелень потемнела, сделалась гуще. «Чистая публика» покидала город, разъезжаясь по дачам, в имения, на курорты. Все чаще Егорыч, приходя со смены, жаловался на духоту и пыль в мастерской. Агафья Петровна приносила с базара первые свежие овощи — редис, зеленый лук. Здоровье Халтурина заметно улучшилось. Он реже кашлял, немного пополнил, вновь румянец стал робко пробиваться сквозь серую пелену щек.

После взрыва Зимнего наступило временное затишье. Исполнительный комитет напоминал о себе только листовками. Зато либералы заговорили громче. Председатель кабинета министров Лорис-Меликов затеял темные махинации, разыгрывая из себя сторонника конституции. Поговаривали, что он с согласия царя готовит ее проект. Земцы ликовали, летели адреса на высочайшее имя, банкеты следовали за банкетами. Правительству казалось, что народовольцы выдохлись, и только тревожные вести из деревень да непрекращающиеся стачки рабочих промышленных городов России омрачали настроение правящих верхов.

Халтурин стал выходить на улицу. Сначала сидел на скамеечке около дома, потом начал совершать недалекие прогулки. Его тянуло не в парки, а к заводским окраинам. Часто забредал Степан в трактиры, посидеть, послушать, разведать настроения.

Сперва Халтурина удивляли рабочие Москвы. Развиты мало, нет у них чувства собственного достоинства, да и зарабатывают они куда меньше. В Москве было очень много сезонников, смотревших на свою работу как на

временное занятие — подработать, купить тройку, сапоги да «тальянку», и айда к себе в деревню, хребет на помещичьих отработках гнуть. Московские рабочие отличались неподвижностью, разве к себе в деревню на побывку съездят. По воскресеньям с утра забираются в чайную да и хлещут чай до одури.

Халтурин, еще почти никого не зная, зашел как-то в трактир закусить и встретился там с группой таких «чаевников». Были они столярами с Беккеровской фабрики роялей, наверное, недавно из деревни в город подались в поисках подработки. Вслушавшись, Степан не выдержал, вмешался в разговор. Сначала столяры отнеслись к нему недоверчиво, их смущало и пальто городского покроя, и «складная речь», и то, что Халтурин чай пил не с блюдца, как они, а из кружки, сахар клал прямо в кипяток, а они долго обсасывали кусочек, выпивали кружку, ставили ее на блюде кверху доньшком, а на него клали остаток сахара до следующей порции чаю. После каждой кружки два бородача обязательно крестились, поглядывая на угол трактирной комнаты, хотя икон там не было. Но скоро ледок растаял, признали в Степане своего, столяра. Кто ж другой так знает тонкости ремесла? Поинтересовались, где работал, а как услышали, что в Питере, аж рты поразевали:

— Далече, однако, ты забрался. Поди, в Питере все как есть столяры в таких одеждах расхаживают, ну, словно баре какие?

Халтурин от души рассмеялся и стал рассказывать новым знакомым о житье-бытье питерских рабочих и не заметил, как разговор зашел уже не о заработках и харчах, а о взаимоотношениях между рабочими и хозяевами. Столяры стали жаловаться:

— У нас на Беккере мастер — царь и бог, слово скажешь, тут тебя и по шеям, а нос свой сует всюду. От него не скроешь ни заработка, ни, прости господи, исподних, если они на тебе еще есть.

— И ведь какой обычай завел, — разговорился столяр с большой окладистой бородой и черными от впитавшегося лака руками, — с каждой получки куражные ему подавай, забудешь, так прямо говорит: «Что ж ты, голубчик, забыл со мной поделиться?» Вот и попробуй, не дай — живо с фабрики вылетишь. А есть и такие, что с подходцем берут, с любезностями. Подходит к тебе в день получки, прикурить, коробок спичек просит. Ну, который новенький, тот чиркнет, да и опять к верстаку, ну и бувай здоров назавтра. А знающий коробок-то даст, а в нем целковый иль три даже, у кого какой счет.

Халтурин возмутился:

— В Питере за такое свои сживут с завода. Там, братцы, бывает и

рабочие хозяев поколачивают. Да вы сами виноваты, за чаем дни просиживаете, друг от друга как за тридевять земель живете.

— И не говори, малый, — вмешался пожилой столяр, отодвигая кружку, — свой своему волк у нас. И до чего люди зверьем стали. Зазеваешься, ан с верстака резец иль стамеску, а то и пилу уволкут за милую душу. А кто видал это, так те стоят и ржут, как жеребцы какие. Ты вот к нам в праздник заходи, такое еще повидашь! Сперва друг дружке бока намнут или ребра посчитают на кулачках, а потом в кабак иль в портерную зальются, ну и гуляй Емеля. А как вечер — по домам поползут, опять же драка, а кто не дерется, но силушку в себе могучую чует, так фонари иль тумбы сбивать пробует, есть и такие, что столб фонарный запросто рушат.

Степан уже не возмутился, а негодовал:

— Стыдно, стыдно вам. Вы же люди, и никто вами помыкать не смеет. Мало что хозяйева, нас-то много — мы сила. Только пьянствовать нужно поменьше да дружнее стоять один за другого. Соединиться со всеми рабочими других заводов и фабрик. Вы вот что, познакомьте-ка меня в праздник со своими приятелями, думаю, пойдет у нас дело.

Так, неожиданно для себя, Халтурин опять включился в жизнь рабочих. В нем заговорил пропагандист, организатор. Не мог он спокойно смотреть на рабочий люд, темный, невежественный. Он рвался к нему всем сердцем.

Начал осторожно встречаться в трактире с беккеровцами, потом сын Егора Петровича свел его кое с кем из комиссаровских. Халтурин чувствовал, как оживает в нем душа. С какой любовью, с каким пылом он беседовал с этими людьми. Рассказывал о Петербурге, стачках, заводил издали разговор о союзе. Многие его слушатели, особенно с Комиссаровского завода, слышали об этой организации, некоторые даже читали ее программу. От рабочих узнал Халтурин и о существовании в Москве кружка интеллигентов народовольческого направления, но ищущего связей с рабочими.

Эта работа Халтурина была прервана в самом начале Исполнительным комитетом. Желябов сообщил, что в Москву направлен шпион, знающий Халтурина в лицо, поэтому ему нужно на некоторое время уехать. Исполком предлагал Степану поехать в Одессу, где готовится новое покушение на царя. Халтурин уехал в начале лета 1880 года.

В рабочем и народовольческом движении 70—80-х годов Одесса занимала видное место наряду с Петербургом, Москвой, Киевом, Харьковом. Еще в середине 70-х годов, когда народники и не помышляли об организации своей партии, в Одессе под руководством Заславского возник Южнороссийский рабочий союз. Но даже после его разгрома полицией пролетариат этого города продолжал стачечную борьбу. Одесса воспитала и много видных народовольцев. Здесь начинали свою революционную деятельность Желябов, Тригони, Фроленко, Колодкевич и другие.

После разгрома Северного союза русских рабочих уцелевшие от арестов его члены разъехались по России. В Одессе нелегально жили Карл Адамович Иванайнен, Чуркин, Николай Биткин.

И хотя Одесса стала ареной террористической борьбы народовольцев, ее рабочий класс прокладывал собственную дорогу среди взрывов бомб и револьверных выстрелов. Традиции Южнороссийского союза не умирали в этом городе. Вести, стекающиеся сюда со всей России, будоражили одесситов.

Одесские пролетарии встречались в порту с французскими моряками, расспрашивали их о парижских коммунарах.

18 марта 1878 года группа передовых одесских рабочих совместно с революционно настроенными интеллигентами организовала митинг, посвященный памяти парижских коммунаров. Его открывал рабочий. Лицо его сияло. Забыв о вступительной речи, он сказал собравшимся: «Как-то чувствуешь себя бодрее, когда видишь, что ты не один, что есть много людей, сочувствующих твоему делу».

Митинг прошел торжественно. Собравшиеся послали адрес французским рабочим:

«Одесские рабочие, собравшись на сходку в достопамятный день провозглашения Парижской коммуны, шлют вам, французские рабочие, свой пламенный братский привет. Мы работаем на своей родине для той же великой цели, для достижения которой погибло в 1871 году на баррикадах Парижа столько ваших братьев, сестер, отцов, сыновей, дочерей и друзей. Мы трепетно ждем наступления той исторической минуты, когда и мы сможем ринуться в бой за права трудящихся, против эксплуататоров, за торжество умственной, нравственной и экономической свободы».

Эти проникновенные и гордые слова, брошенные одесскими рабочими через моря и границы в далекий Париж, разнеслись и по всей России. Халтурин не раз зачитывал этот адрес на сходках рабочих, членов

Северного союза.

Знакомясь с Одессой, Степан Николаевич чувствовал, что он приехал в город с революционным прошлым, что здесь можно и нужно продолжать сплочение пролетарских сил. Степан чувствовал себя на юге значительно бодрее и даже стал работать на Большом вокзале под именем Александра Васильева.

Одесса произвела на Степана неизгладимое впечатление. Родившись в далекой, глухой губернии Центральной России, всю свою недолгую сознательную жизнь прожив в суровом и холодном Петербурге, Халтурин наслаждался лучезарностью южного края. Здесь не было буйной поросли лесов, и взгляд не цеплялся за макушки сосен и елей. Горизонт убежал от глаз, теряясь в солнечном мареве ковыльных степей или окунался в сероватую бирюзу моря. Жара не порождала духоты, легкие порывы морского ветра очищали воздух. А море, море!.. Оно шумело ласково и коварно, не то что угрюмый, мрачный Финский залив, где и порядочного прибоя-то не бывает — или гладь, или шторм.

Шумные, пестрые улицы города текли к морю, к гавани. Одесситы половину своей жизни проводили на улице, а треть у моря. Говорливые, острые на язык, смешивая русские, украинские и молдавские слова, они оглушали новичка каким-то своеобразным, но выразительным жаргоном. То там, то здесь мелькали строгие профили айсорок и расплывшиеся физиономии греческих купцов. Молдаванка кишмя кишела бродягами, обтрепанными задиристыми ребятишками. Портовые грузчики и рыбаки жили вперемежку с откровенными ворами и налетчиками. Рабочие кварталы города поражали своей живописной нищетой. Мягкий, теплый климат устранил все, что могло стоить лишних денег в этих жилищах.

Никогда потом Халтурин не любил вспоминать о делах, заставивших его покинуть Москву и приехать в Одессу, но образ этого города, его революционное прошлое часто вставали в памяти Степана.

В Одессе шли приготовления к новому покушению на жизнь царя. Место покушения было избрано не случайно. Александр, направляясь в Ливадию, обычно ездил через этот город. Здесь он пересаживался с поезда на пароход. Единственная удобная дорога для царского кортежа с вокзала на пристань пролегла по Итальянской улице.

В начале апреля 1880 года в Одессу приехали Софья Перовская и Саблин. Оба они были членами Исполнительного комитета «Народной воли», а Перовская наряду с Желябовым и Михайловым фактически являлась душой организации. Это была обаятельная женщина, смелая и чуткая, заботливая, когда дело касалось товарищей, и непоколебимая, когда

речь шла о делах партии.

Перовская и Саблин под именем уманских мещан Петра и Марии Прохоровских сняли в доме № 47 по Итальянской улице лавочку, открыв в ней торговлю бакалейными товарами. Из этой лавки велся подкоп под улицу. Копали знакомые Халтурину Исаев, Якимова, Вера Фигнер. Под полом лавки вырыли яму, предполагая из нее вести подкоп при помощи широкого канала специальными бурами. Исаев же готовил динамит и батареи. Ему помогала Якимова. Исаев с Якимовой под видом супругов Потаповых сняли отдельную квартиру на Троицкой улице. Их работа была слишком опасной, чтоб подвергать случайностям место, из которого велся подкоп. Оказалось, что эта мера предосторожности была не напрасна. Однажды взорвалась гремучая ртуть, оторвав три пальца у Исаева и ранив Якимову. Пришлось отправить обоих в городскую больницу.

Дело с подкопом явно затягивалось, когда неожиданно из Петербурга сообщили, что царь немедленно после похорон императрицы выедет в Ливадию. Императрица умерла 22 мая, а 24-го Перовская и Саблин, кое-как закопав яму, покинули Одессу.

Кто сообщил о выезде царя, так и осталось тайной, так как Александр в этом году уехал на юг только 17 августа.

Халтурин задержался с отъездом и приехал в Одессу уже тогда, когда все следы приготовления к покушению были уничтожены, не застал он и Перовскую. Якимова и Исаев лежали в больнице, остальные также разъехались. Степан Николаевич был предоставлен сам себе. Он сумел повидаться со своими старыми товарищами по Северному союзу, условился о связи и уехал обратно в Москву продолжать начатое дело по организации пролетариата этого города.

Степан уже плохо верил в удачность покушений на царя. Сколько раз срывалось! Но в нем жила еще вера в то, что убийство Александра повлечет за собой бурю, проснутся силы народные, и обновится Россия, сбросит кошмар абсолютизма, гордо заявит о гражданских свободах. К этому дню нужно готовиться, нужно спланировать ряды рабочих. И Халтурин опять с толовой окунулся в рабочий мир Москвы, прислушиваясь, приглядываясь в то же время к народнической борьбе, ожидая рокового удара.

А Россия была уже накануне убийства Александра II, которого так настойчиво и так безрезультатно добивались народовольцы, ожидая, что смерть монарха позволит им захватить власть и декларировать народу новые государственные порядки.



С. Л. Перовская.



В. Н. Фигнер.



## ГЛАВА VIII

# НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Вечером 1 марта Москва напоминала город, осажденный неприятелем или зараженный чумой. На тротуарах, занесенных снегом, было пусто. Редкие прохожие торопливой походкой спешили домой. По мостовой молча, без обычных удалых выкриков, проносились лихачи. В санях сидели встревоженные чиновники. За высокими заборами полицейских участков слышались отрывистые команды, заглушенный топот многих ног, лязг оружия. Дворники куда-то попрятались, не видно было и фонарщиков с лесенками. Москва погружалась во тьму.

Халтурин, с утра обходивший товарищей по кружку, организованному им в мастерских Курской дороги, чтобы предупредить о собрании, никого дома не застал. Халтурина это встревожило. Он не знал толком, что случилось, но чувствовал, что произошло что-то необычное. Халтурин опасался вступать в разговоры со случайными прохожими, да, судя по их виду, они также остерегались вопросов незнакомых людей. Подняв воротник, Степан ускорил шаги, пробираясь домой, на Пресню.

Рабочая окраина Москвы была занесена снегом, который здесь никто не убирал. Убогие одноэтажные лачужки лепились друг к другу как попало, часто встречались непривычно тихие и пустые в этот вечер кабаки. Не было слышно переливов гармошки сквозь неплотно прикрытые двери, не нарушали тишины и хриплые голоса подвыпивших мастеровых.

«Что за чертовщина, — думал Халтурин, невольно ускоряя шаги, — а ведь произошло что-то. Но все молчат, наверное, и сами ничего не знают, а какие-то слухи уже «подмели» улицы и отрезвили пьяниц».

Халтурин чувствовал, как тревога охватывала все его существо. Злила неизвестность. Миновав Грузины, Степан чуть ли не бегом направился к Пресненской заставе. Дома пошли реже, стало еще темнее, и только кое-где, пробиваясь сквозь морозную паутину на окнах, просвечивали желтые огоньки жилищ.

Дверь открыла Агафья Петровна. Увидев взволнованное лицо запыхавшегося Степана, она, как бы отвечая его тревожным мыслям, выпалила:

— Слыхал? Говорят, в Петербурге бунт, полицию перебили,

чиновников режут и ажно до самого добрались, взорвали его, душегуба, на мелкие части.

Появился Егор Петрович.

— Не болтай языком, Агафья, Степан, надо полагать, и сам знает, что к чему.

Он вопрошающе взглянул на Халтурина. Степан только пожал плечами и, скинув пальто, прошел в комнату. Несколько минут все молчали.

Агафья Петровна, возившаяся у печи с чугунами, решительно отбросила ухват, вытерла фартуком руки и подошла к столу.

— Вот ты, Егор Петрович, завсегда так — «не болтай», «не болтай», а разве ж я что болтаю? Давесь иду я по Кудринской и вижу — извозчики, что у госпитального дома стоят, сгрудились и промеж собой шушукуются. А тут по мостовой лихач с каким-то господином, ну, один извозчик возьми да и крикни ему: «Ванька, дьявол, буде тебе бар возить: государя на четыре части разорвало». Ну, тут известно, народ останавливаться стал, любопытствует. Фараон как засвистит, так извозчик, который кричал, лошаденке как поддаст, так и был таков... — Агафья Петровна вдруг замолчала, увидев, что Степан вскочил с лавки и начал быстро ходить по комнате.

— Н... да... а... — неопределенно протянул Егор Петрович, — извозчики народ такой... бар там всяких возят, чиновников, все ихние разговоры слушают...

Халтурин перебил Егорыча;

— Агафья Петровна, а вы ничего больше не слыхали об убийстве царя?

Агафья Петровна немного смутилась, вспомнив, что успела уже поведать Степану и о «бунте» в Петербурге и о «зарезанных» чиновниках — все это она придумала. Но теперь твердо верила в собственную выдумку. Уж так хотелось, чтобы полюбившийся ей Степан больше не скрывался да и Егор перестал гнуть спину от зари до зари. Но, подняв глаза на Халтурина и встретив его строгий, нетерпеливый взгляд, нерешительно проговорила:

— Ничего... ничего не слыхала, Степан Николаевич...

Халтурин прошел в комнату, сел за стол и попытался сосредоточиться. Ясно было одно, царя, наверное, убили, иначе вряд ли Москва взволновалась бы таким необычайным образом. «Значит то, что не удалось мне, сделали другие. Но кто? Как?» Решив, что до утра все равно ничего не узнать, Степан быстро разделся, потушил огонь и лег на кровать. Но разве уснешь! Свершилось! Что-то будет теперь? Хотелось верить, что смерть

царя откроет дорогу для свержения самодержавия, а тогда снова можно будет возродить рабочий союз, легально начать борьбу политическую.

Только под утро Степан заснул. А когда проснулся, Егор Петрович, работавший в ночной смене, успел вернуться домой и, что главное, принести почти все выходящие в Москве газеты. Степан начал быстро одеваться, а Егор Петрович, сидя на стуле, возбужденно рассказывал:

— Я еще ночью от твоих дружков на нашем заводе узнал о царской кончине. Они мне наказали, чтоб сегодня я тебя из комнат не выпускал, да и сам на работу не приходил. И впрямь, на улицах как будто неприятель какой. Городовые по двое стоят на каждом углу, по мостовым патрули разъезжают. Лавки закрыты. Нас с завода через проходную поодиночке выпускали.

Халтурин жадно накинулся на газеты. «Московские ведомости» перепечатали экстренное прибавление к «Правительственному вестнику» с официальными бюллетенями:

«Сего марта, в 1¼ часа дня, Государь Император, возвращаясь из манежа Инженерного замка, где изволил присутствовать при разводе, на набережной Екатерининского канала, не доезжая Конюшенного моста, опасно ранен, с раздроблением обеих ног ниже колена, посредством подброшенных под экипаж разрывных бомб. Один из двух преступников схвачен. Состояние его Величества, вследствие потери крови, безнадежно.

Лейб-медик Боткин.

Профессор Е. Богдановский.

Почетный лейб-медик Головин.

Доктор Круглевский».

Буйная радость охватила Степана. Он заказал Агафье Петровне праздничный обед, и пока она возилась у печки, ходил по комнате, рассказывая Егору Петровичу о том, как был организован союз рабочих в Петербурге, как он, Халтурин, взрывал Зимний. Теперь Степан не таился. Началось, началось великое брожение умов. Вот уже и «левые» газеты «Страна» и «Голос» заговорили об ответственности правительства перед народом. Но это только начало, слово свое еще не сказала революционная партия. Теперь Халтурин верил в то, что это слово будет сказано, веское, зримое, перед ним с восторгом склонит головы народ, оно разрушит дворцы и тюрьмы, обратит в прах кошмар воспоминаний — столетия деспотизма.

День за днем газеты приносили все новые и новые подробности убийства Александра II, что позволило Халтурину восстановить целиком

картину покушения.

«Голос» писал;

«1 января 1881 года, мужчина лет 36, вместе с женщиной лет 27, которую он называл своей женой, открыл на Малой Садовой торговлю сыром... В 11 часов вечера закрывали магазин... Едва закрывался магазин, хозяева лавки приступали к подкопу. Он был начат на 2,5 аршина от поверхности земли, шел в наклонном положении, и по мере приближения к середине улицы слой земли между подкопом и поверхностью уменьшался. Дело было ведено опытной рукою. В ночь с 1 на 2 марта хозяева лавки скрылись, оставив магазин открытым...» При обыске лавки «в разных местах обнаружены разбросанные землекопные и минные инструменты... В отверстии в стене оказалась склянка с жидкостью для заряжения гальванической батареи системы Грене... От батареи шли по mine провода, оканчивающиеся зарядом. По заключению генерал-майора Федорова... «система» вполне обеспечивала взрыв, от которого должна была образоваться среди улицы воронка до двух с половиной сажень в диаметре, а в соседних домах были бы вышиблены оконные рамы и могли бы обвалиться печи и потолки».

Несколькими днями позже Халтурин читал в «Правительственном вестнике»:

«Вследствие сведений, полученных властями при производстве расследования по настоящему делу о том, что по Тележной улице в доме № 5 находится так называемая «конспиративная» квартира, в означенном доме, в квартире № 5, сделан был ночью на 3 марта внезапный обыск. По приходе к дверям означенной квартиры помощник пристава Рейнгольд на данный звонок услышал, как мужской голос спросил: «Кто тут?» После ответа дверь затворилась, и на неоднократные звонки голоса из квартиры не подавалось, вследствие чего было сделано распоряжение ломать двери. Лишь только послышались удары топора у дверей, как раздались подряд один за другим шесть выстрелов из револьвера, из которых один попал в дверь; после шестого выстрела все стихло, а немного спустя дверь отворила женщина небольшого роста, лет двадцати пяти, просившая о помощи. При входе в квартиру всех присутствующих на полу второй комнаты, от входа направо, лежал, плавая в крови, мужчина среднего роста с темно-русою окладистой бородою, на вид лет тридцати двух, одетый в русскую красную кумачовую рубашку, серые триковые немецкого покроя брюки и ботинки. По-видимому, самоубийца уложил себя шестым выстрелом, направленным в левый глаз, наповал. Женщина, отворившая дверь, немедленно была схвачена и подвергнута допросу, причем

отказалась дать какие-либо объяснения».

Эту заметку Степан прочел дважды, лицо его было сурово.

— Да, Егорыч. Выдает кто-то наших людей. Вот Саблину пришлось застрелиться, а какой бесстрашный человек был. И Гесю схватили, а ведь у нее ребеночек, должно, уже родился или скоро народится. Эх, узнать бы, кто этот подлец, да и открутить ему голову.

Корреспондент «Недели» описывал убийство царя:

«В третьем часу дня ныне в бозе почивший Государь Император выехал в карете, в сопровождении обычного конвоя, из Михайловского дворца по Инженерной улице, при выезде из которой карета повернула направо, по набережной Екатерининского канала, направляясь к Театральному мосту. Позади быстро следовавшей кареты Государя Императора, на расстоянии не более 2 сажень от нее, ехал в санях полицмейстер полковник Дворжицкий, а за ним капитан Кох и ротмистр Кулебякин. На расстоянии сажень 50 от угла Инженерной улицы, 2¼ часа пополудни, под каретою раздался страшный взрыв, распространившийся как бы веером. Выскочив из саней и в то же мгновение заметив, что на панели со стороны канала солдаты схватили какого-то человека, полковник Дворжицкий бросился к императорской карете, отворил дверцы и, встретив выходящего из кареты невредимым Государя Императора, доложил Его Величеству, что преступник задержан. По приказанию Государя, свидетель проводил Его по тротуару канала к тому месту, где находился уже окруженный толпою народа задержанный человек, оказавшийся впоследствии тихвинским мещанином Николаем Ивановичем Рысаковым. Стоявший на тротуаре подпоручик Рудыковский, не узнав сразу Его Величество, спросил: «Что с Государем?» На что Государь Император, оглянувшись и не доходя шагов десяти до Рысакова, изволил сказать: «Слава Богу, я уцелел, но вот...», указывая при этом на лежавшего около кареты раненого казака и тут же кричавшего от боли раненого мальчика. Услышав слова Государя, Рысаков сказал: «Еще слава ли Богу?» Меж тем, опередив на несколько шагов Государя, полковник Дворжицкий принял от лиц, задержавших Рысакова, вынутые из платья его револьвер и небольшой кинжал. Приблизившись к задержанному и спросив, он ли стрелял, Его Императорское Величество, после утвердительного ответа присутствующих, спросил Рысакова: кто он такой, — на что тот назвал себя мещанином Глазовым. Затем, как только Государь, желая посмотреть место взрыва, сделал несколько шагов по панели канала, по направлению к экипажу, сзади, у самых ног Его, раздался новый оглушительный взрыв, причем поднятая масса дыма, снега и клочьев платья закрыла на несколько

мгновений все пространство. Когда же она рассеялась, пораженным взорам присутствующих, как пострадавших, так и уцелевших, представилось ужасающее зрелище: в числе лиц, поверженных и раненных взрывом, находился и Государь Император. Прислонившись спиной в решетке канала, упершись руками в панель, без шинели и без фуражки, полусидел на ней возлюбленный монарх, окровавленный и трудно дышавший. Обнажившиеся ноги венценосного Страдальца были раздроблены, кровь сильно струилась с них, тело висело кусками, лицо было в крови. Тут же лежала шинель Государя, от которой остались лишь окровавленные и обожженные клочья. Раненый рядом с Государем Императором полковник Дворжицкий, приподнявшись от земли, услышал едва внятно произнесенные слова Государя: «Помоги», вскочил, подбежал к Нему вместе со многими другими лицами. Кто-то подал платок. Государь, приложив его к лицу, очень слабым голосом произнес: «Холодно, холодно..»...Императорская карета оказалась сильно поврежденною взрывом, Почему Его Величество поместили в сани полковника Дворжицкого, куда сел полковник Кулебякин и повез Государя Императора в Зимний дворец».

Царя не довели до дворца, а его убийца был смертельно ранен, весь день лежал без памяти и только к вечеру пришел в себя. Он так и не назвал своего имени. Ночью умер. Труп опознал Рысаков — это был Игнатий Гринивецкий.

\*

С каждым днем Халтурин становился все мрачнее и мрачнее. Надежды и радость первых дней после убийства царя постепенно проходили. Каждый день газеты приносили известия о поимке новых и новых, дорогих Степану людей, участников первомайского дела. Теперь было ясно, что их выдавал Рысаков, так как схватили вначале только его, Гринивецкий погиб. Рысаков спасал свою жизнь. «Арестовали Желябова, Перовскую, Тимофея Михайлова, Кибальчича — ведь это же все члены Исполнительного комитета, такой удар, такой удар по движению и в такое время, когда нужно действовать, захватывать власть, народ разжигать». Но не только обреченность товарищей по борьбе омрачала ликование победы. Ведь убийство Александра не было самоцелью, это только средство, первый и, как хотелось верить, последний удар по деспотизму, за ним

должна последовать все сокрушающая, освежающая затхлый воздух России буря. Но где ее порывы? Где зарницы грядущей грозы? Почему не ощущаются подземные толчки надвигающейся стихии? Эти мысли не давали покоя Степану, а вынужденное сидение дома, невозможность сейчас же повидать товарищей, поделиться с ними своими сомнениями и надеждами, было невыносимо. Халтурин еще и еще раз перебирал в уме все «за» и все «против», искал ошибку и не находил ее.

Агафья Петровна с беспокойством отмечала, как худеет и бледнеет ее любимец. И «кашлять он стал опять с надрывом и не ест ничего». А ведь с каким трудом она его выходила. Но как развлечь Степана, как прогнать наваждение тяжелых дум, добрая женщина не знала. Егор Петрович тоже заметил перемену в Халтурине — куда девался его веселый, раскатистый смех. Радость ожидания чего-то светлого, необычного, еще так недавно озарявшая ветхие углы их неприхотливой квартирки, стала меркнуть.

Между тем партия народолюбцев была в состоянии агонии. Как трудолюбивая пчела, готовила она убийство царя, а когда жало было выпущено и жертва пала, «пчеле» уже нечем было жить, укус оказался смертельным и для Александра II и для «Народной воли». Но с гибелью «царя-освободителя» царизм остался, гибель же Желябова, Перовской, Кибальчича, Михайлова и других членов исполкома «Народной воли» означала почти полное уничтожение партии. Она не имела опоры в массах и не могла возродить свои ряды, черпая новые силы и кадры в широких демократических слоях России.

Долгие годы находясь в подполье, народники в силу своей теоретической близорукости и идеалистической веры в «критически мыслящих людей» проглядели широкое демократическое движение, нараставшее и усиливающееся с начала 70-х годов.

Разочаровавшись в «истинном социалисте» крестьянине, народники подменили борьбу за социализм схватками с правительством за политическую власть.

В условиях обострения общего недовольства и нарастания протеста со стороны народа эта самоотверженная борьба революционных народников обретала важнейшее значение для определения всех аспектов внутреннего положения в России. Но народолюбцы, не заметив народного движения, не сделали попытки организовать его, выдвинуть мобилизующие народные массы, лозунги.

Отрицая возможность капиталистического развития в России, народники не видели в крестьянских волнениях тенденции «мелкобуржуазной борьбы капитализма демократического против

капитализма либерально-помещичьего»<sup>[4]</sup>.

«Ложный в формально-экономическом смысле, народнический демократизм есть истина в историческом смысле; ложный, в качестве социалистической утопии, этот демократизм есть истина той своеобразной исторически-обусловленной демократической борьбы крестьянских масс, которая составляет неразрывный элемент буржуазного преобразования и условие его полной победы»<sup>[5]</sup>.

Не увидели народники и такого качественно нового в освободительной и революционной борьбе России явления, как выступление промышленных рабочих. В этом отношении Халтурин стоял на голову выше общепризнанных теоретиков народничества. Он понимал, что правительство боится не столько непосредственных действий нелегальных революционных организаций, сколько того, что их деятельность может разжечь пламя народной революции. Народовольцы сочувствовали рабочим, помогали им, но не считали пролетариат той нарождающейся силой, которая может возглавить общенародную борьбу за социализм против царизма и капитала. Не их вина, что пролетариат России еще не созрел, чтобы стать гегемоном революционной борьбы. И исторические условия заставили народовольцев прибегнуть к террору, но расплачивались они за это дорогой ценой.

Историческая перспектива борьбы была уже утеряна к 1881 году. Реакция, преодолев революционный натиск, выжив и во второй революционной ситуации 1879–1881 годов, собралась с силами и обрушилась как на народовольцев, добивая остатки террористических дружин «Народной воли», так и на крестьянство и рабочий класс. На престол взошел «Мопс» — Александр III, а символом его царствования, духовным руководителем и глашатаем всех темных сил России сделался интриган, ханжа, обер-прокурор святейшего синода Победоносцев.

Было покончено с колебаниями правительства. Политика Лорис-Меликова, политика «лисьего хвоста» и «волчьей пасти», несмотря на весь ее кровавый облик, оказалась, с точки зрения новых властителей России, «либеральной», недостаточно реакционной. «Осади назад» — вот был девиз Победоносцева и нового правительства Александра III.

Во второй раз после крестьянской реформы волна революционного движения была отбита. Народовольцы умирали и физически и духовно.

Из-за стен тюремных казематов до оставшихся еще на воле террористов донесся предсмертный стон и последнее завещание Александра Михайлова: «Все отдаленное, все недостижимое должно быть



отброшено, социалистические идеалы должны отступить на второй план, слишком широкие задачи немислимы в данный момент. Должно стать ближайшей задачей не переверот государственного строя, а только потрясение, лозунгом нашим должно стать — минимум желательного и максимум настойчивости». Нужно «постараться завязать хотя бы отдаленные связи с либеральными людьми, которые смогут непосредственно воспользоваться вашими успехами».

Так умирали герои, революционные народники 70-х годов, так нарождались пигмеи — народники-либералы 80—90-х годов.

Халтурин опять замкнулся в себе, снова чахотка, казалось совсем отступившая от Степана, сжала его грудь железными объятиями.

Порой отчаяние охватывало этого стального человека, и Степан метался, как зверь в клетке.

## ГЛАВА IX

# ЧЛЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА „НАРОДНОЙ ВОЛИ“

Мартовский вечер, в комнатах тоскливая тишина.

Егор Петрович делает вид, что спит. Агафья Петровна молча глядит в окно. В дверь постучали. Егор Петрович вздрогнул и не своим голосом спросил;

— Кто там?

— Открой, батя, это я.

Егор Петрович бросился открывать. Он был рад сыну, рад и тому, что приход нового человека отвлечет Халтурина. Степан действительно оживился, пожимая руку пришедшему. Он пристально заглянул ему в глаза.

— Ну, что слышно там?

— Есть новости, Степа. Завтра тебе нужно вылезать из дома, наши соберутся у Доброва, с бромлеевского. Исполком «Народной воли» письмо Александру направил, хотя его и в секрете держат, да мы достали листовку. Ребята волнуются, что-то не то написано в письме этом. Вот и порешили просить тебя объяснить что к чему.

— А ты не принес письма?

— Вот оно.

Степан схватил помятую листовку.

— Ты тут с батькой поговори, а я пойду почитаю.

— Да нет, мне бежать нужно, еще кое-кого из наших предупредить на завтра.

Степан ушел в свою комнату. От нервного возбуждения снова начался приступ тяжелого кашля, в груди что-то хрипело и обрывалось, на губах были видны следы крови. Агафья Петровна вбежала в комнату и, подхватив задыхающегося в кашле Халтурина, уложила в кровать.

— Ты уж лежи, герой. Небось ни вчерась, ни нонче куска хлеба в рот не брал, все тебе не хочется.

Приступ прошел через час, но Халтурин так ослабел, что, несмотря на нетерпеливое желание скорее прочесть письмо, вынужден был откинуться на подушку и лежать. От слабости он в конце концов заснул.

Агафья Петровна пригасила свет в лампе и тихо вышла, по дороге

шикнув на Егора Петровича, собиравшегося послушать, что будет читать Степан.

На следующее утро Степан едва поднялся с постели. Болела грудь, дышалось с трудом. Но настроение было приподнятое — наконец кончался его невольный плен и сегодня вечером он опять увидит товарищей. Нужно было серьезно продумать свое отношение к письму Исполнительного комитета Александру III. Несколько раз Степан брался читать это письмо и каждый раз, прочитав пять-шесть строк, откладывал его в сторону. Какая-то необыкновенная легкость в голове, прямо-таки невесомость — она всегда бывала у него после тяжелых приступов кашля и слабости, — не давала возможности сосредоточиться на прочитанном. Часто Халтурин ловил себя на том, что, уставившись в окно отсутствующим взглядом, он повторяет одну и ту же фразу письма, не вдумываясь в ее значение, и слова, произнесенные вслух, звучат отдаленно, по-чужому, не трогают.

«Опять заболеваю, видно, не жилец я на этом свете», — с горечью думал Степан, но даже мысль о том, что страшная болезнь вновь ожила, не вызвала в нем чувства ярости и горячего желания вопреки всему выздороветь. Начиналась весна. На дворе еще бушевали снежные вьюги, а вечерами крепкий мороз и пронзительный ветер заставляли прохожих спешить по домам, но днем теплые уже лучи солнца согревали комнаты и за окном слышалась первая капель.

День тянулся долго. Сидя у окна, Степан вспоминал Одессу. Как там было тепло, как приветливо накатывалось на берег море, причудливо меняясь в своей окраске, а вечерами затихало под последними лучами заходящего солнца. Никогда Степан еще не чувствовал себя таким опустошенным. Хотелось вот так сидеть и ни о чем не думать, разве что вспоминать. «Да, видно, конец подходит, пора, Степан Николаевич, и итоги подводить», — с невеселой усмешкой прервал свои грезы Халтурин. Усилием воли заставил себя сосредоточиться на предстоящей встрече с товарищами. За эти месяцы, проведенные в Москве, Степан успел основательно присмотреться к рабочим первопрестольной.

Рабочая Москва полудремала. Совсем недавно слесарь Добров с Бромлеевского завода рассказывал Степану, как случайно наткнулся в мастерской смоленской дороги на целую группу рабочих, которые еще в семьдесят пятом — семьдесят шестом годах принимали активное участие в работе кружков, созданных «москвичами», хорошо знали Петра Алексева и только чудом сохранились после разгрома москвичей и процесса 50-ти.

— И вот, представьте себе, — горячился Добров, — пять лет сидят как сурки, никаких революционных связей не имеют, не только нелегальных

изданий, газет и то не читают.

Степана тогда не удивило это сообщение, он уже успел сам составить мнение о московских рабочих. Да и не мудрено — ведь никто с ними не работает. Союз разгромлен, а народовольцы с головой ушли в террор, им не до рабочих.

Сегодня Степан уже с улыбкой мог вспомнить, как трудно было вначале найти общий язык с беккеровцами, но потом отношения наладились, да и кое-кто из металлистов с Комиссаровского и с Курской дороги помог.

«Наверное, и сегодня будут беккеровцы», — подумал Степан, поглядывая на часы и неторопливо одеваясь.

Наступили сумерки, нужно было идти на сходку, а он, занятый воспоминаниями, так и не продумал полностью письма народовольцев. Халтурин был недоволен собой. Может быть, поэтому он только сердито сопел в ответ на уговоры Агафьи Петровны не ходить, поберечь себя. Агафья Петровна, видя, что ее слова остаются безответны, захлопотала, повязала Степана толстым платком, строго наказав дышать через него и «не дай бог морозца мокрого не глотнуть».

Осторожно пробирался Халтурин по обледенелым мостовым Пресни. Сырой и в то же время морозный воздух душил. Степан часто останавливался, чтобы отдышаться, затем вновь брел натуженной походкой больного человека. Добров жил далеко, в Замоскворечье. В молодости женатый на купчихе, он давно похоронил жену и остался один с двумя сыновьями в маленьком домике, доставшемся в наследство от супруги. Дом этот был очень удобно расположен в темном тупике, имел две сравнительно большие комнаты, а главное — черный ход на грязный двор, за забором которого летом был огород, а зимой пустырь.

Когда Халтурин приблизился к дому, от стены отделилась темная фигура и раздался радостный возглас самого Доброва:

— Никак Степан Николаевич! Вот уж радость-то будет у ребят. Здоровье как?

В ответ Халтурин только махнул рукой. Добров пропустил Степана в сени. Из комнат доносилась какая-то возня, хохот, тянуло гарью.

— Эй, хлопцы, вы мне хату спалите! — закричал Добров и побежал в комнату. Халтурин вошел следом за ним. Никто не обратил внимания на вошедших, так все были увлечены возней у стола. Добров бросился разнимать двух парней, которые с хохотом тузили друг друга. Только тогда все заметили Халтурина. Возившиеся парии сконфузились и разбежались по углам. К Степану подошел пожилой рабочий и, пожимая его холодную

руку, сказал, обращаясь к Доброву:

— Ты не бойся, хата твоя цела, только тут парень один уговора нашего не сдержал, ну ему и намяли бока в науку.

Добров понимающе закивал головой, но Халтурин ничего не понял из этого объяснения.

— А позвольте полюбопытствовать, что за уговор такой у вас был?

Теперь смутился пожилой рабочий. Окинув Халтурина ласковым взглядом, он сказал:

— Ты, Николаевич, не сердчай, мы знаем, что у тебя со здоровьем нелады и дым от сигарок тебе вреден, вот и решили не курить, а то ведь надымят так, что и здоровый задохнется. Ну, а этот паря не выдержал, задымил, а когда мы стали носом тянуть — испугался да сигарку в рукав спрятал, а там, глядишь, вата загорелась, ну мы ему и прикурили...

Все захохотали, а у Степана на глаза слезы навернулись, так тронула его эта бесхитростная забота товарищей.

Еще пробираясь по улицам вечерней Москвы, Халтурин решил не привлекать к себе внимания собравшихся, вслушаться в то, что скажут они, понять их отношение к письму «Народной воли», а уж затем, если понадобится, выступить.

Но теперь, окруженный теплым вниманием этих простых людей, Халтурин понял, что они ждали его слова. И если даже не все из присутствующих знали, кто он такой, то именно от него ожидали они слов правды... Халтурин невольно подумал о том, почему это письмо так волнует рабочих, что общего у них с народовольцами. И мгновенно в наступившей тишине Степан понял самую суть письма народовольцев и отношение к нему со стороны пытливых, ищущих правды, света рабочих. Сразу стало легче, даже болезнь отступила под напором радостного сознания единства, кровной близости Степана именно с этими людьми. Пусть он взрывал Зимний и метался в бессильной ярости оттого, что не сумел убить царя, пусть его друзья из «Народной воли» убили императора, Степан чувствовал, знал, что все его надежды, все силы души, весь ум, воля принадлежат не им, героям-одиночкам, а вот этим, на первый взгляд ничем не примечательным труженикам, замученным хозяевами, полицией, самодержавием.

— Час-то поздний, надобно и начинать, Степан Николаевич, — обратился к Халтурину пожилой рабочий. Никто не удивился, что рабочий прямо призывал Халтурина занять свое место в центре плотного кружка, образованного собравшимися.

— Да, запоздал я немного, уж больно скользко на улице, да и темь

такая, что хоть руками дорогу щупай. Пожалуй и начнем, только надобно, чтобы каждый сказал свое слово, а я уж после всех. Давайте сперва послушаем самых молодых, ведь такой обычай испокон веков есть.

— Да ты никак самый молодой и будешь! — под громкий смех выкрикнул Добров.

Халтурин тоже засмеялся и, видя, что все равно начинать ему, присел на скамью у печки. Сразу же все умолкли.

— Так что ж получается, братцы? Царя убили, ну, туда ему и дорога. Но царизм остался. Ишь, новый-то опять на троне сидит, да и звать-то его снова Александром. Вот и выходит, зря динамит-то перевели, да жизни свои загубили, а какие жизни, ребята! Хорошие люди, чистой души, теперь на виселицу пойдут. Другого пути у них нет. Да и раньше не было. Знали они об этом? Знали, но шли, шли ведь. От всего отреклись, себя не жалели, чтоб людям всем жилось хороша и по справедливости. Ну, а те, кого не поймали, письмо его императорскому величеству послали, и вот, глядите, что пишут.

Халтурин развернул листовку, потом передал ее Доброву.

— Почитай ты, а то меня опять кашель душить зачнет, а тут надобно без перерывов.

Добров встал.

— Все читать, Степан Николаевич?

— Да нет, небось все прочитали уже, ты читай там, где я пометил, — сказал Степан, с трудом удерживаясь от нового приступа кашля.

Добров начал:

— «...Окидывая беспристрастным взглядом пережитое нами тяжелее десятилетие, можно безошибочно предсказать дальнейший ход движения, если только политика правительства не изменится. Движение должно расти» увеличиваться, факты террористического характера повторяются все более обостренно, революционная организация будет выдвигать на место истребляемых групп все более и более совершенные, крепкие формы. Общее количество недовольных в стране между тем увеличивается; доверие к правительству в народе должно все более падать, мысль о революции, о ее возможности и неизбежности — все прочнее будет развиваться в России. Страшный взрыв, кровавая перетасовка, судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс разрушения старого порядка...»

В этот момент Халтурин закашлялся так, что рабочие в испуге повскакали с мест, бросились к Степану, уложили его на лавку. Этот чахоточный кашель, кровь на губах говорили им больше, чем слова письма.

Казалось, Россия надрывается в приступе смертельной болезни, истекает кровью народной.

Когда Халтурин немного оправился, Добров предложил разойтись, чтобы не тревожить Степана Николаевича. Но Степан запротестовал.

— Читай дальше.

Добров повиновался.

— «Из такого положения может быть два выхода: или революция, совершенно неизбежная, которую нельзя предотвратить никакими казнями, или добровольное обращение Верховной Власти к народу. В интересах родной страны, во избежание напрасной гибели сил, во избежание тех самых страшных бедствий, которые всегда сопровождают революцию, Исполнительный Комитет обращается к Вашему Величеству с советом избрать второй путь. Верьте, что как только Верховная Власть перестанет быть произвольной, как только она твердо решится осуществить лишь требования народного сознания и совести — Вы можете смело прогнать позорящих правительство шпионов, отослать конвойных в казармы и сжечь развращающие народ виселицы. Исполнительный Комитет сам прекратит свою деятельность, и организованные вокруг него силы разойдутся для того, чтобы посвятить себя культурной работе на благо родного народа. Мирная идейная борьба сменит насилие, которое противно нам более, чем Вашим слугам, и которое практикуется нами из печальной необходимости.

...Мы не ставим Вам условий. Пусть не шокирует Вас наше предложение. Условия, которые необходимы для того, чтобы революционное движение заменилось мирной работой, созданы не нами, а историей. Мы не ставим, а только напоминаем их.

Этих условий, по нашему мнению, два:

1) Общая амнистия по всем политическим преступлениям прошлого времени, так как это были не преступления, но исполнение гражданского долга.

2) Созыв представителей от всего русского народа для пересмотра существующих форм государственной и общественной жизни и переделки их сообразно с народными желаниями.

Считаем необходимым напомнить, однако, что легализация Верховной Власти народным представительством может быть достигнута лишь тогда, если выборы будут произведены совершенно свободно. Поэтому выборы должны быть произведены при следующей обстановке:

1) Депутаты посылаются от всех классов и сословий безразлично и пропорционально числу жителей.

2) Никаких ограничений ни для избирателей, ни для депутатов не

должно быть.

3) Избирательная агитация и самые выборы должны быть произведены совершенно свободно, а потому правительство должно в виде временной меры, впредь до решения народного собрания, допустить:

- а) полную свободу печати,
- б) полную свободу слова,
- в) полную свободу сходов,
- г) полную свободу избирательных программ.

Вот единственное средство к возвращению России на путь правильного и мирного развития. Заявляем торжественно, пред лицом родной страны и всего мира, что наша партия с своей стороны безусловно подчинится решению Народного Собрания, избранного при соблюдении вышеизложенных условий, и не позволит себе впредь никакого насильственного противодействия правительству, санкционированному Народным Собранием.

Итак, Ваше Величество, — решайте. Перед Вами два пути. От Вас зависит выбор. Мы же затем можем только просить судьбу, чтобы Ваш разум и совесть подсказали Вам решение, единственно сообразное с благом России, с Вашим собственным достоинством и обязанностями перед родной страной.

Исполнительный комитет, 10 марта 1881 г.».

Когда Добров замолчал, взгляды рабочих остановились на Халтурине. Собравшись с силами, Степан поднялся с лавки, зябко поежился, потрогал ладонями печь и прерывающимся голосом сказал:

— Вот оно как получается, начали-то во здравие, а теперь отходную поют за упокой. Ведь все эти годы борьбы во имя чего люди на виселицы шли-то? Во имя социализма. А в письме о нем ни слова не промолвлено. Нас революционерами величают, а царю предлагают меры, как революции избежать, милости от него ждут. Как же, дождутся милости! Мы, рабочие, еще когда предлагали добиваться свобод всяких, но разве мы их выпрашивали у царя? Вот и выходит, что выдохлись народовольцы, вышли все, а кто остался, тот с либералами да с Лорис-Меликовым теперь заодно быть смогут.

— Как же так, Степан Николаевич, выходит, нет у нас ныне революционеров настоящих, одни либералы поганые остались?

— Неверно! Есть. А ты, а те, кто здесь в комнате и еще десятки тысяч на заводах и фабриках, — вот они настоящие революционеры. Рабочий люд настоящую революцию совершит, а всех царей, чиновников, хозяев в шею прогонит, свою власть на земле устроит. Только бороться за эту власть



надобно, а не письма писать. Сейчас и бомбы и револьверы хороши будут, раз слова не доходят. Я вон раньше против террора был, а теперь за него, иначе народ нам не поверит, скажет — испугались, прощения да подаяния выпрашиваете.

— Слова, Степан Николаевич, тоже нужны, если они правильные. К слову рабочий, ой, как прислушивается. — Добров обвел взглядом притихшее собрание. Рабочие одобрительно кивали головами. Было что-то в словах Халтурина такое, с чем они не могли согласиться до конца, хотя, так же как и он, считали, что нужно бороться, а не выпрашивать подачки у царя. Но как бороться? На этот вопрос рабочие могли бы ответить очень туманно, хотя чувствовали, что террор не тот метод, которым нужно действовать.

Крепко задумавшись, покидали кружковцы домик Доброва. Халтурин остался у него на ночь. Добров сообщил Степану о том, что оставшиеся на свободе члены комитета перебрались в Москву и ищут Халтурина. Вчера к Доброву заходил московский народоволец Теллалов и просил разыскать Степана. Теллалов должен был вновь зайти к Доброву на следующий день, чтобы встретиться у него с Халтуриным.

Местопребывание Исполнительного комитета было перенесено из Петербурга в Москву не из каких-либо «высших» соображений, а просто в силу печальной необходимости. Петербург стал ловушкой для тех членов комитета, которые еще не попали в лапы полиции. Они не могли показаться на улицах города, кто-то, кто знал каждого из них в лицо, выдавал их полиции. Конечно, этот переезд нанес существенный ущерб делам народовольческой партии. Петербург — центр государственной жизни страны, ее интеллект, средоточие литературных сил, сплоченного ядра пролетариев, студенческий улей. В нем жила непрерывная революционная традиция, начиная с декабристов. В Москве этой традиции не было, не было здесь и передовых рабочих, мало учащейся молодежи. С перемещением Исполнительного комитета в Москву Петербург в революционном смысле низводился на степень провинции: отныне там должна была существовать только местная группа, а Москва превращалась в революционную столицу, но без тех духовных и материальных ресурсов, которыми обладал Петербург.

Не тот стал и Исполнительный комитет. Из 28 человек, бывших основоположников партии «Народной воли», на свободе осталось лишь 8. Уже не доставало ни умов, ни рук, ни главенствующих инициаторов, ни искусных исполнителей. Именно об этом с грустью поведал Халтуруину Теллалов, встретившись с ним у Доброва. Нерадостна была эта встреча.

Хотя Халтурин и Теллалов впервые познакомились, но слишком хорошо знали друг о друге, чтобы таиться. Их сближало общее дело, они оба много трудились среди рабочих и в то же время были тесно связаны с народовольцами.

Теллалов, опустив голову на грудь, перечислял имена дорогих товарищей, которых уже не суждено будет встретить.

— Да, Степан Николаевич, нет уже Квятковского, этого пламенного человека, так умевшего привлекать людей к делу; нет Зунделевича — незаменимого добытчика нашей техники, уехал за границу и Морозов — первый глашатай народовольчества, в застенках Александр Михайлов, «недреманное око», «хозяин» нашей организации, арестован чудесный, неповторимый по своей скромности, наш «ангел хранитель» Клеточников, ждут суда и виселицы Желябов, Перовская, Кибальчич, Фроленко, Исаев, Суханов. Э!.. да что говорить! Какие люди! Ведь они совершали деяния, на которых «останавливался зрачок мира». Теперь мы не больше, чем группа обессиленных, обескровленных людей, и пройдет много времени, прежде чем опять накопятся силы, подберутся кадры. На нашу долю осталась пропагандистская и организаторская работа.

— Не согласен с вами, Петр Абрамович, время терять ныне никак нельзя, невозможно напряжению дать ослабнуть — тогда конец, от нас отвернутся. Уж раз взялись за бомбы, то взрывать их надобно, и чем чаще, тем лучше. Я террористом стал в свое время поневоле, ныне остатки дней своих буду им по убеждению.

— Не будем спорить, Степан Николаевич. Мне велено передать вам, что вас избрали членом Исполнительного комитета.

Халтурин ответил не сразу. Он не добивался этой чести. Теперь же, после письма к Александру III, он менее всего разделял взгляды и направление деятельности партии народовольцев. Но, с другой стороны, он связал себя с ними уже давно, ни в какую другую партию не входил и, если верить Теллалову, мог беспрепятственно продолжать пропаганду среди рабочих и террористическую борьбу. И тот и другой вид деятельности стоял на повестке работы Исполнительного комитета, так как только террористическая борьба была ему уже не под силу. В конце концов Халтурин согласился, условившись с Теллаловым, что войдет в его группу пропагандистов, работающих среди московских пролетариев.

После того как Исполнительный комитет перебрался в Москву, оживилась деятельность народовольческих групп среди московских рабочих. Еще в конце 80-го года Петр Абрамович Теллалов создал «Рабочую группу» из местных и приезжих пропагандистов, в нее вошли по преимуществу студенты, а также кое-кто из бежавших с каторги народников. Теллалов был великолепным организатором. Пройдя весь путь революционно-демократического движения от бунтаря-бакуниста до народовольца-террориста, он пришел к убеждению, что необходимо отбросить анархические принципы ведения агитации и пропаганды, практиковавшиеся ранее землевольцами, и создать строго централизованную организацию с подчинением ее непосредственно Исполнительному комитету. Именно на таких принципах и была сколочена группа пропагандистов, составившая ядро «Рабочей группы».

Теллалов выработал не только устав этой группы, но и специальную инструкцию для пропагандистов, приступающих к делу. В инструкции говорилось о необходимости привлекать рабочих к участию в борьбе политической, как первом этапе борьбы за социализм. Подчеркивалась необходимость внушить рабочим мысль, что каждый из них бессилен перед лицом двойственного союза капиталистов и правительства, поэтому они должны организоваться, вырвать политическую свободу, а затем вести планомерную социальную борьбу.

О привлечении рабочих к террору Теллалов не помышлял, а смотрел на них как на авангард, который со временем сумеет увлечь за собой массу и поведет ее в бой.

Для проникновения в рабочую среду этих пропагандистов-интеллигентов были использованы рабочие, ранее связанные с народовольцами, такие, как родственник Петра Алексея, наборщик Масленников, переплетчик Лопунов, друг Халтурина Добров и другие. Скоро в Москве пропаганда велась уже в 30 пунктах, охватывая 100–120 рабочих. Встречались в парках, в загородных местах и чаще всего в простеньких трактирах, чайных, портерных и очень редко — в тесных, многонаселенных рабочих квартирах. Читали Михайлова «Пролетариат во Франции», Бекера «Рабочий вопрос», Торнтонна «Труд», нелегальное издание Лассаля «Труд и капитал», Маркса, историю Французской революции, Парижской коммуны.

Переселившийся в Москву Исполнительный комитет обескровил группу Теллалова. Самого Петра Абрамовича в июле 1881 года направили в Петербург, Ошанина, деятельно помогавшая ему в пропаганде, теперь

целиком ушла в работу по заданиям народовольческого центра.

В июле руководителем всех кружков пропагандистов в Москве сделался Степан Халтурин.

Намного изменились к этому времени взгляды Халтурина на террор. Он пытался сойти с этой торной дороги, снова наладить связи с рабочими, вновь занять свое место среди пролетариев как их организатор и руководитель. Но полиция преследовала Халтурина по пятам. Только-только сформировавшиеся кружки рабочих раскрывались ее шпионами и ликвидировались. Халтурин опять скрывался.

Много раз еще встречался Халтурин с Теллаловым, симпатии их друг к другу росли, споры же становились все более острыми. Теллалов считал, что дело 1 марта не дало тех результатов, которых от него ожидали, всецело по слабости народовольческой организации, не имевшей сил, чтобы использовать момент паники правительства и возбуждения масс. Отсюда Теллалов делал вывод о необходимости во что бы то ни стало расширять свои кадры и упрочать организацию с тем, чтобы приступить вновь к террору уже с пополненными силами. Халтурин же заявлял, что это фантазия, что в нынешних условиях полицейского режима невозможно создать обширную и прочную организацию. Все попытки приведут только к гибели ни в чем не повинных людей, рабочих. Именно теперь, доказывал Степан, нужно усилить террор, проводя его силами тех людей, которые уже давно им занимаются, живут нелегально и так или иначе обречены в случае, если их изловит полиция.

А между тем для Халтурина в создавшейся обстановке террор представлялся единственно реальным выражением борьбы революционной, и всякий отход от него он теперь считал изменой делу революции, стремлением к компромиссу с правительством и либералами.

В такой позиции, занятой Степаном Николаевичем, была своя логика и последовательность. Революционность народовольцев после 1 марта убывала, они искали связей с либералами, открыто говорили о конституции, дарованной сверху царизмом. Эти разговоры возмущали Степана, он считал их предательством, звал к революционной борьбе. По мнению Халтурина, проявлением революционности должно быть открытое единоборство с оружием в руках. Другими словами, если Халтурин и заблуждался в оценке террора как средства революционной борьбы, то его непримиримость, его революционность не претерпела каких-либо изменений, он был последователен в ней до конца. И опять-таки, став убежденным террористом, Степан Николаевич тем самым противопоставил свою революционность либеральной хилости начавших вырождаться

народников.

Вот почему, возглавив пропаганду среди рабочих Москвы, Халтурин чувствовал неудовлетворенность, а все время ухудшающееся здоровье, приближение неминуемой смерти от чахотки заставляло торопиться, искать дела, результаты которого проявились бы немедленно.

Халтурин возглавил издание «Рабочей газеты», тоже перенесенное из Петербурга в Москву и поместившееся со всей типографией на конспиративной квартире. Рабочая группа во главе с Халтуриным намечала содержание номеров газеты, добывала материалы. Комиссия из трех человек ее редактировала.

Халтурин успел подготовить выход двух номеров газеты, пока типографию устраивали, но типография была выслежена и разгромлена полицией. Таким образом, в Москве так и не вышло ни одного номера «Рабочей газеты».

\*

В конце октября 1881 года из Одессы в Москву приехала Вера Фигнер. Она была единственной уцелевшей из основателей Исполнительного комитета.

Новое направление в работе комитета пришлось не по духу Вере Николаевне, ей казалось, что исполком пренебрег заветами героически погибших от руки царских палачей Желябова, Перовской, Осинского, Квятковского. Ведь они завещали расширять борьбу террористическую, не давать правительству ни минуты передышки, будить выстрелами и взрывами спящую Россию, вселять надежды и уверенность в сердца колеблющихся и ожидающих. А тут? Вера Николаевна была недовольна. Пускай 1 марта не принесло освобождения от царизма, но ведь Исполнительный комитет в своих изданиях неоднократно заявлял, «что цареубийство будет производиться систематически и оружие не будет сложено до тех пор, пока самодержавие не сдастся и свободные учреждения не заменят царского режима».

Ей вяло возражали, и только Халтурин, которого Фигнер с удивлением и радостью приветствовала как нового члена исполкома, разделял ее мысли и настроения.

Фигнер пыталась уговорить членов исполкома:

— Вы упускаете, если уже не упустили, время для действия. Вы

говорите, что для нового царубийства у нас нет сил. А ведь общество ждет его, верит, что затишье наступило перед новой грозой. Смотрите, прошло слишком много времени, устанут ждать и склонят головы перед Победоносцевым и его реакционными клеветами. Не теряйте же дни. Нам еще верят даже такие прозорливые люди, как Глеб Успенский. Я видела его недавно, и он сказал мне в своей обычной шутивно-метафорической форме: «Что-то с нами теперь сделает Вера Николаевна?» Вера Николаевна это не я, а Исполнительный комитет.

Правительство тужится, оно повесило наших незабвенных товарищей, издало манифест о незыблемости самодержавия, изгнало Лорис-Меликова, Милютину, Абазу, показывая тем самым, что даже такие либеральные пигмеи ему не по душе, что все должно оставаться по-старому. А между тем почему новый император не короновался, нарушив 300-летнюю традицию русских царей, — боится, нас боится. Прислушайтесь, какие сказочные слухи ходят в публике о нас. Говорят, что в Москве, в ожидании будущей коронации, наняты помещения, из которых ведутся подкопы, чтобы взорвать коронационное шествие, заняты чердаки, чтобы с них бросать бомбы. Московский обыватель с выпученными от страха и любопытства глазами твердит на ухо своим кумовьям, что Кобозев<sup>[6]</sup> взял подряд на устройство праздничной иллюминации в Москве и взорвет всех: и царя и тех, кто с ним будет. Мы не оправдываем надежд. Твердим, что нет сил, но ведь об этом знаем только мы, общество же считает нас вершителями судеб России. Нельзя взорвать царя, засевавшего, как в осаде, в Гатчине, давайте убьем его ближайших помощников, его опричников. Одесские товарищи поручили мне просить Исполнительный комитет организовать убийство военного прокурора юга России Стрельникова. Это имя известно каждому из нас, ненавистно всем, а от себя я хочу напомнить, быть может, некоторые товарищи и не знают, что еще Валериан Осинский, всходя на эшафот, завещал нам месть этому опаснейшему для партии сатрапу. Пора исполнить завещание, и пусть убийство Стрельникова будет тем первым громовым ударом той бури, которую ждет Россия.

Эту взволнованную, страстную речь Вера Николаевна произнесла на очередном совещании Исполнительного комитета. И ей удалось расшевелить собравшихся. Халтурин же просто загорелся. Когда встал вопрос, кого послать в Одессу для убийства Стрельникова, Степан Николаевич настоял, чтобы послали его, — он знает Одессу, в Одессе его товарищи по Северному союзу, они помогут. Халтурин готов был хоть сейчас выезжать на юг, но Исполнительный комитет решил, что сначала Фигнер вернется в Одессу, выяснит обстановку и тогда сообщит о дате

приезда Халтурина. А пока Степану Николаевичу предложили продолжать начатую работу по налаживанию типографии. Халтурин подчинился неохотно и исподволь стал готовиться к отъезду. Фигнер уехала, а в начале декабря сообщила, что Стрельников скоро приедет в Одессу из Киева. 29 декабря Халтурин выехал на юг.

## ГЛАВА X ПОСЛЕДНЕЕ СВЕРШЕНИЕ

Широко, разгульно празднуют в России Новый год.

Одесса же всегда отличалась своими веселыми, озорными нравами. 31 декабря многие одесские обыватели и чиновники никак не могли еще с рождества опохмелиться, а тут новый праздник... На улицах слякотно, промозгло, но за ярко освещенными окнами домов сверкают убранные елки, рестораны и кабаки полны, дым коромыслом будет стоять в них до 11 часов вечера, когда подгулявшие посетители заспешат по домам или в гости, чтобы в кругу близких встретить торжественную минуту рождения нового года. У ребят праздника нет конца, даже всегда голодные, оборванные босяки с Молдаванки чувствуют себя почти сытыми — им кое-что перепадает с обильного стола господских домов. Дед-мороз приготовился к обходу квартир, где живут счастливые барчуки, получающие от него подарки.

Весело и торжественно в городе, и даже сыроватая изморозь не может испортить радостного настроения.

Халтурин приехал в Одессу в тот час, когда обыватели уже проводили старый год и с нетерпением ждали наступления нового, чтобы чокнуться, провозгласить тосты и завертеться в пьяном угаре веселья. Степана знобило, слишком сыро было в этом благословенном южном городе. Халтурин целый день пролежал на жесткой полке вагона, ничего не ел и теперь чувствовал голод, усталость. Страшно хотелось спать.

Но разве сунешься в новогоднюю ночь к кому-либо на квартиру в поисках приюта, не до постояльцев сейчас.

В Петербургской гостинице дорого и чинно, но что поделаешь, не ночевать же на улице. Швейцар смотрит зверем, он тоже справляет праздник и вылезать из-за стола своей каморки под лестницей в момент, когда часы в вестибюле бьют двенадцать... Пусть подождут. Халтурин долго стучится в дверь. И только в первом часу ночи он добирается до постели. Есть уже не хочется. Спать, только спать.

1 января буран метался по Одессе, сипло и натуженно завывая в подворотнях домов, стучась в окна, перемахивая через крыши. С Приморской улицы в гавань, как языки белого пламени, тянулись изодранные покрывала снежной пелены. Море бесновалось, набрасывалось на мол, злобно дробило тяжелой черной волной причалы порта,



расшвыривало смерзающуюся гальку пляжа. На улицах пустота и ветер, ветер. В гостинице холодно, дует из окон, легкое одеяло не греет. Халтурин полусидит на кровати — так легче дышать, рот широко открыт, грудь вздымается часто, порывисто.

За столом Вера Фигнер, она целый день разыскивала Степана Николаевича по известным ей адресам и, уже отчаявшись, зашла в гостиницу. Ей не следовало бы заходить в номера.

Вера Николаевна была довольна тем, что Исполнительный комитет прислал в Одессу Халтурина. Но на Степана было тяжело смотреть. Фигнер понимала, что он умирает и спасти его уже нельзя. Хватит ли у Степана сил осуществить убийство Стрельникова. Ей хотелось верить в это, она знала Халтурина в дни его пребывания в Зимнем, восхищалась им, и это чувство прежнего восхищения вселяло надежду, отстраняя сомнения.

— Вы прибыли в одиночестве, Степан Николаевич?

— Да. Второй агент должен был приехать из Харькова, но, видимо, его схватили. А прокурор-то где сейчас?

— В Киев уехал. Он на одном месте долго не засиживается — боится, исчезает внезапно. По улицам ходит в сопровождении телохранителей, живет в гостинице, так что подобраться к нему трудно, нужен по крайней мере еще один человек.

— Вы не беспокойтесь, Вера Николаевна, тут в Одессе должны быть люди, которых я еще по петербургской организации знаю, попробую их привлечь к нашему делу.

— Нет, Степан, не нужно, я сегодня сообщу в Москву, чтобы прислали нового агента вам на помощь.

— Ну, как вам угодно будет, Вера Николаевна. Вы в этом деле главнокомандующий.

— Степан Николаевич, видется нам часто не придется, меня в Одессе знают многие, не стоит, чтобы вас связывали со мной. Вы поправляйтесь скорее, пока Стрельникова нет, а там за работу.

Тепло распрощавшись, Фигнер ушла.

Халтурин пролежал в постели более двух недель, скрывая от служителей гостиницы свою болезнь, иначе его бы немедленно выселили. Немного оправившись, Халтурин поспешил разыскать товарищей из числа рабочих, с которыми он познакомился еще в 1880 году. И снова в Халтурине заговорил пропагандист и организатор.

Одесские рабочие нуждались в таком организаторе. Они серьезно подумывали о возрождении Южнороссийского рабочего союза, но не знали, с чего начать, за что взяться. В начале 80-х годов в Одессе было

много рабочих кружков, организованных народолюбцами и сочувствующими им. Общий характер движения рабочих был политический в узком смысле этого слова. Классового самосознания, особой чисто рабочей организации не существовало: рабочее движение Одессы являлось как бы составной частью народолюбческой деятельности. Народолюбцы сумели увлечь за собой некоторых рабочих: Голикова, Сарычева, Надеева, но все же основная масса не пошла за ними, мучительно отыскивая собственную дорогу. В 1882 году Одесса переживала затишье. Не было стачек на одесских предприятиях, прекратилась и кружковая работа. Это объяснялось поражением народолюбцев, с которыми было связано рабочее движение города.

Халтурин очень быстро уловил настроение новых товарищей. И, как это ни странно, Степан Николаевич отказался от своего первоначального намерения увлечь рабочих террором. Более того, Халтурин стал оберегать товарищей от участия в террористических актах, деятельно спланивая кружки, из которых могла бы впоследствии вырасти прочная организация, подобная Южному или Северному рабочему союзу.

И опять-таки кажущаяся противоречивость настроений и убеждений Халтурина находила свое логическое оправдание. Для себя самого Степан Николаевич считал обязательным террористическую деятельность. Ведь он был членом Исполнительного комитета «Народной воли». Террор был главным средством борьбы народолюбцев того времени, когда эта партия была еще носителем революционных идей, в отличие от народолюбцев-либералов, отказавшихся от революционной деятельности после 1 марта. И Халтурин как бы подхватывал революционную эстафету из рук погибших борцов 70-х годов. Рабочие — другое дело. Степан Николаевич твердо верил, что теперь революционное движение в России возглавит рабочий класс и пойдет он иными путями, нежели шли разночинцы-интеллигенты, революционные народники 70-х годов.



Н. Л. Желваков.



Памятник С. Н. Халтурину в городе Кирове.

Халтурин спешил, чувствуя, как убывают его силы, спешил помочь рабочим своим огромным опытом организатора. Степан Николаевич, как-то вновь повидавшись с Фигнер, не утерпел и рассказал ей о встречах с одесскими рабочими и своих планах создания в Одессе рабочего союза.

Вера Николаевна довольно холодно отнеслась к сообщению Халтурина. Она, как истинная народоволка, принимала только Халтурина-террориста, Халтурин же рабочий-организатор, пропагандист был ей чужд.

Выслушав Халтурина, Фигнер спросила;

— А вы не пробовали кое-кого из рабочих привлечь к делу, я сначала была против, как вы помните, но Москва молчит, не шлет нового агента.

Халтурин горячо запротестовал:

— Я тоже вначале так думал, а теперь вижу, что ошибался. Рабочий на террор так, здорово живешь, не пойдет, этот способ борьбы ему чужд. Сдается мне, Вера Николаевна, нас понапрасну народниками-то величают. Знаем ли мы народ-то свой, душу его, думы его? Нет, не знаем, не ведома нам еще душа народная, не разумеем мы ее. Вот я сам, к слову, из народа, из крестьянского сословия, а крестьян-то знаю? Нет, не знаю. А которые городские, те и вовсе его не разумеют, хождение-то. в деревню это, ай, как доказало. Вот рабочего человека я знаю, а потому прямо сказку, что не одобряет он всю нашу пиротехнику. Я это к тому говорю-то, что забыли мы про народ-то. Себя виню и вину свою искупить хочу. Но не тем, что рабочих на террор толкать, а оберегать их от него буду, организовывать. Ну, а с прокурором как-нибудь справимся, пришлют агента.

Фигнер была недовольна этой откровенностью Халтурина, она боялась, что Степан Николаевич увлечется близкой, родной ему деятельностью в рабочей среде и ослабит подготовку начатого покушения. Когда в феврале в Одессу приехал Михаил Филиппович Клименко, народоволец, бежавший летом 1881 года из ссылки, она поспешила свести его с Халтуриным, чтобы ускорить убийство Стрельникова. Михаил Филиппович быстро сошелся со Степаном, о котором много слышал. От Халтурина он получил задание следить за Стрельниковым, как только тот приедет в Одессу.

Прокурор не заставил себя долго ждать. Халтурин и Клименко столкнулись со Стрельниковым как раз в тот день, когда Степан перебирался из гостиницы на частную квартиру. День был ветреный, прохладный, прохожие на улице встречались редко, поэтому Степан сразу заметил генеральскую тушу, не спеша подходящую к подъезду гостиницы. «Так вот он каков, палач всея малые и новые Руси, заплыл жиром-то,

шагает важно, а по сторонам глядит с опаской».

Иногда внешность людей бывает обманчива, но у Стрельникова она вполне соответствовала его характеру. Одного взгляда на этот жирный затылок, маленькие злые глаза и отвисшую нижнюю губу было достаточно, чтобы поверить в его невероятную, просто фантастическую жестокость. Халтурину рассказывали, что когда в Харькове вешали Осинского, Брантера и других, Стрельников вызвал оркестр и заставил его играть «Камаринскую». Иезуитская пронырливость сочеталась в генерале с солдафонским упрямством и поразительным умением не только мучить свою жертву, но и испытывать при этом садистское наслаждение. У Стрельникова не было друзей, на людей он смотрел только как на возможный объект будущих допросов и пыток. Исключение составляли те, кто был рангом повыше да члены императорской фамилии. Его боялись даже жандармы, суд смотрел на все, что делал прокурор, его глазами. Стрельников и не скрывал этого, нагло заявляя своим жертвам: «Достаточно одного моего убеждения в вашей виновности, и вас обвинят на суде, улики не обязательны». Киевский прокурор считал, что лучше повесить десять невинных, нежели помиловать одного подозрительного. Тюремь были переполнены, жандармы сбились с ног, «по целым неделям глаз не смыкали», — жаловались они. Стрельников не затруднял себя изучением фактов, достаточно было, чтобы чья-либо фамилия попала ему на глаза и показалась подозрительной, — ее обладателя арестовывали. Особенно ненавистны были прокурору студенты и рабочие. В преследовании их он не знал усталости. Даже дети не были застрахованы своим возрастом от вездесущего палача. На допросах Стрельников кричал на арестованных, запугивая самыми суровыми карами, показывая подложные признания друзей, доводил до истерик. Применял он и такие методы — выпускал жертву на волю, потом снова арестовывал, и так по несколько раз.

Никогда еще на юге не совершалось столько самоубийств, как в этот мрачный период «стрельниковского прокурорства». Расчет генерала был прост: чем больше арестов, казней, ссылок, тем больше страху нагонит он на тех, кто сочувствует революционерам, а страх — союзник властей. Не только арестованные, но и их родственники всячески терроризировались

Стрельниковым: «ваш сын будет повешен», — вот обычная форма ответа на мольбы матери.

Фигнер была, безусловно, права, когда указывала на тот огромный ущерб, который наносит Стрельников престижу социалистов. Он не только смешивал их с грязью, но и нарочно дискредитировал, выдавая

обыкновенных уголовников за народников, подтасовывал факты, отпугивая от революционной партии людей передовых по своим убеждениям, но имевших несчастье поверить прокурору.

\*

Москва молчала. Эта тревожная неизвестность очень беспокоила Фигнер. Необходимо было уезжать из Одессы, так как жандармы уже напали на ее след, и каждый новый день, проведенный в этом южном городе, грозил арестом не только Вере Николаевне, но и Халтурину. Теперь, когда ее роль в подготовке убийства Стрельникова была окончена, не стоило рисковать. Но Фигнер ждала, она хотела уехать, будучи уверенной в успехе начатого дела. Наконец 10 марта пришло известие из Москвы, и Вера Николаевна начала спешно собираться. Вечером к ней зашел Халтурин, Клименко предупредил его об отъезде Фигнер, и Степану оставалось только попрощаться. Халтурин был задумчив, невольная грусть закрадывалась в сердце. Ведь с отъездом Веры Николаевны обрывалась последняя нить, связывающая его с прошлым, с людьми, которые были близки и дороги Степану. Встретится ли он еще раз с ними, или новые виселицы, тюрьмы и каторги навсегда разлучат Степана с теми, кто был его соратниками на тернистом пути революционной борьбы.

— Уезжаете, Вера Николаевна?

— Нужно, Степан Николаевич, боюсь, и так я слишком задержалась и теперь могу испортить все дело.

— Я понимаю, ищут вас тут, даже на улицах об этом вслух толкуют.

— Вот как! Значит, сегодня же ночью я должна исчезнуть. Вам Клименко передал, что на днях приедет новый агент на помощь?

— Да, да. Вот только денег у нас нет, вы так и не получили обещанных?

— Нет, не получила, где-то перевод затерялся.

— Плохо. Нужна лошадь и пролетка, без них нам не уйти.

— Вот деньги, возьмите. Я достала их у товарищей, думаю, что шестьсот рублей хватит?

— Конечно, хватит, спасибо вам, Вера Николаевна! — Халтурин спрятал деньги и поднялся.

— Я провожу вас до вокзала, а то мало ли что...

Нет, Степан Николаевич, не надо, я боюсь навести шпионов и на вас.

Вы помните Меркулова?

— Предателя?

— Да, да. Я сегодня встретила его на улице, кажется, он меня не заметил, но как знать? Так что идите домой, да осторожней, проверьте — не следят ли за вами.

Фигнер замолчала. Степан взял ее за руку и прямо посмотрел в глаза.

— Прощайте, Вера Николаевна! Поклон товарищам передайте, уж не знаю, свидимся ли когда?

— Ну, зачем так мрачно, Степан Николаевич. Я умирать не собираюсь, вы тоже, так что не прощайте, а до свидания. Как только покончите с генералом, в тот же день выезжайте в Москву, адреса вы знаете.

Халтурин ушел. Ночной поезд увез Фигнер на север, а утром 11 марта в Одессу приехал новый агент Исполнительного комитета Николай Алексеевич Желваков. Клименко, встретив Желвакова в условленном месте, повез его на Приморский бульвар, где их дожидался Халтурин. День выдался чудесный, весна уже одела Одессу первыми побегами изумрудной зелени, солнце с утра еще не пекло, а только ласкало, море затихло, хотя и было по-зимнему черным, непроницаемым. Степан сидел на лавочке боковой аллеи и с наслаждением вдыхал свежий, пьянящий воздух, рассеянно наблюдая за фланирующей по бульвару публикой. В последние дни у него опять участились приступы кашля, особенно плохо бывало, когда на улице лил дождь и мокрый туман окутывал бушующее море. Тогда Степан задыхался, кашель рвал грудь, на губах появлялась кровь. Чахотка, которую не лечили, вконец истощила организм Халтурина, и он прекрасно понимал, что дни его сочтены.

С приездом Желвакова нужно было собрать последние силы и целиком переключить все свое внимание на подготовку убийства Стрельникова.

Солнце стало припекать. Степан поднялся, чтобы пересесть на другую скамейку, и в этот момент увидел подходившего к нему Клименко в сопровождении молодого рослого человека.

— Знакомься, Степан, Николай Алексеевич Желваков.

— Ну, здравствуйте, рад, что вы, наконец, приехали, а то мы уже беспокоиться начали.

Желваков с интересом разглядывал Халтурина. Еще бы! Ведь о нем ходили легенды. Уж на что отец Николая, человек далекий от политики и очень трезвый в своих суждениях, а ведь и он готов был поверить в чудеса, особенно после того, как в Вятку наехали сыщики и стали допрашивать налево и направо всех, кто мог знать Халтурина. Николай как раз был в это время в Вятке и собирался в Петербург, где он учился на естественном



отделении физико-математического факультета университета. Фантастические рассказы о человеке, взорвавшем Зимний, бесспорно, во многом содействовали принятию Желваковым решения стать членом партии «Народной воли». И вот теперь, познакомившись со своим героем, Желваков не мог не вспомнить одну из многих легенд о взрыве Зимнего. Пожимая руку Халтурину, Желваков рассказал:

— Степан Николаевич, в 1881 году я вылетел из университета за неблагонадежность и работал письмоводителем у присяжного поверенного Сермягина. Мой «благодетель» презабавнейший слух рассказывал мне по поводу взрыва Зимнего.

Халтурин было нахмурился, он не любил, когда ему напоминали о неудачном покушении, особенно если об этом говорили почти незнакомые люди. Но задорный блеск глаз Желвакова, его открытая улыбка заставили Степана усмехнуться.

— Опять какая-либо басня о чудо-богатыре, наслышан я о них, ажно неудобно делается, когда кто-либо, закатив глаза, восторгам предается. Так что я уж вас попрошу...

Желваков смутился.

— Николай Алексеевич, а сколько вам годков-то исполнилось?

Желваков был поражен этим вопросом. Он ожидал все что угодно, только не разговора о своем возрасте. Какое, собственно, дело этому человеку до того, что он молод. Да, ему едва исполнилось двадцать три года, но ведь и Халтурину только двадцать пять лет, хотя выглядит он сорокалетним. Заметив, что Желваков как будто обиделся, Халтурин улыбнулся тепло и приветливо.

— Мы с вами, Степан Николаевич, почти однолетки, да и родились по соседству, ведь я вятский. И вы, как я слышал, тоже из тех мест. — Халтурин даже привстал. Он не забыл Вятки, скучал и беспокоился о родных, оставшихся там, и был бесконечно рад встретить земляка.

— Пойдите, пойдите, Николай Алексеевич, уж не вашего ли батюшку я знавал? Когда земличку, мне в наследство доставшуюся, братьям передавал-то, с ним дело имели, звать-то его не Алексеем Ивановичем, землемером он был?

— Он, Степан Николаевич. — Желваков был взволнован. Как-никак, а с земляком спокойнее идти «на дело», да и Халтурин сразу стал ему близким, почти родным человеком — ведь свой, вятский.

В это время Клименко перебил их и едва заметно кивнул головой в сторону центральной аллеи. По аллее, в сопровождении двух телохранителей, шел генерал Стрельников.

— Ну, Николай Алексеевич, вот вы в первый же денек и познакомились с живодером, смотрите хорошенько, каков он.

Стрельников пересек бульвар и направился в казарму № 5, где он проводил допросы арестованных.

Проводив его взглядом, Желваков обернулся к Халтуруину.

— Давайте поговорим о деле.

— Не стоит толковать об этом здесь, на бульваре, кругом соглядатаи шныряют.

Халтурин был спокоен, он уже много раз встречал генерала, хорошо знал, что участь его решена, и теперь не хотел торопиться, чтобы впопыхах не испортить начатого предприятия.

На следующий день Желваков поселился в Крымской гостинице, где обычно останавливался Стрельников во время своих наездов в Одессу. Живя по соседству с прокурором, Желваков мог свободно наблюдать за ним, выяснить часы ухода и прихода, маршрут движения по улицам, привычки генерала.

Стрельников явно догадывался о том, что его жизнь в опасности. И, даже не замечая за собой слежки, генерал понимал, что народовольцы не простят ему казней своих товарищей, поэтому он всегда был настороже. Его редко можно было видеть на улицах города и то только в сопровождении своры телохранителей. Желваков уже было решил, что придется покончить с прокурором где-либо в коридоре гостиницы, а ведь это означало почти верную смерть для тех, кто совершит покушение: из гостиницы им не убежать. Но Халтурин, тоже наблюдавший за прокурором, заметил его пристрастие к французской кухне. Ежедневно, этак часа в четыре дня, Стрельников откладывал свои дела и спешил на Приморский бульвар, где по соседству примостился французский ресторан.

Кто из коренных одесситов не знал этого заведения мосье Желони? Ведь недаром же Одессу называли «маленьким Парижем на юге России». Да, одесситы любят и могут оценить по достоинству и острое словцо и тонкую французскую кухню, а посему французский ресторан слыл местом, где рождаются последние моды, пикантные анекдоты и самые невероятные кулинарные рецепты.

Не всякий мог проникнуть в это фешенебельное заведение, но, конечно, перед прокурором с чрезвычайными полномочиями двери были открыты всюду. Мосье Желони тяжело вздыхал всякий раз, как только массивная генеральская туша появлялась в гардеробе его ресторации. Еще бы не вздыхать, посмотрите на зал, он почти пустует от четырех до пяти часов пополудни. Ведь это убыток, да еще какой. А почему? Не нужно быть

провидцем, чтобы догадаться: никто не намерен лишний раз попадаться на глаза Стрельникову. Этак можно и совсем испортить репутацию заведения, потерять клиентов. Но тяжелый вздох хозяина прикрыт самой радушной улыбкой: «Пожалуйста, дорогой гость, сегодня специально для вас приготовили барашка с трюфелями. Хи, хи, хи!.. Да, да... русское блюдо с французской приправой!»

После сытного обеда, если позволяла погода, генерал часок проводил на воздухе. Обычно он сидел на Приморском бульваре с сигарой, полусонно прикрыв глаза. Телохранители роились по соседству.

— Нужно стрелять на бульваре, — заявил Халтурин Желвакову. — От преследователей уйдем на пролетке. Думаю, что не промахнусь.

Эти слова страшно взволновали Николая Алексеевича.

— Ну, нет уж, Степан Николаевич, стрелять-то буду я, а не вы! — Халтурин задумчиво поглядел на Желвакова, потом взял его под локоть и бережно посадил на скамейку. Они были одни в сумраке аллеи.

— Эх, Николай, Николай! И зачем ты в это дело ввязался? Ведь тебе еще жить да жить, для народа нашего жизнь беречь, ему и служить вечно. А ну как поймают? Ведь повесят. Я-то свое отжил, сам знаешь, ну, днем раньше, неделей позже, а не миновать мне вскоре кладбища. Тебе же рано туда. Меня повесят, никто о Халтурине худого слова не скажет, — сделал, что мог, и жизнь положил не зазря. А тебя дела ждут. Думается мне, что надобно тебе револьверы и бомбы оставить, к рабочему люду присмотреться, сродниться с ним, о его нуждах и правах ежечасно печься. В рабочем — сила, без него революции не будет.

Желваков не сдавался, ведь недаром же сам Желябов выделял его среди молодых членов партии и берег, предсказывая ему судьбу необыкновенную, готовя его к свершениям исключительным. А потом он ведь поклялся в тот страшный день казни отомстить за Желябова, Перовскую, Кибальчича, отомстить так, чтобы быть достойным своих погибших друзей. Таких, как Желваков, Герцен называл античными героями; Пусть он умрет, но гибелью своей повергнет в трепет царских палачей и миропомазанных деспотов.

Незаметно и Желваков стал называть Степана на «ты». Волнуясь, смешно размахивая руками, он доказывал Халтурину, что не может уступить ему свой жребий.

— Нет, ты меня не уговаривай, я сюда ехал как на праздник, на свадьбу или крестины какие. Меня повесят — партия ущерба не потерпит, а ты член Исполнительного комитета. Одно твое имя заставляет дрожать царей и вселяет надежду в сердца простолюдинов. Ведь ты и сам говоришь, что

болен, значит рука может дрогнуть, да и бежать потом не хватит сил у тебя, а глянь-ка на меня — ведь не на всякой лошади догонишь.

Долго они спорили, отстаивая каждый для себя право на виселицу, но так и разошлись по домам неубежденные.

Проходили дни, Стрельников оставался в Одессе, подготавливая новый процесс. Собственно, готовился не один, а сразу два процесса и оба грандиозные. Только один намечался в Одессе, другой в Киеве. Оба эти процесса должны были перекликаться с судилищем, которое подготавливалось в столице. Стрельников по целым дням, а иной раз и ночами, просиживал в казарме № 5. Ее переоборудовали, причем средний этаж трехэтажного дома был превращен в специальные камеры с особым режимом, в них прокурор держал арестованных до тех пор, пока они ему нужны были для допросов и пыток, затем их переводили в городскую тюрьму. Стрельников никого не посвящал в материалы предварительного следствия. Наряду с подлинными революционерами, такими, как П. Надин, Михаил Дрей, Моисей Попов, Матвеевич, к процессу привлекли и уголовников, которых Стрельников хотел выдать за народовольцев. Свидетельские показания «деятельности» этих людей прокурор ловко подтасовывал. Халтурин, однажды зайдя на квартиру к знакомому рабочему из склада Карантинного порта, стал невольным слушателем рассказа о деяниях Стрельникова. Рассказывала соседка, женщина старая, почти неграмотная, живущая сдачей внаем своей комнаты.

Стрельников вызвал ее на допрос, чтобы она подтвердила, что ее квартирант, человек без определенных занятий, проводил на квартире сходки и говорил «возмутительные» речи.

— Ничего это я и не поняла, — говорила старушка, — что генералу от меня надобно. У жильца моего каждую субботу собирались товарищи. Шумели, галдели, а о чем — не знаю. А генерал записал что-то, пока я рассказывала, затем велел мне подписать, ну, я и подписала, благо умею имя-то свое и фамилию выводить. А вчерась опять меня в тую казарму приводят к самому. Он и спрашивает: «Значит, вы на суде подтвердите, что у вашего жильца происходили сходки?» Ну, я, известно, поддакиваю, опять говорю, что каждую субботу приходили. А генерал меня и спрашивает: «Не можете, говорит, припомнить что-либо из слышанного? Хоть какие слова?» Я и отвечаю, что могу, конечно, а как же ж мне не мочь, коли и по сию пору помню до одного словечка срамоту богохульника из ихней компании. Собрались у жильца это человек пять народу. Поставила я им самовар. Принесла колбасы, полдюжины пива. Вот жилец и говорит мне: «Выпей, Митриевна, стаканчик пива с нами». — «Что ты, прости господи! —

говорю я. — Никогда смолоду не пивала я этого зелья...» А один из гостей засмеялся да и говорит: «Эх, Митриевна, напрасно бережешь себя, все равно в рай не попадешь. Апостолы Петр и Павел давно ключи от рая пропили...» Да как загогочут все, что твои стоялые жеребцы. Я только перекрестилась, затем плюнула на ахальников и ушла к себе. Известное дело — шантрапа, наакались пива и бога не боятся.

Халтурин тогда не мог удержаться от смеха, и Митриевна с укоризной поглядывала на Степана. Но через несколько дней Фигнер через одного адвоката узнала, что «богохульнику» этому инкриминируется преступная революционная деятельность, направленная на разрушение существующего государственного строя, а на квартире у него якобы происходили тайные собрания террористов. Тут уже не до смеха стало. Со Стрельниковым нужно было как можно скорее кончать. Спор с Желваковым разрешился неожиданно и при этом в пользу Николая. Оказалось, что Желваков никогда не управлял лошадьми, да и к роли кучера он по своей внешности мало подходил, а лошадь и пролеткой воспользоваться было совершенно необходимо. Желваков торжествовал.

Покупка лошади и дрожек очень беспокоила Халтурина. Еще бы! Как объяснить своему хозяину по квартире Барбашеву такое приобретение? Вряд ли он поверит, что Степан собирается сделаться извозчиком. Выручил Клименко. Он поменялся с Халтуриным квартирами, предоставив Степану свой номер в Крымской гостинице, а сам переехал к Барбашеву. После побега из сибирской каторги, куда Клименко попал по приговору Киевского военно-окружного суда в 1881 году, он начал отпускать бороду. Она его очень старила, фигура у Михаила Филимоновича была малоприметная, под стать заштатному «ваньке».

Барбашев не только не удивился, когда Клименко поделился с ним своим намерением купить дрожки и лошадь, но даже посоветовал дрожек не покупать, а нанять, лошадь же он обещал подыскать подходящую и недорого. Халтурин был доволен, оставалось только решить вопрос, где держать экипаж. Желваков предложил купить лошадь накануне покушения, тогда отпадала надобность в сарае. На этом и порешили.

17 марта Халтурин зашел к Клименко. Тот встретил его словами:

— Пошли покупать лошадь. Барбашев уже сторговал у какого-то крестьянина Силантьева.

— Да я с собой мало денег захватил.

— Ничего, я добавлю, потом разочтемся.

Как раз сегодня утром Халтурин нанял за 1 рубль 50 копеек биржевые дрожки у легкового извозчика Баранова, покупка лошади была бы сейчас

кстати. Барбашев уже дожидался Клименко в конторе лошадиного барышника Спиро. Увидев Халтурина, он не удивился, зная о том, что это знакомый Клименко, и решил, что тот пригласил его присутствовать при покупке. Лошадь сторговали быстро, хотя и дороговато — за 215 рублей. У Халтурина оказалось с собой только 115, 100 рублей добавил Клименко. Теперь уже нельзя было откладывать покушение. Барышник согласился, чтобы лошадь у него забрали назавтра, дрожки также дожидались завтрашнего дня в сарае извозчика на Молдаванке.

Вечером 17 марта собрались у Желвакова. Собственно, все детали покушения были разработаны раньше, и теперь заговорщики просто сидели у открытого окна и молча смотрели на оживленную суетню улиц, затихающий порт, темнеющее море. Солнце садилось в тучу, красные отблески вечерней зари предвещали ветер и прохладу, на море собирался шторм. Говорить не хотелось, так же молча разошлись.

Утром 18 марта Клименко разбудил Халтурина. Когда Степан оделся и зашел к Желвакову, то в первый момент он не узнал Николая. За столом, аппетитно похрустывая коркой свежей булки, сидел щеголь-студент. Мундир без единой складки обрисовывал его стройную фигуру, на столе лежала свежая пара перчаток, на стуле валялась фуражка.

— Хорош! — Халтурин откровенно любовался Николаем, оглядывая его со всех сторон.

— А что, разве есть что-либо подозрительное в моем костюме?

— Нет, нет, ты под стать тем франтам, которые во французской ресторации папашины деньжонки прокучивают.

Как трудно было в этот день дожидаться пяти часов! Халтурин и Клименко не спеша запрягли лошадь в дрожки и поехали за город. Ни тот, ни другой не умели порядком обращаться с ними. С утра погода хмурилась, но в середине дня ветер утих, тучи уползли за море, потеплело. Улицы наполнились одесскими обывателями.

К пяти часам вечера Халтурин, успевший переодеться извозчиком, поехал на условленное место встречи с Желваковым, Клименко пешком отправился к французскому ресторану.

\*

Мосье Желони был весел. Казалось, что весна, прогнавшая сегодня тучи, и трепетные отблески вечернего солнца предвещали новый успех его

заведению. Желони был суеверен, но разве не все приметы указывали на расположение к нему богов Фортуны? Да и как не радоваться, ведь минуло пять часов вечера, Стрельников еще сидит за обеденным столом, доедая десерт, а зал ресторации полон, одесситы весело сменяются, официанты уже начинают сбиваться с ног. Нет, положительно, ему везет даже в этот мрачный год.

Стрельников расплатился и, тяжело отдуваясь, встал из-за стола. На мгновение в зале воцарилась тишина. Обедающие проводили прокурора тяжелыми, настороженными взглядами. Как только за Стрельниковым закрылась дверь, в зале вновь началось веселье.

Угасающий день был действительно хорош. Даже Стрельников, равнодушный к щедротам природы, изобразил на своем заплывшем жиром лице некое подобие улыбки и поспешил на бульвар, чтобы выкурить послеобеденную сигару.

Приморский бульвар пестрел толпой гуляющих. На центральной аллее было тесно, все скамейки оказались заняты. Весело бегали дети, радуясь теплу, няни переглядывались с молоденькими купчиками, бродившими стаями, степенно проплывали городские матроны с собачками, шагали местные франты в нелепых цилиндрах, помахивая тросточками. Стрельников не любил толпы. Немного пройдя по центральной аллее, он свернул на боковую дорожку и уселся на скамейку. Внизу виднелось море. Неподалеку бульвар кончался, выходя на Биржевую площадь к дворцу генерал-губернатора. Напротив Стрельникова примостился его охранник Смирнов в штатском. Не успел генерал раскурить сигару, как к нему на скамейку подсел молодой человек в студенческой тужурке. Стрельников поморщился, его телохранитель насторожился, но генерал сделал ему знак, и тот успокоился. Стрельников знал этого студента. Правда, он так и не мог запомнить его настоящей фамилии, дело в том, что в Новороссийском университете он фигурировал то как казеннокоштный студент Энгельгард, то как вольнослушатель под другой фамилией. Но Стрельников чутьем прокурора уловил и в этой подозрительной личности задатки провокатора и до поры до времени не трогал его, чтобы потом схватить, прижать к стене несуществующими уликами и сделать из него «подметку». Генерал поднялся и пересел на соседнюю лавочку.

Желваков незамеченным появился на бульваре и зашел сзади скамейки, на которую уселся Стрельников. Николай Алексеевич медлил, дожидаясь, когда в аллее останется только Стрельников со своим охранником. Проходили минуты, Стрельников уже докуривал сигару, Энгельгард углубился в чтение книги, телохранитель вполборота

разглядывал гуляющих по центральной дорожке сквера. Резко один за другим прозвучали три выстрела. Голова Стрельникова упала на правый бок, тело грузно откинулось на спинку скамейки.

В первую минуту все растерялись, охранник вскочил, дико озираясь вокруг, Энгельгард от неожиданности уронил книгу, из центральной аллеи хлынул народ. Какая-то дама подбежала к Стрельникову, приложила к ране на его голове свой платок и закричала во весь голос, чтобы принесли скорее воды. Только тогда все поняли, что стреляли в генерала. Стали искать убийцу.

Желваков же, перепрыгнув через невысокую изгородь бульвара, бросился вниз по склону горы через маленький садик, затем спустился по крутому обрыву мимо угольного склада Шполянского, стремясь скорее попасть на Гаванную улицу, к станции городской железной дороги Карантин, где его дожидался на дрожках Халтурин.

Охранник первым заметил убегающего Желвакова и с криком: «Ловите!.. Держите!.. Убили среди бела дня!..» — бросился в погоню. Толпа подхватила вопли охранника. Крики всполошили рабочих угольного склада. Рабочий Лобзин, или, как его прозвали уличные босяки, «Монах», и отставной солдат Некрасов, работавший на складе сторожем, также кинулись за Желваковым. Николай недаром говорил Халтурину, что бегают прекрасно: погоня отставала.

Халтурин, с волнением наблюдавший за погоней, вдруг заметил, что у конца узкого спуска на Гаванную улицу собрался народ, привлеченный сюда криками и выстрелами. Им не трудно было обнаружить, что бегущий направляет свой бег прямо к дрожкам, запряженным белой лошастью. Многие бросились к концу спуска, чтобы в узком месте задержать беглеца, другие окружили пролетку Халтурина, еще не подозревая в нем участника покушения.

Желваков заметно устал, но, увидев, что дорогу к Халтурину прикрыла новая группа людей, Николай сделал последнее усилие; бросив револьвер, в котором все патроны уже были расстреляны, он выхватил из кармана новый и начал стрелять, ранив несколько человек. В это время его настигли преследователи, бежавшие за ним с бульвара. Выхода не было, обернувшись к ним лицом, Желваков в упор выстрелил в «Монаха» и Некрасова, подоспевших первыми, оба они были ранены и отскочили. Но барабан второго револьвера теперь также был пуст. Желваков не сдавался: в запасе имелся кинжал.

Халтурин не мог больше ждать, Николаю одному не отбиться, и Степан соскочил с козел, но зацепился за колесо и упал. Быстро



поднявшись, Халтурин вскинул револьвер и побежал, стреляя на ходу. Только теперь люди, находившиеся вблизи дрожек, поняли, что Халтурин не просто извозчик, наблюдавший за происшествием, а соучастник. За Степаном побежал околоточный надзиратель Гаврилов, коллежский секретарь Игнатович и двое рабочих. Желваков отбивался кинжалом. Халтуруину было трудно бежать, он задыхался, и его быстро настигли. Два выстрела — дорога снова свободна, но в этот момент здоровенный приказчик подставил Халтуруину ножку. Степан опять упал, на него навалились.

— Оставьте! Я социалист! Я за вас... — прохрипел Халтурин.

— Чтоб ты так жил, как ты за нас! — заорал приказчик. К нему на помощь подскочили раненый Некрасов, Игнатович, полиция. Халтурину схватили, связали. Желваков тоже уже лежал скрученный на земле.

Между тем на бульваре царило смятение, прибыл генерал-губернатор Гурко, он так был растерян, что смог только отдать распоряжение, чтобы тело Стрельникова перенесли в Петербургскую гостиницу.

Между тем по городу с невероятной быстротой распространялись противоречивые слухи, догоняя и взаимно исключая друг друга: «На бульваре убили губернатора...», «Нет, нет, не губернатора, а градоначальника, похитили 1 000 рублей и скрылись», «Какое там скрылись, поймали голубчиков, намяли им бока да в кутузку отправили». Наконец имя Стрельникова вытеснило все остальные имена и звания, ночью вся Одесса знала, что убийство было политическое. Страх обывателей, негодование чиновников сменились затаенной радостью. Рабочая окраина и ликовала и хмурилась — ведь кто же знал, что те «добры молодцы» самого прокурора ненавистного прихлопнули, знали б ребята с угольного склада, то не только б не словили, а удрать помогли. Коллежский секретарь Игнатович ночью заболел, у него начался сильный приступ нервной лихорадки. Сдирая с себя одеяло, он вскакивал с постели, рвал волосы и чуть не кричал в горячечном бреду: «Подлец!.. Мерзавец!.. Иуда!.. Кого словил, кого загубил, героя, избавителя, пес шелудивый...» Хозяева квартиры связали чиновника, скоро он затих.

Но Одесса не спала в эту ночь. В окнах горел свет, хотя улицы были пустынные. Генерал-губернатор Гурко не на шутку встревожился, а ну, как взбунтуется чернь да попытается отбить арестованных, на всю Россию прославишься. Конная полиция, пешие патрули всю ночь дежурили на улицах. Здание полицейского управления, куда доставили террористов, было окружено двойным кордоном жандармов, к нему никого не допускали, гнали прочь с тротуара.

Допрос длился целую ночь. За столом, сменяя друг друга, сидели губернатор, полицмейстер, градоначальник, вызывались свидетели, участники поимки убийц. На столе перед судьями лежали 3 револьвера, 24 патрона к ним, 3 кинжала, склянка с ядом, 3 паспорта, черновик листовки, еще какая-то рукопись, 100 рублей одной бумажкой. Уже несколько часов следователи бились над тем, чтобы установить подлинные имена арестованных. По паспорту, отобранному у Халтурина, он значился мещанином Алексеем Добровидовым, но когда его спросили, он назвался Константином Ивановичем Степановым, что подтверждалось другим паспортом, также обнаруженным у Степана Николаевича. Желваков имел паспорт на имя дворянина Николая Сергеевича Косогорского. Следователи не верили ни паспортам, ни словам допрашиваемых, но все их попытки узнать правду ни к чему не привели.

Стали выпытывать, кто, зачем, почему направил их в Одессу убивать Стрельникова, откуда у них оружие, с кем связаны. Желваков и Халтурин молчали. Наконец Николай Алексеевич не выдержал и заявил, что он не будет отвечать на вопросы, пока ему не скажут, убит ли Стрельников. Узнав, что генерал мертв, Желваков засмеялся и ответил:

— Ну, тогда делайте со мной, что хотите.

Больше он не проронил ни слова. Халтурин всю вину взял на себя, стараясь выгородить товарища. Но и здесь, на судилище, находясь в лапах своих врагов, Степан остался верен себе, верен горячо любимым им рабочим России. Хотя убийство Стрельникова было задумано Исполнительным комитетом «Народной воли», Халтурин скрыл это и подчеркнул, что он приехал в Одессу для того, чтобы вести работу среди местных пролетариев. Стрельников мешал этой работе, и он решил его убить. Пусть эти царские холопы боятся русского рабочего, пусть знают, какая сила таится в нем. Представляя убийство Стрельникова в таком свете, Халтурин как бы подчеркивал значение прежде всего политической борьбы пролетариата, а не народовольцев.

Черновик прокламации, обращенной к рабочим Одессы с призывом возродить Южнороссийский союз рабочих, а также устав Одесской рабочей группы, отобранные у Халтурина при аресте, подтверждали правоту его слов.

Предварительное следствие закончилось глубокой ночью и безрезультатно к великой досаде и негодованию следователей. Халтурина и Желвакова под усиленным конвоем перевезли в одесский тюремный замок, разместив в разных камерах подвального этажа.

На следующий день утром вся тюрьма уже знала об убийстве

Стрельникова. Заключенные ликовали, да и надзиратели были явно довольны, но день 19 марта был для них суматошный. Хлопали железные двери камер, по одному, по двое выводили заключенных и сопровождали их в помещение тюремной канцелярии, где на лавке, крепко скрученные веревками, сидели убийцы прокурора. Генерал Гурко, отдавший распоряжение показать террористов заключенным, надеялся при помощи узников узнать подлинные фамилии этих людей. Но губернатор ошибся, среди заключенных многие знали Халтурина, ведь он и раньше бывал в Одессе, поддерживая связи как с политическими, так и с рабочими особенно. Но арестанты молчали. Гурко был взбешен. Еще ночью губернатор сообщил в Петербург и Гатчину об убийстве, утром от царя пришла телеграмма: «Повесить в 24 часа безо всяких отговорок». Хорошо сказать — «повесить», а кого вешать, ведь нужно выпытать у них все, а для этого необходимо прежде всего узнать подлинные имена преступников. Но, с другой стороны, Гурко был доволен, — если он и не узнает имен, то все равно повесит «безо всяких отговорок» и проволочек, а то, не приведи господь, взбунтуется одесская «чернь».

Нет, не спокойно, не спокойно в подвластном городе и на сердце верного царского холопа. Целый день губернатор совещался с доверенными чиновниками, но что поделаешь, убийц нужно было судить и повесить только по приговору суда хотя приговор уже начертан заранее монаршей рукой. Опять затруднение для губернатора. И кто только придумал эти судилища? Чего доброго, придется и присяжных приглашать, да как тут не вспомнить милое, доброе старое время благословенной памяти императора Николая Павловича, вот когда судили! К вечеру Гурко успокоился, он вспомнил, что после покушения Веры Засулич на генерала Трепова последовало распоряжение не допускать присяжных заседателей на процессы политические. А как быть с защитой? Нет, положительно покойный генерал был отвратительный человек, даже после своей смерти он доставляет столько хлопот и тревог губернатору.

В ночь с 20 на 21 марта состоялся скорый суд. Пренебрегая процедурой судопроизводства, Гурко позаботился, чтобы о месте заседания суда никто не знал, никакой защиты и, конечно, никаких свидетелей, только губернатор, полицмейстер, градоначальник, судья и прокурор.

И на суде обвиняемые молчали, отказываясь отвечать на вопросы. Да и какой это суд? Халтурин заявил протест и не признал предъявленного обвинения. Нет, виноват Стрельников, мешавший делу объединения одесских рабочих, больше Халтурин не скажет ничего. Да и перед кем говорить? Разве трибуну этого суда можно использовать так, чтобы твои

слова и после смерти твоей будоражили и воспаляли умы тысяч людей? Желваков, молча выслушав приговор, в последнем слове гордо и убежденно заявил: «Меня повесят, но найдутся другие, всех вам не перевешать. От ожидающего вас конца ничто не спасет вас».

Как ни хоронились палачи, но 21-го приговор суда стал известен Одессе. Город бурлил: то там, то здесь собирались группы рабочих, о чем-то шептались, на угольном складе Шпольского избили одного рабочего, принимавшего участие в поимке убийц Стрельникова, но, что примечательно, рабочий этот не жаловался, наоборот, от стал кланяться и благодарить мир за науку.

Как будто все сговорились против губернатора, Гурко совсем вышел из себя — оказывается, за день до покушения тюремный палач Фролов уехал в деревню к родственникам, а пока за ним съездят, пройдет еще день-два, а за это время кто знает, что может произойти в городе. Скорей, скорей кончать. Коменданту тюрьмы было приказано найти среди уголовников отпетого негодяя и за известное вознаграждение заставить его стать палачом.

День клонился к вечеру, а измученный комендант еще не нашел палача. Нужно было видеть хмурые лица уголовников, когда комендант «беседовал» с ними. Не одну человеческую жизнь загубили некоторые из них под покровом темной ночи, но никто не хотел поднимать руку на людей, которые убили этого подлеца Стрельникова, нет, комендант их не заставит. В камерах уголовных стоял гвалт.

— Да не сойти мне с этого места, подохнуть мне совсем, если я их хоть столько трону! — кричал Иван Божий, босяк-золоторотец с Молдаванки, ему вторили другие.

— Скорее всех генералов передую, чем их мизинцем трону, — заявил коменданту отпетый бродяга, убийца, еще недавно наводивший страх на всю Одессу.

Наконец коменданту повезло, он нашел конокрада-рецидивиста, который согласился стать палачом, если ему уменьшат срок каторги. Комендант до того измучился, что готов был обещать этому вору полную амнистию, лишь бы он сделал свое дело. Но оказалось, что конокрад не умеет вешать. Комендант успокоил его, заверив, что тюремный врач Розен подучит. После этого конокрад для храбрости и с благословения коменданта напился.

Настала ночь, измученные допросами и пыткой Халтурин и Желваков уснули, но Гурко не спал, он даже похудел за эти три дня. Опять его доносили формальности. Ну и времена, человека без них повесить нельзя!

А формальности требовали, чтобы при казни присутствовали представители общества, будто без них казнь может считаться недействительной. Гурко вызвал к себе городского главу Маразли и приказал ему подобрать двух-трех благонадежных гласных городской думы, собрать их к себе в 5 часов утра и доставить в тюрьму, от прессы же пригласить редактора «Новороссийского телеграфа» Озмидова.

В 5 часов утра 22 марта 1882 года во дворе тюремного замка уже высился эшафот, окруженный кордоном солдат. У его подножия стояли Гурко, полицмейстер, священник. «Представители общества» пугливо жались в тени тюремной стены.

Вывели осужденных. Желваков, окинув взглядом виселицу, сосчитал ступени эшафота, потом быстро поцеловал Халтурина и твердой походкой взошел на помост.

Степан глядел за стены, туда, на восток, где в предрассветной мгле над рабочими кварталами Одессы занималось весеннее утро. Солнце еще не встало над горизонтом, и только первые неясные лучи его розоватым отблеском легли на стены домов, осветили верхушки деревьев. Над миром, над Россией рождался новый день.

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С. Н. ХАЛТУРИНА

1856 г., 21 декабря (2 января 1857 г.). — В семье бывшего государственного крестьянина деревни Верхние Журавли Николая Никифоровича Халтурина родился шестой сын — Степан.

1868–1871 гг. — Степан учится в Орловском уездном поселянском училище.

1874–1875 гг. — Халтурин учится в Вятском земском училище для распространения сельскохозяйственных и технических знаний и приготовления учителей.

1875 г., сентябрь. — Халтурин с товарищами, направляясь за границу, останавливается в Москве. Поездка Халтурина в Рязань.

1875 г., октябрь. — Приезд Халтурина в Петербург.

1875 г., октябрь — декабрь. — Халтурин живет случайным заработком, работает перевозчиком на Неве.

1876 г., весна. — Халтурин работает сначала в мастерской наглядных пособий, затем на Александровском механическом заводе Главного общества российских железных дорог. Начало пропагандистской деятельности Халтурина.

1876 г., 6 декабря. — Халтурин участвует в первой рабочей демонстрации на площади Казанского собора.

1877 г. — Халтурин переходит на нелегальное положение, живет по паспорту бахмутского мещанина Степана Королева, работает на Сампсоньевском вагоностроительном заводе. Создает рабочие кружки, ведет пропаганду.

1878 г, май — сентябрь. — Халтурин выезжает на Волгу, завязывая связи с рабочими Н. Новгорода, работает в Сормове.

1878 г., осень. — Халтурин и Обнорский основывают Северный союз русских рабочих.

1879 г., весна. — Подъем стачечного движения в России. Халтурин во главе Северного союза руководит стачками рабочих столицы.

1879 г., март. — Халтурин столяр Нового Адмиралтейства.

1879 г., осень. — Халтурин становится террористом, готовит взрыв Зимнего дворца.

*1880 г., 5 февраля.* — Взрыв в Зимнем дворце.

*1880–1881 гг.* — Халтурин скрывается в Москве, выезжает в Одессу, ведет пропаганду среди московских рабочих. Избирается членом Исполнительного комитета «Народной воли».

*1881 г., 31 декабря.* — Приезд Халтурина в Одессу с намерением убить прокурора Стрельникова.

*1882 г., январь — март.* — Подготовка убийства Стрельникова. Работа среди одесских пролетариев с целью возрождения Южнороссийского рабочего союза.

*1882 г., 18 марта.* — Халтурин и Желваков убивают прокурора Стрельникова.

*1882 г., 22 марта.* — Казнь Халтурина и Желвакова в Одессе.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- В. И. Ленин, Сочинения:  
т. 2, «Проект и объяснение программы с.-д. партии»,  
т. 4, «Попытное направление в русской социал-демократии»,  
т. 5, «Что делать?»,  
т. 7, «Шаг вперед, два шага назад»,  
т. 20, «Из прошлого рабочей печати в России».
- Л. Барриве, Освободительное движение в царствование Александра II. М., 1909.
- С. Богданович, Степан Халтурин. Изд-во «Молодая гвардия», 1931.
- В. Бурцев, Северо-русский союз. «Былое», № 1, 1906.
- П. Валуев, Дневник. «Былое», П., 1919.
- Б. Волин, Северный союз русских рабочих. «Молодой коммунист», № 1, 1954.
- Н. Волков, Народовольческая пропаганда среди московских рабочих в 1881 году, «Былое», февраль 1909.
- А. Гамбаров, Степан Халтурин. Изд-во «Молодая гвардия», 1925.
- В. Голицын, Москва в 70-х годах. «Голос минувшего», № 5—12, 1919.
- Н. Головина, Рецензия на А. Гамбарова «Степан Халтурин». «Каторга и ссылка», № 15, 1925.
- «Государственные преступления в России в XIX в.», т. II. Под ред. Б. Базилевского (В. Богучарского), 1877.
- «Дегаевщина» (Материалы и документы). «Былое», № 4, 1906.
- «Из истории нелегальных библиотек революционных организаций в царской России». Сб. материалов под ред. Е. Д. Стасовой. М., 1955.
- Б. Итенберг, Связи передовых рабочих России с революционным движением Запада (70-е гг. XIX в.). «Вопросы истории», № 9, 1956.
- «К биографии Н. А. Желвакова», «Каторга и ссылка», № 8—9, 1929.
- «Календарь «Народной золи». Женева, 1883.
- А. Корба, Александр Дмитриевич Михайлов. «Былое», № 4, 1906.
- В. Короленко, Соч., т. 8. «Записки моего современника». Изд-во «Правда», 1953.
- Э. Корольчук, Рабочее движение семидесятых годов. Изд-во Политкаторжан, М., 1934.
- Э. Корольчук, Северный союз русских рабочих. Леч-издат, 1946.



- А. Кони, Петербург. Воспоминания старожила. Изд-во «Атеней», 1922.
- П. Кропоткин. Записки революционера. М.—Л., 1933.
- Н. Кулябко-Корецкий, Из давних лет. Воспоминания лавриста. М., 1931.
- С. Лещинская, Степан Халтурин. Изд-во «Новая Москва», 1925.
- Д. Маркушевич; Еще о Степане Халтурине. «Пролетарская революция», № 5, 1922.
- П. Моисеенко, Воспоминания. М., 1924.
- Н. Морозов, Повести моей жизни, т. II, т. IV. М., 1918. «Народная воля перед царским судом». Изд-во Политкаторжан, М., 1934.
- П. Надин, Стрельниковский процесс 1883 г. в Одессе. «Былое», № 4, 1906.
- И. Никитин, Первые рабочие союзы и социал-демократические организации в России. Госполитиздат, 1952.
- Л. Островер. Буревестники. Профиздат, 1948.
- В. Панкратов, Из деятельности среди рабочих в 1878–1884 гг. «Былое». № 3, 1906.
- «Письмо Исполнительного комитета Александру III», «Былое», № 3, 1906.
- Г. Плеханов, Русский рабочий в революционном движении. Политиздат, 1940.
- Ю. Полевой, Степан Халтурин. Госполитиздат, М., 1957.
- М. Попов, Записки землевольца. Изд-во Политкаторжан, М., 1933.
- А. Прибылева, Памяти ушедших, Николай Алексеевич Желваков. «Каторга и ссылка», № 5(12), 1924.
- А. Прибылева, Сергей Петрович Дегаев. «Былое», № 4, 1906.
- «Процесс 20-ти народовольцев в 1882 г.». «Былое», № 1, 1906.
- «Рабочее движение в России в XIX в.». Сб. документов и материалов под ред. А. Панкратовой, т. II. Госполитиздат, 1950.
- Н. Русанов, На родине. Изд-во Политкаторжан, М., 1931.
- В. Сахаров и И. Бриксман, Степан Халтурин и библиотека «Северного союза русских рабочих». «Красный библиотекарь», № 1, 1932.
- Н. Сидоров, Столяр из Вятки. Изд-во «Молодая гвардия», 1930.
- С. Синегуб, Воспоминания чайковца. «Былое», № 8, 1906.
- В. Соболев, Степан Халтурин. Киров, 1957.
- Ю. Соболев, Рабочий в царском дворце (Степан Халтурин). «Красная новь», М., 1923.
- «Сообщения Н. В. Клеточникова», тетради № 1 и № 3, «Архив «Земли и воли» и «Народной воли». Изд-во Политкаторжан, М., 1932.

Старик (С. Ковалик). Движение семидесятых годов по Большому процессу. «Былое», № 10–12, 1906.

Ю. Стеклов, Борцы за социализм. Изд-во «Денница», М., 1918.

С. Степняк-Кравчинский, Собр. соч., т. V, «Эскизы и силуэты». СПб, 1908.

П. Семенюта, Из воспоминаний об А. И. Желябове. «Былое», № 4, 1906.

Н. Флеровский, Положение рабочего класса в России. М., 1938.

В. Фигнер, Запечатленный труд, ч. 1. Изд-во Политкаторжан, М., 1932.

В. Фигнер, Рецензия на Ю. Тарич «Святые безумцы», Исторические сцены. «Каторга и ссылка», № 1(14), 1925.

М. Фроленко, Липецкий съезд, «Архив «Земли и воли» и «Народной воли». Изд-во Политкаторжан, М., 1932.

И. Халтурин, Семейные воспоминания о Степане Халтурине. «Былое», № 16, 1921.

П. Халтурин, Открытие памятника Степану Халтурину и краткая его биография. «Былое Урала», Уфа, 1924.

А. Хирьяков, Из речей на суде А. И. Желябова, Н. И. Кибальчича и С. Перовской. «Былое», № 3, 1906.

С. Чудновский, Из давних лет. Изд-во Политкаторжан, М., 1934.

С. Ширяев, Автобиографическая записка. «Красный архив», т. VII, 1924.

А. Якимова, О предателе Швецове, «Архив «Земли и воли» и «Народной воли». Изд-во Политкаторжан, М., 1932.

А. Якимова, Автобиография. Энциклопедический словарь Гранат, т. 40, вып. 7 и 8.

## **Примечания**

**1**

В. И. Ленин, Соч., т. 1, стр. 246.

В. И. Ленин, Соч., т. 10, стр. 99.

В. И. Ленин, Соч., т. 28, стр. 271.

В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 102.

В. И. Ленин, Соч., т. 18, стр. 329.



Под фамилией Кобозева народоволец Ю. Н. Богданович содержал в Петербурге сырную лавку, из которой велся подкоп под Малую Садовую, улицу накануне убийства Александра II.